

Зейтун
Толгуров

84/2р-Балх
Т 52
79 3227

Алые
травы



Первая книга в столице

КР

✓

Зейтун
Толгуров

Алые травы

Повести

Авторизованный перевод
с балкарского А. БОГДАНОВА

✓

795227

«СОВЪЕМЕННИК»
МОСКВА
1975

Набережно-Балкарская Государственная научная библиотека имени И. И. Мухоморова
ул. Мухоморова, 10

Толгуров З. Х.

Т52 Алые травы. Повести. Пер. с балкар. Богдано-
ва А. А. М., «Современник», 1975.

271 с. с портр.

Зейтун Толгуров, молодой балкарский прозаик, издается на рус-
ском языке впервые.

В повести «Алые травы» автор поднимает вопросы граждан-
ской ответственности человека перед Родиной, перед обществом.

Повесть «Эрирей» знакомит читателя с судьбой балкарской
крестьянки Наибхан, юность которой совпала со строительством кол-
хозов.

Т $\frac{70303-238}{M106(03)-75}$ 176—75

С(Кав)

Алые травы

В пору осенней стрижки к подножьям гор ложится тишина. Отдалась долгожданному покою натрудившаяся за лето земля. Не шелестят листьями деревья, притихли птичьи голоса. Кажется, даже орлы, высматривающие в небе, кого бы нацепить на коготь, кружатся лениво, едва взмахивая крыльями. И только мыши-полевки не знают усталости, ведут какую-то свою тайную, скрытую от глаз работу. Их выдают опавшие жухлые листья: шевелятся, шуршат. А вон и еж показался, катится короткими перебежками, что-то нашаривает, вынюхивает...

— Ата¹, смотри, смотри, еж! — не выдержал Тахир.

Азретали поднял голову, задумчиво посмотрел на сына.

Когда он сам впервые пришел с отцом на эту поляну, ему было, наверное, столько же, сколько сейчас Тахиру. Всего пять или шесть зим повидал к тому времени Азретали. Много-много раз с тех пор зеленели здесь деревья и травы, много воды вытекло из этого родника. Столько лет прошло... А сердцу по-прежнему все здесь дорого. Дороги каждая пядь земли, и обомшелые камни, и журчащий из-под них родник, и эти кусты барбариса, горящие огнем на краю поляны, и березы, белые, словно шали балкарских шевест, со свисающими до земли кистями-ветками, и эти листья, что падают, тихо кружась, словно платок из лаудана², легко обвивавшийся вокруг шеи его матери.

И эти пять могил...

Азретали снова взглянул на сына, погнавшегося было за ежом, потом окинул взором место, где стоял их кош³. В его развалившихся стенах теперь гнездятся ласточки, а в самой середине, на месте бывшего очага, растет одинокая сосна. С каждым годом травам и крапиве все легче взбираться на стены; сосна же набирает высоту: здесь

¹ Ата — отец.

² Лаудан — материя желтого цвета.

³ Кош — жилище чабанов и загон для овец.

для нее так много солнца и простора. Посадил ли ее тут кто-нибудь, или ветром принесено семя, кто знает. Но Азретали дорога и эта одинокая сосна, и эти старые стены, побелевшие от птичьего помета, и эти чуть осевшие стога сена, стоящие на поляне.

И опять защемило сердце: какими печальными, сиротливыми кажутся эти стога, сложенные отцом, и вся так аккуратно скошенная им поляна...

«Земля моя,— думал Азретали.— Тяжко человеку в разлуке с тобой — меркнет для него жизнь, тесным становится мир. Но и ты сиротеешь, когда умирает человек, любивший и лелеявший тебя. Поляна! Ты всегда чувствовала заботу моего отца. Он оберегал тебя от дурных трав, от неумелых, неласковых рук, от конских копыт. И ты была щедра в ответ, дарила свое богатство — цветы и травы. Теперь, видишь, я пришел сюда без отца. Нет его больше... Земля! Кто печалится сильнее тебя, когда умирает человек? Нет конца твоей памяти. Обрывается память человеческая, забудут тропу к могиле человека его родные и друзья, — ты же не забываешь ничего. Тяжело груз твоей памяти — не потому ли порою ты с глухим стоном проваливаешься внутрь?.. Ты испытываешь печаль сиротства, ты седеешь, как мать, всякий раз, когда принимаешь в себя умерших твоих сынов. Ты покрываешь их могилы зеленым бархатом трав, ковром из цветов... Благодарю тебя за твою материнскую ласку и заботу, за твои травы и цветы. Благодарю за то, что не оставила без могил моих братьев, моего отца. «Если умру, не потеряв чести,— говорил отец,— не оплакивайте меня. Если умру достойно — войду в могилу без страха, как в отчий дом, буду лежать там, как в колыбели, как на руках у матери» — так говорил он. Так почему меня душат сейчас слезы, почему я плачу? Нет, я не плачу... не плачу...»

2

Тихо осенью у подножий гор. Тихи могилы, возле которых стоит Азретали. Тихи деревья, стога сена, скошенная поляна и это стадо камней. Все здесь тихо — как колыбельная песня, как сон младенца. Тихо...

Могил пять. Четыре из них старые, осевшие. Надписи на надгробных камнях потускнели. Много раз покрывались белой киненью яблони, посаженные над могилами в тот год, когда они были вырыты, — если бы надгробные камни заговорили, они сказали бы: мы видели это уже более двадцати раз. А пятая... пятая могила еще совсем свежая, от нее даже словно тянет еще сырой землей. Эта могила отца Азретали Каспота. В остальных лежат его старшие братья. Они похоронены здесь, вдали от аула, не потому, что такова была их последняя воля. Жители аула хорошо знают, отчего сыновьям Каспота выпало лежать у подножья гор, на поляне. Знают. И потому никто из старших не стал возражать, когда сказали, что и отца будут хоронить там: так завещал он. И никто из мужчин аула не тяготился провожать его тело до поляны, подпирать плечом носилки, на которых лежал усопший, а потом, по обычаю, целых две недели приходило с рассветом на его могилу.

Азретали до сих пор трудно поверить, что отца нет, — слишком внезапной была его смерть. Всего лишь месяц назад Каспот был совсем еще бодрым стариком, легко взбирался на стог сена. И вот... А ведь он не болел, до самого конца ни на минуту не оставлял работы.

Каспот слыл мастером на все руки. Но особенно удавались ему колыбели — легкие, веселые, красивые. Никто не мог тягаться с ним в этом деле. Не было в ауле дома, где бы не склонялась мать-горянка над сделанной им колыбелью. За этот свой труд Каспот никогда не брал вознаграждения. И никогда не заставлял себя просить: стоило ему узнать, что в ауле появился новорожденный, как он тут же принимался за работу.

Но последнюю свою колыбель старик не успел закончить. Он умер в тот момент, когда украшал зыбку узорами. Тихо устал на спицу и скончался... Кто-то из аульчан сказал тогда: «Колыбель Каспота осталась как недопетая песня». Провожая его в последний путь, вынесли и колыбель, отнесли в дом новорожденного. Один из старейших жителей аула лег в свою последнюю, вечную колыбель, а самый маленький — в теплую, солнечную зыбку...

А всего за несколько дней до этого Азретали виделся с отцом и говорил с ним здесь, на поляне.

Каспот косил траву. Зачем ему это? — подумалось тогда Азретали. Ведь сено для своего скота он заготовил давно. Уж не начал ли отец на старости лет скопидомничать — иначе зачем ему изматывать себя по такой жаре? Аульчане называли эту поляну «полянкой Каспота». Конечно, никто ему ее не дарил, она принадлежит всем. Но случилось так, что еще в год организации колхоза Каспот пришел сюда с отарой колхозных овец и поставил кош. С тех пор и начал косить эту поляну, и уже никто из жителей аула, из уважения к Каспоту, не приходил сюда с косой. Но теперь отец постарел, думал Азретали, пусть косят другие. Сена у него и так хватает, а кому-то эта поляна, может быть, куда нужнее. Азретали даже услышал однажды, как кто-то говорил: «Перехитрил Каспот нас всех, лучшую поляну себе забрал».

Азретали осторожно высказал отцу то, что думал.

Каспот остановился, опираясь на косу. Крепкий коренастый, — Азретали почему-то вспомнилось, каким высоким казался ему отец в детстве, а ведь он вовсе не высокий, пожалуй, лишь чуть повыше среднего роста.

Каспот продолжал стоять молча. О чем он задумался? Об этих облачках, серых как его борода? О птицах в небе, что летят в неведомую даль? Стоит, смежив веки, молчит. «Обиделся», — подумал Азретали.

— Ты сгранициваешь, зачем я не даю себе покоя, — промолвил наконец Каспот. — Не дело говоришь, сын. Это сено мне не нужно. Хотя ты и живешь в городе, а должен бы знать, что мои стога идут во дворы вдовам или колхозной отаре. Пусть бы и другие косили тут, я бы рад был. Но ведь никто не придет сюда, пока я жив, — большинство-то людей у нас уважительные, совестливые, не позволяют они себе такого, я знаю. Как же брошу поляну? За сенокосом нужен глаз. Трава — что волосы человека, ее надо вовремя снимать. Не скоси я сейчас эту траву — на следующий год она станет реже, а там, глядишь, и вовсе выродится. Так вот и лысеет земля. А человек па то и зовется человеком, чтобы не давать земле лысеть, чтобы помогать новой траве смепать старую.

Сказав это, Каспот снова взялся за косу. Он будто чеканил взмахи — энергичные, широкие. Азретали двигался

за ним. «Как я мог сказать ему такое?» — ругал он себя. Ему вспомнилось, как аккуратен всегда был отец в косьбе, — ши за что не скосит лишь там, где трава погуще. Он сбривал всю поляну так же чисто, как брил свою голову. «Пусть редка трава, которую я кошу сейчас, — в следующем году станет гуще». Говоря так, Каспот порой скашивал площадь, на которой свободно уместилась бы целая отара овец, хотя знал, что сена с нее не хватило бы лишь на один выюк.

«Там, куда ступает нога горца, не должно быть высохшей на корню травы, — это неуважение к земле», — поучал он Азретали.

Старик остановился, отбил косу, потом, опершись на нее, сказал:

— Ты не оставляй этого места, приходи почаще. Я вот радуюсь, что могу трудиться здесь. Если бы мне даже пришлось впрячься в арбу, груженную солью, и возить ее тут день и ночь, я и тогда не ушел бы отсюда. Эта поляна пропитана кровью твоих братьев. Оттого так густа здесь трава. Не забывай: это место пам родное. Земля для нас потому и становится родной, что полита кровью и потом наших предков и близких. Правда, она никогда не жаждет крови, но пота — всегда...

Азретали смотрел на вздутые вены сильных рук Каспота, узловатые, ветвистые, словно корни дуба, на белую густую его бороду, на загорелую короткую шею — и думал о судьбе своего отца, так схожей с судьбою этой земли, которая столько раз вытаптывалась, горела, но не выгорела, не оскудела, осталась доброй и щедрой...

— И хочу напомнить тебе еще раз, — продолжил Каспот после недолгого молчания. — Когда умру, предай мое тело земле здесь. Пусть трава, корни которой пропитаны кровью твоих братьев, шумит и на моей могиле. Пусть березы — свидетели той давней битвы — склоняются и надо мной...

5

Чьи-то шаги прервали раздумья Азретали. Он оглянулся: шел его старший брат Каракай.

Каракаю перевалило за сорок, он высокого роста, лицо... Когда-то Азретали казалось, что лицо его брата, изъ-

еденное оспой, все же не лишено мужской красоты и своего достоинства. Сейчас от этого ничего не осталось. Весь он почернел, словно обгоревший ствол дерева. Лицо заострилось, походка вялая, нетвердая.

Каракай подошел к сынишке Азретали Тахиру, который играл сухими листьями, хотел приласкать племянника. Но тот испугался, отбежал к отцу. Каракай остановился в растерянности.

Братья не поздоровались.

— При жизни отец не позволял мне приходить сюда, к могилам моих братьев. А теперь вот иду к его могиле с плачем и мольбой, — сказал Каракай упавшим голосом. — Жизнь была немилостива ко мне, отняла возможность носить траур по братьям, стану носить теперь.

— На тебе лежит проклятие покоящихся здесь, проклятие этих трав, деревьев, камней. Зачем ты пришел сюда? — прервал его Азретали.

— Как тебя понять, брат?

— Ты не смеешь приходить сюда, не тревожь своим присутствием прах отца. Таково было и его желание, — говорил Азретали, глядя не на Каракаю, а на могилу Каспота.

— Считаю, что я пришел в горы или в лес.

— Горы кругом, леса обширны. Можешь бродить где угодно и выть волком, но только не здесь.

— Брат, как неуважительно ты разговариваешь. Ведь я твой старший, — сказал Каракай, пытаясь приблизиться. Азретали отступил на шаг.

— Ты забыл свой долг старшего перед младшими. Братьев, отца и всех людей ты потерял давно — в тот день, когда бежал отсюда, спасая свою голову.

— Я бежал не от братьев — от смерти.

— Ты бежал, отбросив свою честь, как камень с дороги. Оставил тут свое достоинство, мужество. Думал, вернешься — и вновь найдешь их? Они сторели здесь в тот день. Ты бежал с одной лишь своей тенью. Она и сейчас с тобой, вот она. Чего же тебе еще?

— Азретали, ты был ребенком, вот таким, как он, — Каракай показал на Тахира. — Что ты мог понять? У отца нашего не было сердца, он не знал жалости. Кровью наших братьев оросил он эту поляну, — видишь, трава ее и по сей день ржавая. А меня сделал несчастным, оставил мне в наследство лишь свое проклятие...

— Я не хочу слушать тебя! — Азретали взял за руку сына и пошел прочь.

Под их ногами шуршали сухие листья — будто на ветру просеивали ячмень. Ласково пригревало солнце. Откуда-то тянуло запахом спелых диких груш.

Как все же тесен мир, — думал Азретали. Хочешь не хочешь, а приходится ходить по одной тропе с Каракаем... И еще он думал о том, что достойная смерть высока как сама жизнь. Каракай не сумел достойно умереть — и лишился всего. Нет ему места ни среди мертвых, ни среди живых. И никто ему не поможет. Если у человека горе, к нему на помощь спешат соседи, не оставят в беде. Но и родной аул отверг Каракаю, — недаром живет он в одиночестве, на отшибе от аула. На родной земле и в небе начертано проклятие Каракаю кровью его братьев.

Этот тяжелый груз всегда будет давить и на плечи Азретали. Ведь он и Каракай оторваны от одной пуповины, вскормлены одной грудью. Люди видят в них братьев. Но не хочет Азретали ходить теми же дорогами, что и Каракай, избегает встреч с ним. И все же они сталкиваются порой лицом к лицу — и тогда мир становится тесным, узким, как лесная охотничья тропка...

Мысли Азретали прервал Тахир.

— Ты обманщик, вот кто ты! — заявил он вдруг.

— Это почему же? — Азретали, остановившись, нагнулся к сыну.

— Опять мы возвращаемся домой без ашпы¹. А ты говорил, в следующий раз он выйдет оттуда, и мы возьмем его с собой...

Азретали, ничего не ответив, снова повел мальчика за собой.

— Он насовсем там останется? — все допытывался мальчик.

— Да, насовсем. Нет у нас больше ашпы.

— Как же так? Звезды и солнце выходят же? А он почему нет? Ты же говорил: человек — как солнце. И потом, когда ашпу унесли сюда, — мальчик обернулся и показал на могилы, — ынна² причитала: «Звезды мои давно погасли, а теперь закатилось и солнце мое!» Это она про

¹ Аппа — дедушка.

² Ынна — бабушка.

апцу. Но ведь солнце закатывается и снова выходит. Ну скажи, когда оттуда выйдет наш апца? — настаивал Тахир.

— Когда ты станешь большим и пойдешь в школу, — ответил Азретали.

6

Каракай, оставшись на поляне один, некоторое время стоял, присматриваясь к окружающему. Кажется, ничто тут не изменилось, все как в его молодые годы. Вот только не было сосны. Когда же она успела вырасти, такая высокая?..

Но поляна та же. И вот этот большой серый камень... С его верхушки братишка Азретали не раз прыгал в расставленные руки Каракай. А теперь вот ушел, бросив ему в лицо горькие слова, словно кровнику... На этом сером камне Каракай сушил мидел¹ для своих и отцовских чабуров. Он любил ходить с отцом за отарой, сбивая мочущими коленями утреннюю росу с травы. Любил...

Но сейчас он боится думать об этом. Он боится признаться самому себе, что некогда был привязан к этим местам, любил бродить по лесу, давн невзначай спелую землянику, подолгу сидеть, слушая таинственный шепот листьев, стоять под проливным дождем, теплым, как руки матери... Когда он вспоминает об этом, его обжигают стыд и боль. Но каждый вправе говорить, что любит родную землю. Каракай сознает это. Самому себе не солгешь. Но и от воспоминаний, от прошлого не убежишь, их не прогонишь, как прогоняют надоедливое бездомного пса.

И Каракай вспоминал ушедшую молодость, братьев, отца; вспоминал, как шутил, веселился с девушками и парнями, которые приходили сюда из аула в пору осенней стрижки овец. Вспоминал все — и ему сдавливало горло. Нет теперь ничего. Всему этому он предпочел жизнь, которую влачит сейчас. С кем и с чем он остался? Все ушло, а с ним — только проклятие отца да его собственная черная тень...

¹ Мидел — трава, которой набивают чабуры — плетеную обувь из сыромятной кожи.

Медленными шагами, склонив голову, Каракай подошел к могиле отца, присел на траву. «Отец, — мысленно заговорил он, — я не прощения пришел просить. Знаю — не простишь. Позволь мне лишь посидеть у твоей могилы и предаться горю. Проходит моя жизнь, а я одинок. Радости нашего аула — не мои радости, и печаль его — не моя. Одну ошибку, говорят, прощает даже аллах. Но я не нашел прощения ни у родного отца, ни у брата, ни у соседей, и мир для меня темен, как высохший колодец. Да и сам я, говорят люди, почернел, словно крыло ворона...

Отец, ты слышишь меня? Нет, ничего он не слышит... Так легко обрек меня на одиночество... — думал Каракай. — Но ведь братья мои убиты врагами — почему же их кровь на мне? Знай я это тогда, я не жизни просил бы себе. Судьба моя, пусть толкут на моей голове соль, но не дай познать это одиночество, — молил бы я. Еще молил бы: чтобы не стать мне заблудшим — прерви прежде мое дыхание! И еще молил бы: пусть я буду раздавлен камнями, как земляника под копытами лошади, но избавь меня от тяжести проклятия родной земли...

Теперь, сколько ни моли, — все напрасно. Нет для меня сияния дня, нет у меня попутчика. Слышишь, отец? Не слышишь! Ты всегда был глух к моей печали, как скала, вросшая в землю. Ты не знал, что такое жалость, человек с каменным сердцем. Таким ты и покинул мир. Пусть же земля, где ты лежишь, будет так же жестка, как твое сердце. Земля, которая вместе с тобой прокляла меня, пусть же греет и тебя! Провалиться твоей могиле, и стать снегу твоим покрывалом!»

«Что же я говорю праху отца!» — опомнился и ужаснулся Каракай.

Окончательно потрясенный этим, он встал и неверными, заплетающимися шагами отошел к старому кошу, присел на развалины. Снова поднялся, подошел к сосне, обхватил ее ствол.

«Бедняга, ты тоже одинока. Стоишь тут вдали от леса, будто журавль, отставший от стаи, плачешь — вон слезы текут. Будем же друг другу опорой. Ты не убежишь от меня, как мой брат...»

«Если б смогла — бежала... — слышалось Каракаю... — И плакать я не плачу, это не слезы блестят на моем стволе и ветвях — смола.»

«Ты права, что тебе одиночество. Грешься себе на солнце, простор тут, и земля под тобой жирная... Некоторым лишь бы сытыми быть, до остального дела нет. Ты, наверно, из таких. Видишь, как разрослась. А я...»

«Не гордись своими терзаниями. Тебе некого упрекать, сам выбрал свою долю. Я же одиночества не искала. Да я и не одинока: быть вдали от подобных себе — еще не значит быть одиноким. К тому же мои корни — глубоко в земле, я неразлучна с ней. Оттого я и не плачу. Где бы ни росло дерево, оно остается деревом, — иной судьбы ему не дано. Но когда человек...»

«Довольно, не трудись. Знаю, ты хочешь сказать: судьба моя трудна...»

«Ты думаешь, твою судьбу можно назвать судьбой? Судьба — лишь у того, кто живет с людьми».

«Так что же, по-твоему, ты, пеживая, принявшая цвет ящерицы, — я не человек, что ли?»

«Понимай как угодно... Ну-ка, оглянись».

Что это? Шум крыльев? Откуда он, откуда? Вороны, черное воронье слетелось. Сколько их! Больше туч в небе, больше листьев, лежащих под ногами. Отчего, отчего там, где я появляюсь, деревья не зеленеют листьями, а чернеют от воронья? Отчего земля не белеет от снега, а чернеет от вороных перьев? Отчего мое небо, мое солнце всегда закрыты тучей воронья? Почему они слетелись? Или все еще чуют запах крови? Запах крови на алых травах, на деревьях — всюду. Бежать, бежать отсюда!..

7

Азретали не помнит, когда именно он осознал, что Каспот его отец. Наверное, он был тогда еще совсем мал. Отец уезжал в горы, где стоял кош, и подолгу не возвращался.

За это время мальчик успевал забыть его облик, как забывал, пробуждаясь, свои смутные, сладкие сны.

Но в один прекрасный день Каспот вошел в его жизнь навсегда. После этого дня Азретали уже не забывал, как выглядит отец, куда бы и на сколько тот ни уезжал. Быть может, это случилось потому, что отец тогда возник как в волшебной сказке и сам показался мальчику сказочным...

Азретали со своей матерью Эккяй были на крыше сакли. Эккяй провевала кукурузу, а Азретали просто глазел по сторонам. Стояла осень, и уже начали прицугивать первые морозцы. Дульчане топили печи, не жалея заготовленных дров и кизяка; темно-синий дым валил почти из всех труб и столбами поднимался высоко-высоко, куда едва достигал взор мальчика: ветра не было.

— Эй, сынок! Твой отец возвращается с коша. Смотри, вон там! — воскликнула мать, не отрывая взгляда от дороги, что спускалась с гор в аул. — Ну, беги же встречай!

Но Азретали оставался на месте. Если спуститься с крыши, не видно стапет всадника. А отсюда все так интересно! Ему казалось, что отец едет, обернувшись облачком, — такой белый был на нем башлык. Но лошадь подотцом — еще белее! Вспомнились недавние слова взрослых: «Зима за горами долго не задержится, теперь скоро придет». И ему вдруг подумалось, что это не отец его спускается с гор, а сама зима.

Белая зима едет верхом на белой лошади...

— Чабы-чабы! Зима едет! Белый мужчина на белой лошади едет! Чабы-ы, чабы-ы, — повторял, подпрыгивая, Азретали.

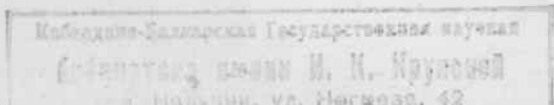
— Глушенький, не «белый мужчина», а отец твой, — поправила мать.

В самом деле, зима — холодная. А руки, щеки, губы отца всегда теплы, как парное молоко, — Азретали помнит это...

Каспот между тем не повернул домой, а продолжал путь, словно не замечая тех, кто стоял на крыше. Азретали огорчился.

После сказок матери ему во сне часто являлись нарты¹ на белых лошадях, белый марал, прилетал огромный белый орел. Но Азретали не успевал сесть на крыло белого орла, оседлать белую лошадь, коснуться шви белого марала, — они исчезали, наполняя его сердце смутной печалью. Иногда ему грезилось, что они, словно белые тучки, тихо плавают над какой-то зеленой поляной. Порой они подпускали его совсем близко — и вновь отдалялись... Азретали еще плохо различал явь от сна. Он и наяву думал об этой зеленой поляне и мечтал отыскать ее, никому

¹ Нарты — сказочные богатыри, герои горского эпоса.



не раскрывая своей тайны. Оседлает белую лошадь, которую поймает там, и сам станет нартом. А целебное молоко белого марала будет отдавать больным... Но зеленая поляна появлялась пока лишь во сне, ночью, а днем мальчик опять терял ее. Он никак не мог понять, отчего же взрослые не найдут эту зеленую поляну и не оседлают себе белых лошадей, отчего не доят белых маралов, чтобы лечить больных. Может быть, не знают про них? Азретали-то знает, но слишком мал, потому и не может найти...

А вот отец нашел! Конечно же, эту белую лошадь он поймал там, на зеленой поляне. Теперь он должен взять с собою туда Азретали. А он куда-то удаляется...

— Ата-а, верпись!

Каспот не слышал. Мальчик видел уже только длинный распущенный хвост лошади да концы белого башлыка, развевающиеся на ветру, словно крылья огромной птицы.

— Ата, куда же ты? — Азретали заплакал.

— Что ты, сын? — обернулась к нему Экжай.

— Почему он уезжает?

— Наверно, у него в правлении колхоза дела. Он всегда так: сперва туда, а потом домой. Ну, не плачь, ты уже большой. Сейчас вернется. Пойдем в дом.

Но Азретали остался ждать отца на крыше.

Солнце клонилось к закату. Казалось, там далеко-далеко — пеплом ни за что не дойдешь — кто-то давит спелый барбарис и потихоньку льет его сок на вершины гор, на гряды облаков. Но вот облака постепенно сходятся, сливаются и закрывают глаз солнца. Теперь там уже не рваные облака, пропитанные соком барбариса, а целое полотно, — огромное знамя, шитое из пламени, развевается на самой вершине горы. Но чье же это такое знамя, кто мог поднять и поставить его так высоко? Азретали знает: оно принадлежит нартам, что живут за этими горами...

Но вот нарты немного передвинули свое знамя. Снова показалось око солнца, подмигнуло Азретали. Теперь оно не больше чурека. Золотит крышу, двор, дорогу — весь аул.

Азретали увидел наконец возвращающегося отца. Но теперь это был уже совсем иной всадник. Лицо Каспота, его башлык, лошадь под ним — все казалось золотым.

И глаза лошади вспыхивали порой, как два крошечных
огненных чертика...

— Почему мой сын до сих пор на крыше? — сказал
Каспот, спешиваясь и поднимая вверх распростертые
руки. Мальчик прыгнул в них. — Хочешь сесть на
лошадь?

— Хочу, — ответил Азретали, обнимая отца за шею и
натывая щекою на его коротко стриженную, жесткую
бороду, крепко пахнущую самосадам. Сильные теплые
руки подняли мальчика высоко-высоко...

С земли белая лошадь виделась не такой высокой. Но
как только Азретали очутился на ней, и двор, и бревно,
лежащее во дворе, и щенок у порога — все оказалось да-
леко внизу. У Азретали даже закружилась голова. Однако
он ничуть не испугался. Он знал: если будет падать —
белая лошадь подстелит ему свою густую гриву. Это осел
подставляет человеку копыто, когда тот падает, а ло-
шадь — гриву... Поэтому Азретали не боялся, а радовался,
словно ему удалось взобраться на радугу. Он еще осед-
ляет и радугу. Залезет на нее по кончику, который
упирается в землю... Или с вершины горы... Нет, лу-
чше забраться на радугу с этой лошади. А потом
Азретали спрыгнет с радуги на землю, и исполнится
все, что он ни пожелает и ни попросит. Так сказала
мать.

Он пожелает, чтобы все больные в ауле вылечились и
больше никто не болел. Будет просить, чтобы в их двор
пришли белые маралы, сели белые журавли... И еще он
пожелает, когда спрыгнет с радуги, чтобы все его това-
рищи нашли своих белых жеребят и белых орлов. Но пока
он не взобрался на радугу и не спрыгнул оттуда, надо
поехать на зеленую поляну и найти своего жере-
бенка...

— Ата, ты возьмешь меня с собой на зеленую поля-
ну? — спросил мальчик, цепко держась за гриву кобы-
лицы.

— На какую поляну? — не понял Каспот.

— Ну, на ту, где ты эту белую лошадь поймал. Ведь
ты ее там еще жеребенком нашел, правда?

— Ай-хай! ¹ Конечно, возьму! — Каспот снял сына и
расседлал лошадь.

¹ Утвердительный ответ.

В доме мать перебирала вещи из старого деревянного сундука, который стоял в углу горницы. Азретали любил этот сундук: из него так хорошо пахнет, и в нем так много красивых вещей!

Собираясь на какое-нибудь торжество, Эккяй всегда надевала свое шелковое платье и белую шаль с бахромой. Вот она выложила их... Азретали правится, когда мать накидывает на себя шаль: в ней она делается еще красивее. Он тихо подошел к шали и незаметно поглядел ее...

И вдруг он увидел в сундуке нечто такое, чего никогда прежде не замечал. С пожелтевшего твердого куска картона на него смотрели двое мужчин. На головах у обоих — шапки с длинными висячими ушами и большими, во весь лоб, пятиконечными звездами. Людей с такими шапками Азретали видел раньше в книге одного из старших братьев. А кто это здесь, на этом картоне? Неужели отец?! Азретали знал, что только батыры могли носить такие шапки. Конечно, его отец — герой, иначе разве позволила бы ему белая лошадь ездить на себе. Но что отец — батыр, достойный носить такую шапку, этого Азретали не мог и подумать. Или, может, это не отец? Нет, как будто он, вот только бороды нет. Но почему эти мужчины так похожи друг на друга? Так похожи, что трудно отличить, где отец, а где чужой...

— Амма, кто это? — спросил он наконец.

— Это твой отец, — показала мать.

— А этот?

— Старший брат твоего отца.

Почему же Азретали ни разу не видел дядю? Он подошел к отцу:

— Отчего твой брат не придет к нам в гости? Он нас не любит?

— Брат мой уехал далеко, очень далеко, — ответил отец.

— За горы?

— Нет, гораздо дальше...

— Аскер был мужичка похрабрее твоего отца. Он не закрыл бы глаза даже перед молнией, — вздохнула Эккяй и спрятала в сундук пожелтевшую карточку.

Почему она вздохнула? И отец стал грустным. Может быть, дядя умер, а они не говорят ему? Ведь умирают же в ауле люди. Да, но это люди простые. Брат же

отца — батыр. А кто видел, чтобы батыр, да еще в краснопозвездной шапке, умирал? Азретали не мог поверить этому.

Точно так же, как легко он верил многому, так многому и не хотел верить. Жизнь открывалась перед ним лишь светлой своей стороной. Все, что окружало его, было исполнено мира и покоя. Азретали правилось смотреть, как возвращаются по вечерам с пастбища коровы с тугим, как наполненный айраном бурдюк, выменем. Он любил их неторопливый шаг. Любил смотреть, как по утрам и вечерам тихо тянется вверх дым из очагов, натопленных жаркими березовыми дровами... Жизнь шла своим неспешным, но неуклонным чередом: те, кто вчера еще лежали в колыбели, сегодня скакали по улицам аула верхом на осликах; подростки парни привозили на лошадях в свои дворы девушек... Азретали видел все это и бессознательно впитывал в себя. Оттого и не мог поверить в плохое. Правда, он видел, что дети в ауле иногда дерутся, собаки грызутся из-за кости или просто так, без причины, коровы бодают друг друга. Все это он уже знал. Но что есть в мире настоящая злоба и ненависть — этого он не знал. Слышал Азретали, будто бы для того, чтобы в их аул пришла хорошая, счастливая жизнь, люди сражались, убивали друг друга, но как-то не верилось и в это. Может, и убивали, но где-то не здесь, далеко...

А теперь что же, оказывается, его отец — из тех батыров, что бились за эту жизнь?! Да, да, недаром ведь он поймал белую кобылицу. Отец — единственный, кому удалось сделать это! Вторым будет он, Азретали... Но почему отец никогда не надевает эту шапку, которую зовут шлемом? Неужели он не хочет показаться батыром? Ведь наверняка ни у кого в ауле больше нет такого шлема. Отчего же отец не выходит в нем на люди? Как бы радовался, гордился Азретали!..

...Вслед за материнским платьем и шалью из сундука появилась праздничная темно-синяя черкеска Каспота. Каким красивым становится отец, когда надевает ее, застегнув поясом, отороченным серебряным позументом! В ней он кажется даже стройнее тех красивых девушек, которыми украдкой любит Азретали. Наверно, не будь у отца такие широкие плечи, мать говорила бы ему: «Ты у меня как девушка». Но она говорит: «Ты словно тополь». Это потому, что отец такой высокий: когда

Эккяй идет рядом с ним, ее голова едва достает плеча Каспота.

А как танцует отец на праздниках в этой черкеске! Азретали вспомнилась недавняя свадьба единственного племянника Каспота — сына дяди Аскера.

...Азретали с матерью был возле женщин, а Каспот с мужчинами сидел во внутренней комнате, дверь которой была открыта пастежь. Заиграла гармоника, и из разных углов полетело:

— Ы-маржа¹, пригласите плясать Каспота!

— Куда ему на старости лет! — громко, так, что слышали все, произнесла Эккяй. Азретали, конечно, поняла: мать нарочно сказала, будто отец старый. Она никогда не хвалит при посторонних ни мужа, ни сыновей...

— Эй-хей, Каспот, покажи, как танцуют балкарцы! — подзадоривали со всех сторон.

Каспот гибкой плетью выскользнул на середину круга. Остановился, словно решая, с чего начать. Потом резко вскинул руки — два крыла. Два крыла... — облако ли плывет в небе, серебряный ли месяц скользит меж звездами?.. Каспот проплыл два круга, потом замер на мгновение перед девушками, сбившимися в кучку. Одна из горяпок шагнула вперед, — алое атласное платье, белая шаль с длинной бахромой... И заструились тихо-тихо черные, достигающие до пят косы. Но вот все быстрее — атласное пламя начало переливаться, вспышками освещая лица вокруг. А Каспот, стремительный, как хлесткий дождь, все гнал и гнал девушку по кругу. Остановилось пламя, захлопала девушка в ладоши, — эй-хей, не искрется ли то сабли, скрестившиеся в бою? А Каспот, охватив руками тонкий, как горловина кумгана, стан, пустился вокруг нее на носках.

Не молод уже отец Азретали — старшему сыну восемнадцать. Не сух, не худощав — тело его крупно и плотно. Но лишь горный ветер может сравниться своей стремительностью с Каспотом. Может быть, Каспот черенял ее у ветра? Или у тура, в одно мгновение взбирающегося по крутым и голым, как рог, горным склонам? А неудержимо падающие с гор воды, что шумом своим славят белые высоты, где родились ови, и текут, не зная усталости, на равнины, — не от них ли взял Каспот свою неутомимость?..

¹ Характерное восклицание.

Танцующее атласное пламя вновь заскользило по кругу, освещая лица. За ним — легче перышка — Каспот.

Нет, не учился Каспот быстроте, ловкости, выносливости ли у ветра, ни у тура, ни у горной реки. Все это дала своему сыну родная земля. Это она вскормила его своей грудью, вынянчила в теплой материнской колыбели. Она одна так щедро одарила его быстротой ветра, ловкостью тура, неутомимостью горных вод.

— Асса! Асса! Хей!

Каспот на посах так стремительно пролетел по кругу, что не успела бы достичь земли папаха, упавшая с головы.

— Молодец, Каспот! Живи долго!

...Азретали вспоминал танец отца, сидя у него на коленях перед ласковым теплом очага.

8

Азретали проснулся рано, но в комнате, кажется, уже никого не было.

В этой просторной комнате с единственным окошком всегда, даже в самый яркий летний день, стоит полумрак — солнечные лучи не достают до углов. Поэтому и летом здесь прохладно. Справа от двери во всю длину стены подвешена доска — это полка. На ней большая деревянная чаша, несколько кожаных мешков с зерном, ведра с водой. У противоположной стены стоят три кровати, в углу — старый сундук. А посередине жилья — круглый очаг, такой большой, что вокруг него свободно могут усесться человек десять.

На дворе поздняя осень, и в этот ранний час было бы совсем темно, если бы не яркое пламя березовых поленьев в очаге. Оно хорошо освещает комнату: и полку с ведрами и мешками, и лицо Азретали, и отцовскую шубу, которой он укрыт, и кошку, лежащую перед очагом...

Азретали уже хотел было встать, но вдруг услышал чей-то чужой голос и затаился.

— Я вошел в твой дом как проситель и гость. Не прожай же меня как врага, — говорил чужой.

— Если вошел врагом — врагом отсюда и выйдешь.

А это уже голос отца. Каспот помолчал и продолжал:

— Не пойму я, ты-то чего беспокоишься, что я не уступлю кому-то своей лошади?

— Товба, товба¹, как ты можешь говорить «кому-то»? Ведь у него есть имя, которое надо произносить с почтением.

— Ты хочешь, чтобы я с почтением произносил имя человека, нарушающего горский обычай?

Азретали наконец рассмотрел гостя и очень удивился: Мусабий!

Мусабий часто бывал в ауле, но в их доме — никогда. Азретали он правился. Все мальчишки аула любили Мусабия, когда он появлялся, бегали за ним гурьбой. Никто в ауле не одевался так красиво. Все ходят в чабурах, а Мусабий — в сапогах. Но взрослые, похоже, недолюбливают Мусабия. Азретали не знал, кто он такой. Несколько раз он спрашивал об этом у матери, но та отмахивалась: «Кем бы ни был — тебе не все ли равно?» Известно было только, что Мусабий служит в районе. Отчего мать не любит его? Сама же говорила, что он воевал вместе с отцом...

И вот теперь этот человек в такой красивой одежде пришел к ним! Но о чем это они говорят с отцом?

— Чтобы следовать за отарой овец, с тебя хватит и старого меряпа. С правлением уже договорились. Что тебе эта кобыла? Ведь не твоя она, а колхозная. Отдашь — себе же на благо.

Мусабий сидел так, что одна его щека была повернута к очагу; она казалась багровой, и глаз горел, словно кошачий. Каспот подсушивал желтоватый мидел для чабуров.

— Я горец и лэка еще не потерял свою честь, чтобы позволить другому горцу сесть на мою лошадь, — отвечал он. — Что скажут обо мне люди, если завтра на моей лошади станет красоваться этот?

Азретали понял, что речь шла о белой лошади отца, и это не понравилось ему.

— Можно подумать, что тебе обязательно надо ездить на белой! Неужели оттого, что под тобой окажется лошадь другой масти, твоя жена перестанет рожать!

¹ Восклидание, выражающее отрицание или раскаяние.

— Я этого не боюсь. Хвала аллаху, у меня шестеро сыновей. Но даже если твой начальник останется без помоста — не отдам кобылу.

— Да не постигнет тебя кара! Говорю же: дадут дру- гую лошадь.

— Ты уговариваешь меня, будто сватаешь мою дочь! Я так думаю: красивая, быстрая лошадь мне нужнее, чем кому-либо. Если у этого твоего начальника на плечах голова, а не куриное яйцо, то как он решился просить ло- шадь, на которой ездит такой же горец и мужчина, как он? Ведь попросить у кого-то лошадь — значит сказать: «Я лучше его!» А колхозной лошадью ему и по давню не- чего распоряжаться. Я это и председателю нашему скажу. Прошли те времена, когда красивые, статные девушки и самые лучшие лошади оказывались во дворах лишь из- бранных аллахом. Ты, Мусабий, забываешь, что теперь один горец не может насильно ссадить с лошади друго- го. — Сказав так, Каспот отложил в сторону мидел и начал мять свои чабуры.

— Значит, думаешь жить, не сходя с лошади? Смотри, не упади, — ухмыльнулся гость.

— Кажется, ты пытаешься меня испугать?

— Меня ты не испугаешься. Но бойся того, кого дол- жен бояться...

Каспот оборвал его:

— Я боюсь только одного — обидеть достойного ува- жения человека. Но тебя обидеть не побоюсь.

Щека Мусабия, обращенная к очагу, окрасилась в цвет жженой черепицы.

— Ах так!.. — он вскочил и, не говоря больше ни сло- ва, захлопнул за собой дверь.

Каспот продолжал сидеть у очага, о чем-то задумав- шись. Азретали хотелось подойти к нему, но он не решал- ся. Надо бы дать знак, что проснулся... Он несколько раз сухо кашлянул.

— А-а, проснулся, сынок.

Азретали босиком подошел к отцу. Несмотря на высо- кое пламя в очаге, пол был холоден.

— Ата, почему Мусабий хочет забрать твою лошадь? Разве он сам не может поймать жеребенка и вырастить его?

— Потому что прийти к готовому легче, — ответил отец.

— Я ни у кого не стану просить лошадь. Сам выращу. Только возьми меня на поляну. Ладно?

— Возьму, возьму. Иди одевайся. — Сказав так, Каспот взял в руки чабуры Азретали и начал переплетать их подошвы.

9

Тепло одевшись, Азретали вышел на улицу — и радостно вскрикнул. Вчера, когда он ложился спать, снега не было совсем, а сейчас... Прямо от порога, со двора и до берега реки, до самых гор — все покрыто пушистым, белым, как пена парного молока, снегом. Белые шапочки на верхушках кольев плетня, на деревьях, на спине старого осла, который ест отруби у своего корыта, на конуре черного щепка — на всем, куда падает взор. А за соседским домом мальчишки, тоже все белые, лепят снежную бабу. Подбегают под окно одинокого Кайтука, от которого ушла жена, дразнят его:

— Кайтук, Кайтук, выходи, твоя жена вернулась!

Кайтук, тщедушный, маленький, в черной измятой войлочной шляпе шабкрень, появляется из-за угла дома. Мальчишки, испугавшись, бросаются врассыпную, взбираются на вершину снежной горки. Но Кайтук и не думает гнаться за ними. С тихой грустью смотрит он на белый мир вокруг; с доброй завистью смотрит вслед своему детству, бежавшему от него на далекую горку...

Честно говоря, Азретали не очень хочется уезжать. Побегать бы с ребятами, покататься на резных дубовых санках, сделанных отцом... Но уж если ехать, то непременно сейчас, пока ребята стоят на горке и смотрят на него.

Увидев, что Каспот посадил Азретали на шею белой, белее снега, лошади, мальчишки замерли: никому из них не доводилось сидеть на такой. Азретали хотел было крикнуть им: «Я и вам покажу дорогу на зеленую поляну, помогу поймать ваших белых жеребят!» — но преисполненный важности, кричать не стал, только взглянул краем глаза, когда выезжали со двора: смотрят ли.

В такую дальнюю дорогу Азретали отправляется впервые в своей жизни. Раньше он бывал с матерью только

на мельнице, что стоит на краю аула. И сколько бы раз он ни бывал там, дорога ему не надоедала. Азретали знает ее как собственный двор, помнит, где какой стоит куст шиповника, где какой лежит камень или изношенная подкова, знает каждое птичье гнездо в старых развалинах по пути. Эта дорога на мельницу — словно старая сказка, которую он слышал много раз и может сам пересказать наизусть, по слушает снова и снова все с тем же интересом и любопытством. Наверное, она навсегда останется для него такой...

Какую же сказку расскажет Азретали сегодняшняя дорога, что откроет ему? Откуда нам знать об этом. разве то, что поразит ребенка, сможет заметить взрослый?..

Утомительными и длинными кажутся некоторым дороги родной земли. Ступит такой человек на дорогу всего лишь во второй раз — и она уже кажется ему привычной, словно камень у порога собственного дома. Не таков Каспот. Эта дорога, которая вот уже столько лет приводит его на поляну, в кош, этот лес и подступающие со всех сторон горы по-прежнему остаются для него новыми, полными тайн, как весь большой мир, как сама жизнь. Он не устанет от дороги. А если устанет, если надоест она ему, Каспот скажет себе: устал я от жизни и надоело мне жить.

Вот почему и сейчас он едет медленно, глядя по сторонам, не позволяет кобыле ускорить шаг, чтобы стук копыт не спугнул типшину и этих снегирей, что теребят ягоды рябины, перепархивая с ветки на ветку. Красными бусинами горят на снегу упавшие ягоды, и снегири на деревьях — как огоньки. Лес подошел вплотную, дорога стала узкой, как горная тропа. Каспот осторожно отодвигает рукою ветки, нависающие над ней. Слышно, как срываются с деревьев белые ожерелья, как тихо скрипят, потрескивают они под тяжестью сброшенных на них белых бахромистых шалей.

Как хочется Каспоту, чтобы и сын, подобно ему, ездил и ходил по дорогам родной земли, не зная устали и равнодушной привычки к ним. Чтобы рос, слушая и попитая колыбельные песни этих гор, этого леса...

А что же Азретали?

«Чего бы ты попросил, Азретали, у этой дороги?»

«Я хочу, чтобы она открыла мне родную землю».

«Ты еще мал и не можешь знать, что такое родная земля».

«Я хочу знать!»

«Тогда смотри: я — уголок этой земли».

Кто это говорит с Азретали? На чей голос он отвечает? Или с ним говорят деревья, украшенные алмазными ожерельями, или, может быть, эта горная речка? Кобылица стояла и пила из нее воду. Вода прозрачная, все камешки на дне видно: большие, маленькие, красные, желтые... Речка не широка и не узка: как дорога, на которой могут разехаться две арбы. Она течет, словно раздвинув плечами глубокий снег и теснящие ее берега. Течет быстро, но песня ее тиха, задумчива.

«Отчего ты, речка, такая быстрая? Хочешь убежать от родной земли?»

«Перестану спешить — покроет меня белое одеяло, и засну я на полпути, не достигнув своей цели».

«Тогда беги быстрее. Спешу, спешу! Не хочу, чтобы ты уснула под снегом».

Удивляется Азретали. Ведь до сих пор ему еще не доводилось разговаривать ни с кем, кроме как с людьми. Не знал он, что можно разговаривать с кем-то еще. Или для каждого наступает такой день, когда он может заговорить с родной землей, как заговаривает вдруг с матерью ребенок, научившийся первым словам? Может, это тот самый день?..

Тогда, Азретали, не зря ты отправился в путь с отцом. Пусть голос родины сопровождает тебя всюду, пусть ее мелодии помогают тебе одолевать самые трудные пути!..

— Ата, скажи, это все наша земля? — спросил Азретали.

— Конечно, мой сын. Наша родная земля.

— Какая она большая. Столько едем, а края не видно.

— Ей нет конца-края. Люби ее, сын. Она как мать, склонявшаяся над твоей колыбелью...

Азретали вдруг почувствовал, как у него перехватило дыхание. Что-то страшное, неведомое до сих пор происходило с ним. Что это? Он спрятал от отца глаза, полные слез. Отчего эти слезы? Ведь ему вовсе не хочется плакать. Раньше слезы павертывались у него, если наступал босой ногой на колючку или ударялся о камень. А сейчас почему? Не потому ли, что до сегодняшнего дня он

жил, бегал, играл, думая, что у него только одна мать, а сегодня узнал, что есть и вторая — такая большая и добрая?..

Между тем густой лес, обступивший дорогу, отбежал в стороны: Каспот и Азретали выехали на широкую белую долину. На ней ровными рядами выстроились скирды сена — длинные, высокие, высотой, пожалуй, с два таких дома, в каком жил Азретали. На толстых пластинах снега, которыми они укрыты, горят, переливаются серебряные звезды. Где-то совсем рядом улары рвут своим свистом невидимую пелену белой тишины...

И вдруг из-за скирд выскочили косули, сбившись в кучку, метнулись к лесу. Азретали вначале принял их за косяк перепуганных жеребят. Поняв, что это не жеребята, хотел было спросить о них отца, но не повернулся язык. Услышат его голос — совсем перепугаются. А так, может быть, еще вернуться? Затаив дыхание, Азретали смотрел им вслед. Но они не остановились, не вернулись — скрылись в лесу, так и не дав себя разглядеть.

Но успел Азретали опомниться, как высоко-высоко на каменистом поясе снежной горы взметнулась целая стая уларов, словно лавина сорвалась вниз, а за ней — черный коршун.

— Кто это? — не выдержал на этот раз мальчик.

— Это улары убегают от стервятника, — ответил Каспот.

— А те от кого убегали? Тоже испугались?

— Косули? Ну, это они от неожиданности. Косули убегают от волков, а человек им не страшен. Вот сейчас опомнятся и опять придут жевать сено. Пусть себе, сена на всех хватит.

— Постой, ата. Значит, коршуны, волки — вредные? Я их не стану любить, — сказал мальчик после недолгого раздумья.

— Ты прав, мой сын. Не все, что встречается на земле, надо любить. — Каспот помолчал, глядя на коршуна, который прекратил свое безнадежное преследование и парил теперь высоко в небе. — И еще хочу сказать, сын, — продолжил он. — В том, что волки преследуют косуль, а коршуны — уларов, нет беды. Им отроду назначено охотиться за косулями и уларами. У нашей земли и всего живого на ней есть враги куда худшие — двуногие. Сох-

рани аллах, чтобы они когда-нибудь пришли на нашу землю, за которую мы сражались с незабвенным моим старшим братом Аскером. Пусть наши волки гопают наших косуль — только не эти двуногие. И если ты хочешь по-настоящему любить свою родную землю, то пусть будет так же сильна, как эта любовь, и твоя ненависть к ее двуногим врагам.)

Каспот обращал эти слова к маленькому сыну, но говорил их и себе. Он не стеснялся высоких слов, когда говорил и думал о родной земле, и не уставал повторять их сыновьям при каждом удобном случае — и дома, и в коше, и когда они шли за отарой. Слова о любви к родному очагу, к земле отцов, ко всей их большой родине он повторял, как слова молитвы. И сейчас он говорил себе: «Земля моя, приравняй меня к твоим волкам и змеям, но огради от участи твоего врага, от неверности тебе. Пусть сам я буду стоять не дороже, чем кончик рога дикой козы или копыто моей лошади, — но сохрани моих сыновей от неверности к тебе...»

10

На дворе лето, и Азретали уже не такой маленький. Родственники, соседи, встречая его, говорят, что он здорово вырос. Но Азретали и без них это знает. Прошлым летом он еще доставал макушкой до стремя отцовской лошади, а теперь дотягивается уже кончиком носа. Бурьян, растущий вокруг поляны, если войти в него, и сейчас закрывает все, кроме деревьев. Но стоит Азретали выйти на поляну, как сразу же он вырастает: высока трава на поляне, достаёт до живота белой кобылицы, а все-таки он выше ее на целую голову.

Откуда-то доносится запах оразыка¹ и спелой земляники. Густая, высокая, чудесная трава... Стоитдохнуть даже легкому ветерку, как она начинает тихо шелестеть, переливаясь волнами. Тогда Азретали хочется погладить ее, как материнские волосы... Но поляна не зеленая. Если взобраться на камень перед кошем и осмотреться, — она кажется огромной бабочкой с узорчатыми крыльями.

¹ Оразык — съедобное однолетнее растение, листьями схожее с тмином.

Ни Каспот, ни его сыновья не пускают на нее овец. Только белой кобылице разрешено пастись там. Но Азретали никогда не видел, чтобы она жадничала, топтала траву. Ходит, словно девушка в цветнике, осторожно перебирая мягкими темными губами травинки и так же осторожно переставляя ноги, — ни один цветок не сомнет. И никуда не уйдет с поляны. Поэтому Каспот, ничуть не беспокоясь, мог оставить ее на поляне даже на ночь.

Нынче сыновья Каспота, за исключением двоих, в коше. Всего их шесть братьев. Самый старший, Канамат, служит в рядах Красной Армии. Нет и самого младшего, Хамитбия: он дома, помогает матери по хозяйству. Родившиеся вслед за Канаматом Каракай и Шамиль — такие же, как и отец, чабаны. Шамилю, кроме того, достались обязанности повара. Он с удовольствием управляет на кухне, не то что Каракай, который считает, что стряпня — не мужское дело, и никогда даже пальцем не дотронется до теста. Иногда отец почему-то поругивает Каракаю, говорит: «Отпрыск ленивца»... Каракай рослый, стройный парень, у него уже пробились черные усики и борода. И Шамиль отращивает усы, только они у него рыжие; ростом он пониже Каракаю, но плотнее его. А старшего перед Азретали зовут Гитче; этой весной он окончил пятый класс. Гитче иногда пасет овец вместе с отцом и братьями, но чаще остается в коше, заготавливает на зиму сухие дрова. Каждую неделю, тяжело навьючив ишака, он спускается в аул.

Азретали ревнует его в этой заботе, ему думается, что и он мог бы приезжать к матери в аул, пригоняя нагруженного дровами ишака. Пока же ему доверяют только отводить белую кобылицу к роднику. Но и это уже немалое: его одногодки, наверное, и близко не подходили даже к обыкновенной, гнедой лошади, не то что к белой. Иногда Азретали тайком от отца подводит ее к большому камню, взбирается на него, а оттуда — на спину кобылице. Спуск к роднику крутоват, и когда они едут на водопой, Азретали едва удерживается на холке. У самого же родника кобылица резко опускает голову, и он камешком соскальзывает наземь. А когда они возвращаются в кош, поднимаясь по тропинке вверх, Азретали тоже достается:

он все время сползает на круп. Но тут выручает густая грива. К тому же идет кобылица тихим, степенным шагом: куда спешить — сыта, напоена. Однако не плошай: вдруг неподалеку заржет лошадь. Услышав это, кобылица встрепетается, вскинет голову и начнет в ответ судорожно ржать, будто всхлипывать. Тогда Азретали трясется и подскакивает на ней, как мука в сите. И все-таки ни разу она не сбросила его — умная она, белая кобылица.

В другое время Азретали подолгу сидит на большом сером камне у коша, сушит траву для чабуров отца и братьев или просто смотрит по сторонам, думает о своем. Хотя и мал Азретали, но уже начал понимать: мир устроен не так, как казалось раньше и как хотелось бы ему. Нелегко расставаться с той жизнью, которую ты сам придумал и разукрасил, но что поделаешь...

Подолгу смотрит Азретали на поляну, на опушку леса. Его глаза будто ищут что-то, а что — он не объяснил бы и сам. Азретали уже знает: белые жеребята не бегают косяками на полянах, они появляются только от белых кобылиц. И щенки появляются от больших, взрослых собак. Еще недавно соседская Гатча ходила с животом, отвисающим чуть не до самой земли, а потом куда-то исчезла и вернулась с семью кутятами... И не от кого-нибудь, а от белой кобылицы следует Азретали ждать своего белого жеребенка. Но вот беда: сколько ни наблюдает он за ней, живот у нее никак не растет, все такая же поджарая.

Ну что ж, Азретали подождет: не появится белый жеребенок сегодня — появится завтра. У каждого человека, верит Азретали, должен быть свой белый жеребенок. Надо только очень сильно захотеть найти его. Если ты настоящий мужчина — ищи без усталости и жди. Азретали умеет ждать. Он верит: ни белая кобылица, ни поляна не обманут его мечты. Родная земля не оставит его без белого жеребенка, ее леса и горы не скроют от него своих туров, ланей, коз...

Правда, сейчас, когда в коше так много людей, лани редко появляются на поляне. Вот только что Азретали заметил трех на опушке леса, но едва лишь начал сползать с камня — они миг исчезли. Отчего это? Ведь Азретали не желает им зла. Бедняги, не знают, наверное, кто может принести им добро, а кто — зло. Или тот, кто сулит

добро, сулит и зло? Так и сказал однажды его старший брат Каракай: «Дождавшись добра — жди худа». И еще говорил: «Чтобы не обмануться в жизни, не столкнуться со злом неожиданно, живи, думая, что добро — это одновременно и зло».

Каракай намного старше его, старших надо слушаться и верить им — Азретали знает это. И все же не может поверить Каракаю. Вот если бы лани сейчас не скрылись, а подпустили его к себе, — разве он причинил бы им зло? Он дал бы им лепешку, сорвал бы для них травы, погладил...

Азретали поделился своими мыслями с Каракаем, но тот высмеял его:

— Ты, конечно, еще сосунок, — сказал он, — но пора бы тебе знать: из леса выходят не только лани, но и волки. Пойдешь в лесок поживиться ланью или косулей — и сам станешь добычей волков. Вот как бывает! И у них так: подстерегает волк косулю, а выходит человек с ружьем... Не плошай!

— Значит, я должен остерегаться наших лесов и гор? Так, что ли? — огорчился Азретали.

— Разве я сказал тебе: будь зайцем? Надо быть таким сильным, чтобы, увидев тебя, все расступались и бежали.

— А я не хочу быть таким. Не хочу, чтобы меня пугались лани и косули. Вот от тебя они бегут — ты рад?

— Не волнуйся, далеко не уйдут. Захочу — моя пуля настигнет их! А ты не будь безрогим ягненком.

Азретали, не зная, что ответить старшему, растерянно умолк. И тут он вспомнил слова отца.

— Ты неправду сказал, наш ата говорит: одинаково пугать ланей и волков может только недобрый человек. И еще он говорит: разве трудно понять, где крапива, а где цветы?

— Нам не трудно, мы отличаем. А животные — глупые, неразумные, они не отличают. Лань бежит и от доброго, и от злого, боится и волка, и тебя — безобидного ягненка.

— Неправда, они умные, все понимают. Вон белая кобылица — как увидит в твоих руках уздечку, сразу убегает. А к отцу, Шамилю и ко мне сама идет! Что скажешь? И овцы, увидев тебя, шарахаются в сторону.

А отец спокойно ходит среди них, и я, и Шамиль тоже! — теперь торжествовал Азретали.

Каракай был озадачен. Его злило, что его загнали в угол. И кто? Сосунок, чьи пеленки еще просохнуть не успели! Но в словах Азретали слышалась правда, и он задумался. Отчего это, в самом деле, кобылица, словно дойная корова, спокойно идет к отцу и Шамилю, а как увидит его — сразу становится подобной шайтану, возле которого произнесли молитву. И что такого сделал ей Каракай? Посылает его отец, приведи, мол, кобылицу, а он возвращается с одной уздечкой... Хоть сквозь землю провались. Сколько раз бросал он свое самолюбие под ее копыта. Оттого не может он видеть белую кобылицу. И с недавних пор стал тайком от братьев и отца похлестывать ее: пусть знает... Но почему она и прежде шарахалась от него? Нет, что ни говори, Азретали в чем-то прав...

Но Каракай не хотел признать своего поражения.

— А почему лани одинаково пугаются и меня, который может достать их пулей, и тебя, безобидного?

— Ты был рядом со мной.

— Что же, если я спущусь в аул и ты останешься один — лани за тобой табуном станут ходить, что ли?

— Сейчас — нет. Сейчас они будут пугаться и тебя, и меня.

— А потом?

— Потом не будут.

— Когда же?

— Не знаю... Ата сказал: когда все люди станут добрыми.

— Это когда же будет?

— Не знаю...

— А не знаешь — так прикуси язычок! — Каракай нагнул на глаза Азретали войлочную шляпу и пошел в кош. Вскоре он вышел оттуда с винтовкой за плечами и направился к лесу.

Азретали сидел на сером камне, вспоминал этот разговор, как вдруг услышал эхо выстрела, раздавшегося на опушке. Азретали не обратил внимания: выстрелы из винтовки он слышал и раньше, отец с братьями не раз стреляли из нее...

Через некоторое время кто-то показался из леса и, приминая траву, направился к кошу. Азретали всмотрелись: это шел Каракай. Но что у него на плечах? Что это?

Азретали прыгнул с камня и бросился навстречу. Никогда он не позволял себе мять траву на поляне, не бегал по ней, а сейчас бежал, не замечая ничего, не обращая внимания ни на траву, ни на хрупкие цветы. Из-под ног камнями вылетали короткохвостые сытые перепела...

Азретали добежал до Каракай и замер перед ним. Старший тоже остановился.

— Ну, что скажешь? — спросил он.

Мальчик молчал. Он не мог верить тому, что видел.

— Что с тобой, забыли слова?

Каракай стоял, обхватив руками передние и задние ноги убитой им лани. Тонкие, стройные, как плети краснопотала, ноги с острыми черненькими копытцами. Между задними ногами виднелся толстый и короткий, как паперсток, сосок, сочившийся белыми слезами... Лапъ лежала на плечах Каракай, будто коромысло. Ее голова свисала вниз, касаясь пояса охотника, украшенного серебряным поументом. Во рту лапи торчала недожеванная трава, — словно ею заглушили последний ее крик. «Зачем меня разлучили с этим чистым небом, с высокогорбыми горами? Зачем лишили радости видеть зелень травы, красу цветов?» — словно вопрошал мертвый глаз. Кровь, капавшая из-под лопатки лани, окрашивала плечо и грудь Каракай, плела на поясе, на подоле рубашки...

— Тебе все хотелось увидеть их поближе. Вот, смотри! — Каракай бросил мертвую лапъ на траву. Лицо его было темно-багровым, как пятна на одежде. Ворот рубахи расстегнут; струйки пота, стекая по лицу, по шее, исчезали за пазухой.

Азретали, не говоря ни слова, сел, склонился над лапью.

— Это была твоя лапъ? — наконец спросил он.

— В лесу их много. Какую убьешь, та и есть твоя, — спокойно ответил Каракай.

— Нет, нет, у каждого она одна-единственная. А ты убил. Теперь нет у тебя своей лани. И детеныш ее погибнет без материнского молока, — значит, еще кто-то не найдет свою лапъ, — говорил грустно Азретали.

— Ладно, успокойся, твою лапш я стрелять не буду, — постарался Каракай утешить брата, хотя и не понимал его.

— Ты убил свою лапш! Что скажет отец? Не боишься его гнева? — Азретали взглянул на Каракай.

— Почему это я должен бояться? Она ведь сама вышла мне навстречу. Кто же отказывается от своего счастья?

Азретали задумался. Теплый ветерок слегка волновал траву, шевелил шерсть лани.

— Говоришь, счастье? — поднял голову Азретали. — Зачем же ты пристрелил ее? Разве в счастье стреляют?

— Если бы не стрелял, она бы мне не досталась. И не было б никакого счастья!

— Значит, что не убьешь — то не твое? Чтобы добыть счастье, надо его пристрелить, так? Не верю тебе!

— А ты как думал? — воскликнул Каракай. — Что мне от журавлей в небе, от дичи в лесу, от туров на горных вершинах, если они не в моих руках?

В знак несогласия Азретали приподнял одно плечо.

— Ата говорил: у каждого в небе есть звезда его счастья. Думаешь, у тебя есть?

— Ну, наверно, как и у всех, — замылся старший.

— Значит, ты и в свою звезду будешь стрелять, чтобы попасть к тебе в руки? — допытывался Азретали. Он посмотрел туда, где небо сливалось с вершинами гор, словно надеялся увидеть там звезду свою и брата. Но ничего, кроме облаков, на небе сейчас не было...

— Звезда — это другое дело, — сказал Каракай после некоторого замешательства и, взвалив тушу на плечи, направился к кошу.

11

Вечером Каракай, стараясь как можно дольше не попадаться на глаза отцу, крутился возле отары, не подходя к кошу.

Каспот ждал его, прилегши на бурку, расстеленную на сене. Лицо его казалось необычно суровым. «Может, это оттого, что он сегодня побрился?» — думал Азретали. Когда отец подтиравлял усы и чисто выбривался, лицо его всегда становилось строже. Но Каспот угрюмо молчал, и

Азретали, как и старшие братья, понимал настоящую причину его суровости...

Наконец Гитче сбегал за Каракаем. Когда тот вошел, Каспот не повернул головы в его сторону, будто не заметил. Все молчали, не смея нарушить тишины.

— Шамиль, дай-ка мне пахнуть,— сказал наконец Каспот и, приподнявшись на бурке, сел.

Все ожили, перевели дыхание: своим долгим молчанием отец излил избыток гнева...

— Сын мой, садись-ка сюда,— сказал он наконец Каракаю, указывая место возле себя. Каракай сел, опустив голову.— Не я ли просил вас без моего разрешения не трогать винтовку, не охотиться? Как ты посмел убить лака? — сдерживая гнев, тихо спросил Каспот.

Каракай молчал.

— Ответь мне, я жду!

— Разве нельзя убивать дичь в лесу? — сказал Каракай еле слышно, не поднимая головы.

— Ты сегодня пустил пулю в свою родную землю! — загремел Каспот.— Ты сотворил зло!

— Отец, но ты сам учил меня метко стрелять. Если моя меткость принесит зло — зачем ты дал мне ее? Ведь не человека я убил, а животное.— Каракай заговорил смелее.

Каспот вновь прилег на бурку, задумался. Не ожидал он, что сын когда-нибудь спросит его об этом. Обучая своих детей меткой стрельбе, он считал, что дает им необходимое, достойное мужчины мастерство. А сейчас впервые в жизни задумался над тем, необходимо ли это мастерство. Нужно ли оно ему, его сыновьям, людям его аула. Если бы кто-нибудь спросил его об этом лет двадцать с лишним назад, Каспот не стал бы и разговаривать с ним, просто прогнал бы со двора.

...Нелегко далось ему это мастерство. Спасибо брату Аскеру. Он был таким стрелком, что о нем говорили во всех пяти балкарских ущельях. И не успокоился, пока не обучил своему мастерству младшего брата. Однажды Аскер показал ему летящую сороку и сказал: «Целься в голову». Но пуля Каспота запоздала, попала не в голову, а в шею птицы. Как рассердился Аскер! «Непутевый, снегом, что ли, твои глаза запорошило?!» — и ударил Каспота по лицу мертвой сорокой. Потом вырвал у него винтовку,

выстрелил — и пролетавшая над ними птица камнем упала на землю с раздробленной головой. «Если ты и во врага будешь стрелять так — лучше бы тебе по утрам не просыпаться, не видеть белый свет!»

Мастерство, которому научил брат, никогда не приносило Каспота огорчений, не тяготило его. Наоборот, не раз он слышал за него слова благодарности от людей аула. Меткая стрельба — как меткое слово. Слово может согреть, может и ранить душу, как пуля. Все дело в том, что ты вложишь в него. Путь зла надо пресекать силой, иначе оно будет множиться, как сорная трава. Слово пресекается словом, на пулю есть пуля.

И когда в горы пришли справедливость и свобода, пришла вместе с Советской властью новая жизнь, пули братьев служили этой справедливости, защищали эту свободу и жизнь. Пробив грудь многим бедам и злу, они помогли вновь разжечь потухшие очаги землепашцев и чабанов, дали жизнь новым песням...

И позже умение владеть винтовкой никогда не навлекло на Каспота проклятия аульчан. Его меткие выстрелы множили только радость. Как часто пули, посланные им вдогон волку, уносящему ягненка, возвращали того в отару невредимым, лишь испачканным волчьей кровью!..

...— Ты спрашиваешь, сын, зачем я научил тебя метко стрелять? — заговорил наконец Каспот после долгих раздумий. Каракай и все братья молчали. — Учил не для того, чтобы пущенные тобою пули стыли в сердце родной земли. Не для того, чтобы ты без промаха бил ланей в палих лесах. Да, я учил вас. Но для того, чтобы, если придет такое время, целью вашей были только сердца врагов. Вот для чего я учил вас посылать пули без промаха!

Никогда еще сыновья Каспота не видели отца в таком гневе, не слышали у него такого голоса.

Каспот резко поднялся, взял бурку и вышел воп. Никто из братьев не осмелился последовать за ним.

Воздух беззвездной ночи был чист и свеж. На притихшие горы, лес, поляну словно накинули покрывало из черного бархата. Но Каспот уверенно направлялся к отаре. Дойдя до нее, он дважды медленно обошел овец и остановился, опершись на ярлыгу. Растревоженные мысли не давали ему покоя.

...Или не надо было учить Каракаю меткой стрельбе? Но ведь каждый истинный сын своей земли должен одинаково хорошо владеть и пастушьей ярлыгой, и винтовкой. А разве Каракай — не сын родной земли? Ну, ошибся в этот раз, в другой раз не ошибется. Нет, не надо требовать от него, чтобы забыл свое мастерство. И не устанет Каспот учить сыновей владеть оружием. Так надо, чтобы молчало оружие в руках врага, как молчит ярлыга в руках пастуха. Каспоту гораздо больше по душе ключья облаков, повисающие на деревьях, чем дым от его выстрелов. Но пусть никогда раскаты грома не сольются со взрывами снарядов. И если доведется вздрогнуть путнику, возвращающемуся с гор домой, то пусть это будет только от вспышки молнии... Каспот учит своих детей держать в руках винтовку, как учил их держать косу. Учит, чтобы мирным и спокойным был сон других детей. Горец, который не сможет оградить красоту от насилия, — разве горец? Не способный вырвать голубя из когтей улетающего ввысь коршуна — разве тот горец? Чтобы вместе с колыбельной песней в аулах не слышался плач матерей, пусть рядом стоят и пастушья палка, и винтовка. Почему же Каспот должен жалеть о том, что научил Каракаю стрелять без промаха?

Но нет чести тому, кто берет оружие с недобрыми намерениями. Если его сыновья окажутся недостойными доброй славы винтовки Аскера, — Каспот вырвет их из своего сердца.

12

С того вечера минуло много времени, быстротечного, как воды горной реки. Многие покинули этот мир, и новые люди пришли в него. Азретали давно уже не безусый мальчишка, а мужчина, ему за тридцать. Жизнь не обделила его. В тяжкую пору войны Каспот, бывало, сажал его на колени и с грустью говорил: «Видно, не доведется тебе выучить даже начертания букв». Но Азретали выучился. Стал кандидатом наук. Ему довелось увидеть, как чудесно изменилась жизнь в родном краю. Горянки, еще недавно дивившиеся велосипеду, теперь садятся в реактивные самолеты, словно в арбу. Матери, не отпускавшие своих дочерей дальше двора, сами отправляются в даль-

ние дороги, будто по тропе, ведущей к ручью. Книжки, которых Азретали не видел и в шестнадцать лет, прочитаны его восьмилетним сыном. Ему снятся дальние страны и планеты, как некогда снился самому Азретали белый жеребенок...

Да, время мепяет многое. Но есть и такое, что неподвластно течению времени, что не может быть забытым или прощеным. Память о погибших братьях, о своем раненом детстве никогда не оставляет Азретали, не дает ему покоя.

Вот почему сегодня Азретали вновь оказался на поляне.

Еще издали он заметил Каракаю. Тот сидел у подножия могилы Каспота, обхватив руками колени. Гнев охватил Азретали: как смеет приходить сюда этот человек, которого прокляли отец и мать! Он не хочет встречаться с ним, и пусть Каракай убрается сейчас же, нечего ему тут делать!.. Ни приветствовать его, ни мирно говорить с ним он не сможет.

— Какой черт тебя сюда принес? — крикнул Азретали вместо приветствия.

Каракай поднял голову, посмотрел на него воспаленными, ведающими глазами.

— Не кричи на меня, брат, — отвечал он. — Когда я пришел сюда сегодня ранним утром, такая тишина была тут. И речка внизу показалась чистой, прозрачной, будто в пору моего детства. А утро было ясное, солнечное... И не было надо мной тучи воронья — я увидел зелень трав и деревьев. Впервые с тех пор! И снова мне захотелось жить, радоваться жизни! Я стал бегать босиком по поляне, как некогда в детстве... Но ты видишь: трава обожгла мне ноги, словно я бегал не по траве, а по крапиве. Я коснулся цветов — они показались мне такими же, как прежде, — но в мои ладони вонзились колючки шиповника... Смотри же, брат, — Каракай поднял растопыренные ладони, и Азретали увидел на них тонкие струйки крови.)

Что-то похожее на жалость шевельнулось в нем. Он смягчился.

— Как ты живешь? — спросил он.

— Спрашиваешь, как будто не знаешь, — с тоской ответил Каракай. — Меня все прокляли. Сказали: «Пусть лицо твое умоется кровью!» И я несу на себе это прокля-

тие изо дня в день... У меня такой же очаг, как и у всех, в тепле огня я не пуждаюсь. Но что оно в сравнении с теплом слов? — Каракай говорил это, не поднимая головы, опустив когда-то сильные, широкие плечи. — Однако как долго я ищу... Ищу, ищу, а найти не могу...

«Уж не теряет ли он разум?» — подумал Азретали, а вслух спросил:

— Что это ты ищешь так долго?

Каракай поднял с земли истертый, полусгнивший кусок хромовой кожи.

— Скажи, брат, может, этот кусок — от моей шапки, оставленной тогда на этом месте? Сдается мне, что так. Я нашел его, когда рыл здесь землю...

— Ты ошибаешься. Что могло сохраниться от твоей шапки за тридцать лет? К тому же ты бросил ее не здесь...

— Где, где же она была брошена, скажи, сделай милость! — У Каракая загорелись глаза. — Если бы мне опять удалось обрести ее хоть на день, хоть раз показаться в ней на людях! Жизнь моя началась бы заново, я забыл бы все свои муки... Скажи, брат, где ее найти?

— Я не знаю, как найти сгнившую шапку. Ее не вернуть, нет такого способа. Неужели не понимаешь этого? — Азретали уже не хотелось продолжать разговор, и он думал только о том, как бы оборвать его.

— Я-то знаю такой способ, — в задумчивости проговорил Каракай. — Но что из того, что знаю... Вот если бы вновь в эти места пришла война, все увидели бы, что Каракай по-прежнему храбр и меток. Я оросил бы эту поляну кровью врагов... Но не быть такому счастью... Пропавают зря моя храбрость и сила, и мастерство мое — словно битая черепица под золой. Эх, если бы опять выпал случай...

Азретали слушал и не верил своим ушам. И он позволил себе покалеть этого человека!

— Что я слышу! — прервал он наконец изливания Каракай. — Значит, жизнь так и не научила тебя отличать добро от зла, мужество — от эгоизма? Ты всегда любил себя больше всех — оттого и бежал тогда с этой поляны. А теперь, снова заботясь лишь о себе, накликаешь войну, хочешь видеть народ в беде!

— Брат мой, я готов заслонить его от беды собственной грудью!

— Не верю! Ты был трусом — им и остался.

— Разве тот, кто не боится войны, — трус?

— Герои убивают войну, а трусы ведут ее за собой. Слышал, что трус бьет первым? Ты — трус, себялюбец! Ты не любил людей — они отвергли тебя. Живи, как знаешь. — Сказав это, Азретали резко повернулся и пошел прочь.

Как мог он поддаться жалости! Протянуть Каракаю руку? Лучше он отдаст тепло своей ладони любому холодному камню, лежащему на этой поляне! Рука Азретали могла бы протянуться Каракаю лишь вместе со множеством других рук. Но этому не бывать...

Азретали вдруг услышал за спиной учащенное дыхание.

— Брат, погоди немного, — раздался голос Каракая.

Азретали приостановился, но не оглянулся.

— Ты опять уходишь, оставляешь меня одного? — со слезами в голосе проговорил Каракай.

Азретали, не отвечая, двинулся дальше.

А ночью Азретали приснился сон.

...В комнату бесшумно в белом саване вошел отец. Вошел и присел у дверей.

— Отец, почему ты остался там? Пройди, сядь у огня, — пригласил Азретали.

— Нет, сын мой, это место предназначено живущим. Мертвые не должны занимать места живых, — ответил отец.

— Ты остался среди живых — в ауле тебя помнят.

— Может быть... Но даже если забудут — я не посмею их упрекнуть: надо думать больше о живых, чем об умерших, — молвил Каспот, оставаясь сидеть на прежнем месте.

— Скажи, зачем ты пришел? — спросил Азретали.

— Я посетил тебя, тревожась за судьбу твоего несчастного брата. Не бойся, не тебя я зову, это ему недолго осталось собираться в последний путь...

— Чего же ты хочешь, отец? Уж не предлагаешь ли простить его?

— Не мертвым решать судьбу живых. Это вы делите с ним хлеб и воду — вам и решать. Но только знай: когда

он умрет и придет в землю, я и там его не оставлю, выгодно. Не быть ему ни с живыми, ни с мертвыми. Несчастный, несчастный...

Сказав это, отец тихо исчез.

...И тут же Азретали увидел себя на поляне. У могилы отца Каракай, стоя на четвереньках, разгребал землю. Руки, лицо, обнаженная голова — все у него было запачкано глиной...

— Что ты здесь делаешь, Каракай? — спросил его Азретали.

— Не видишь? Раскапываю могилу отца. Он унес туда мою шапку...

— Прочь! — закричал Азретали — и проснулся.

Уснуť он уже не мог. Лежал, думал, вспоминал. Он ничего не забыл, он помнил все...

13

Всякий раз, когда Каспот брал в руки винтовку, он вспоминал брата Аскера.

Аскер был красным командиром. Пуля врага свалила его с коня в Черекском ущелье, когда они преследовали отряд белогвардейцев. Тогда Каспот взял пятазарядку брата себе и с тех пор бережет ее, как священную реликвию. Когда вышел приказ о сдаче оружия, Каспот не отдал винтовку. Он понимал, что поступает нехорошо. Но ведь это — единственная вещь, оставшаяся от брата, говорил он себе. И берег ее, как зеницу ока, как папаху на голове. Беря в руки винтовку, на прикладе которой было выжжено имя «Аскер», он словно воочию видел брата.

Вот и теперь, взяв пятазарядку, Каспот задумался...

«Друг мой и враг! Не одну зиму и весну грели тебя руки брата. Ты согревалась и под его буркой — за спиною или прижатая к груди. Тебя нагревали пули, посылаемые братом во врагов нашей земли. Ты немало послужила тому, кто владел тобой, и родине его ты послужила немало. Ты не можешь пожаловаться на свою судьбу: не поворачивалась ты черным своим дулом в сторону слабых, справедливость не была твоей мишенью, зато черной крови ты пролила много. Теперь тебя греют руки моих сыновей, твой приклад прижимается к их плечам, ста-

новясь еще более гладким, стираясь, как точильный камень...

Но ты прости меня, винтовка брата: хотя много раз ты отсекала голову зла, хотя ты и принесла балкарцам свет новой жизни,— ты прости Каспота: он не любит тебя, прости ты его, старая винтовка. Вот сейчас я держу тебя на коленях, будто люблюсь,— и все равно, нет во мне любви к тебе. Я хотел бы, чтобы стершийся твой приклад никогда больше не согревался человеческим теплом, чтобы ствол твой оставался холодным как лед. А еще я желал бы собрать все винтовки и из их стволов сделать свирели: пусть забавляются дети, играют на досуге седобородые. Я верю: придет такое время, его увидят младшие...

Но пока, старая винтовка, будь верна своей чести, не обмани надежды людей, пусть твой ствол греют лишь пули, посылаемые справедливостью...» — так думал Каспот.

Накопец он очнулся от своих дум, встал.

— А ну-ка, ребята, пойдем проверим себя! — обратился он к сыновьям.

Братья вышли из коша вслед за отцом. Знакомая тропинка привела их к лесу.

Но впервые приходит сюда Каспот с сыновьями, чтобы пострелять в цель. Но всякий раз здесь, на поляне, его снова одолевают сомнения. Конечно, учить мужчин мужеству — его долг. Кто посмеет упрекнуть Каспота в этом? Он знает, зачем вкладывает в руки сыновей винтовку. И все же каждый раз он испытывает чувство вины за нарушенный покой этой поляны, ее трав и деревьев, за потревожающую тишину родной земли. Вот и сейчас Каспот медлит, осматривается вокруг, словно видит эти места впервые. Посмотрел на дубы-великаны, на белые стапы берез, на травы, едва колыхаемые ветерком. Прислушался — только шелест листьев слышен в тишине. Потом сорвал с плеча винтовку...

«Земля моя! Я молю о прощении каждый лист на твоих деревьях, каждый цветок и травинку на этой поляне, прости меня, земля... Когда раздастся выстрел, лани и козули твои, испугавшись, перестают чувствовать вкус травы; перелуганные птицы покидают гнезда, улетают прочь от своих гнезд,— и у них я молю прощения... — Каспот взял на прицел намеченную березку: он должен срезать ее пятью пулями. — ...Огонь, вылетающий из ство-

да винтовки, сжигает траву, ослепляет цветы... Прости меня, земля, и за это...»

Каспот нажал на спуск. Ахнул лес, взметнулись в небо птицы с деревьев. И только березка, в которую пошла пуля, не вздрогнула, не вздохнула, лишь замерла удивленно.

Не успел наполниться воздухом след первой пули — Каспот послал вторую. И тогда березка поняла, что ее убивают, — и стала тихо ронять на землю прозрачные зеленоватые слезы...

«Земля моя, я взял на прицел твое дерево, чтобы не попали под прицел врага твои люди. Я встревожил твоих пернатых, чтобы не потревожили первую любовь девушки, не прервали колыбельную песню матери... Пусть вздрогнет пастух, спокойно стоящий, опершись на носох, и одинокий всадник, спускающийся с гор, — лишь бы пуля, ранившая дерево, не обожгла их. — Каспот выстрелил в третий раз, и дым от всех трех выстрелов слился в облачко. — Ничего: животные, утратившие сейчас вкус травы, насладятся ею потом; птицы, покинувшие гнезда, вернуться обратно; ослепленные огнем цветы вновь увидят солнце, зазеленеет почерневшая от порохового дыма трава, омывшись теплым дождем. И спокойно улыбнутся пастух и одинокий путник, поняв, что насторожились зря... Молю, чтобы не было на моей земле выстрелов злее моих, молю об этом — и убиваю твое дерево, земля моя...»

Каспот вынул пятую пулю и опустил винтовку. Вновь наступила тишина. Березка не падала. Сыновья удивленно посмотрели на отца, переглянулись друг с другом: такого еще не бывало!

Но никто из них не успел и пошевелинуться, как березка дрогнула и начала клониться к земле. Соседки, обняв ее, подставив грудь, пытались какое-то время удерживать от падения. Но сколько ни прижимай к груди то, что предано смерти, — место ему на земле... И соседки, поняв, что тут уже ничем не помочь, со вздохом качнулись в стороны. Березка падала, касаясь их своими ветвями, словно прощаясь. На земле приподнялась, опираясь на гибкие руки-ветви, и замерла, вглядываясь в небо. Но не сдержать тяжесть смерти: подломились гибкие руки, и березка распласталась на земле. Последняя искра жизни пробежала в ее затрепетавших, прошумевших тихим шелестом зеленых косах — и деревце успокоилось...

Каспот, не говоря ни слова, протянул винтовку Каракаю: его очередь. Отошел на самый край поляны, воткнул в землю пять бараньих ребер, разных по высоте, как пять пальцев руки.

— Сравняй их — тогда я скажу, что ты достоин винтовки своего дяди, — приказал он Каракаю.

Каракай посмотрел на братьев и, усмехнувшись, незаметно подмигнул им. Неужели отец еще сомневается в его искусстве? Ведь он и его самого уже превзошел! Да что отца! Встань из могилы Аскер, Каракай, пожалуй, и того мог бы кое-чему научить...

Каракай принял стойку, приклад точно лег к плечу. Он стоял высокий, стройный, сильный, в каждом движении чувствовалась уверенность в себе, в том, что ни глаз, ни рука не подведут его.

Жаль, думал Каракай, никто не видит его сейчас, кроме отца и братьев. А как бы ему хотелось, чтобы видели все. Чтоб узнали, какой он искусный стрелок, настоящий мужчина! Вот бы устроить состязание в ауле, и чтобы были девушки... Никому не уступил бы он первенства! Надо будет — и птица не пролетит над аулом. Вот так! — Каракай срезал первой пулей ровно половину ребра. — Ах, жаль, никто не видит... И все из-за отца. Никак не поймет Каракай, почему отец скрывает от всех мастерство сыновей. Спуститься бы в аул с винтовкой... Вот он скачет по улице, стреляет, будто случайно, — и падает с пета коршун, паривший под облаками, сбитый пулей, понавшей в глаз. Эй-хей, вы еще не знаете Каракаю! Кто устоит перед сильным, храбрым джигитом? Сильного всегда боялись, уступали ему. Его предки-горцы лихо владели булатными кинжалами и мечами, такими острыми, что ими можно было заточить конский волос. Только те, кто умел держать в руках оружие, не знающие жалости и страха, оставили свои имена в памяти людей. Все склонялись перед ними. И красавицы-девушки принадлежали только им, и жизнь держалась на их плечах... У Каракаю нет острого кинжала, нет меча, которым можно заточить конский волос, — но есть винтовка. Пуля ее острее меча. Что Каракаю эти старые бараньи ребра! Пусть потянут там, куда едва достигает взор, даже конский волос — Каракай оборвет его пулей, как ударом меча. Да, надо быть сильным. Слабую овцу затаптывает отара, — Каракай не раз видел это собственными глазами. Что ж, так

и должно быть, такова жизнь... Слава всевышнему, его природа не обделила: дала силу, ловкость, соколиную зоркость. У него в руках — мастерство, необходимое мужчине. Почему же не может он воспользоваться своей силой и меткостью? «Мужество и сила не в том, чтобы проливать кровь», — говорит отец. Слова! Они не удержат его. Никто не запретит ему ходить на охоту, бить лапай и туров, стрелять уларов. Он добьется своего! Все станут говорить о нем, все девушки в ауле восхитятся им... Но когда это будет, сколько ждать? Хоть бы воры напали на кош, как бывало раньше. Каракай прогремел бы так, что люди забыли бы имя сына Бекка¹, забыли песни о нем. Лучшие песни сложили бы о Каракае. Пусть придут воры. Пусть встанут перед ним четверо, как стоят эти четыре бараньих ребра, — Каракай отсечет их головы. Вот так... вот так, — Каракай выстрелил дважды и сравнял два ребра с первым. — Нет, это не ребра, это газыри на груди горца... Кто это осмелился стать перед ним? Он разобьет его газыри, как эти ребра, — вот так... вот так... — и последние два ребра сравнялись с остальными. — Нет у Каракаея булатного меча, которым можно заточить конский волос, но остра его пуля, послушна ему винтовка...

Выпустив все пять пуль, Каракай остался в той же позе — красивой, уверенной. Стоял, закусив губу, черные густые брови сошлись на переносице...

Каспот взглянул на сына, всмотрелся в его лицо — и слова похвалы, готовые вырваться у него, замерли на устах. Он молча взял винтовку из рук Каракаея и передал ее Шамилю.

К тому времени, когда они вернулись на кош, солнце уже почти перевалило за горы. В этот вечер оно казалось обогранным кровью. Кровь, словно из открытой раны, сочилась из него капля за каплей. Тучи вокруг солнца, снега на вершинах гор — все постепенно пропитывалось красным соком. Вот огонь зари охватил полнеба, опустился на макушки деревьев, лизнул красным языком поляну... Азретали казалось: все занялось кровавым огнем:

¹ Герой пародных песен, прославившийся как меткий стрелок, грозный конокрадов.

цветы и травы на поляне, грива и круп белой кобылицы, и крылья диких голубей, спешащих в свои гнезда, и не законченная отцом люлька, стоящая у порога коша. И деревянные чаши в руках Каспота и его сыновей, казалось, были наполнены не густым айраном, а кровью; и кукурузные лепешки алели, будто их замесили на крови...

— О всевышний, какой странный закат нынче!.. — воскликнул Каспот, глядя на западную часть небосклона. Вслед за ним обернулись туда сыновья, — и сразу же их лица и руки стали алыми.

Только у Каракая не изменился цвет лица, — он не обратил свой взор туда, куда смотрели его отец и братья.

14

Наутро Азретали проснулся оттого, что на лицо ему упал солнечный луч.

Каспот встает с первыми петухами: он всегда сопровождает отару на выпасы. Азретали знает, что нехорошо залеживаться в постели. Но даже когда отец с братьями уходят, он продолжает нежиться на подстилке из сена: ему нравится ласковое прикосновение первых утренних лучей, — словно котенок трогает его своей теплой, мягкой ланкой. В коше одно-единственное окно, через него и проникает солнце, не достигающее в углы, где устроили себе почлег братья. Азретали солнца не боится. Он берет лежащий рядом с подстилкой кусочек стекла — откуда тут взяться зеркалу — и начинает гонять солнечного зайчика. Светлый квадратик перебегает со стены на черпую бурку отца, на постель Каракая и Шамиля в противоположном углу, а за ним серым лохматым комочком прыгает котенок...

И вдруг солнечный луч оборвался, погас. Азретали глянул в окно и увидел лошадиное брюхо и ноги, свисающее стремя, а в стремени — погу всадника в сапоге. Вот эта нога зашевелилась, повернулась кованым каблуком — и тотчас широкая спина приезжего загородила окно. В коше стало еще темнее. Потом открылась дверь, и вопли трое мужчин. Одного из них Азретали узнал: это был Мусабий. Двое других были ему знакомы.

Азретали вскочил на ноги и стоял в растерянности, не зная, что делать. Мусабий подошел к нему.

— Гляди-ка, сам с кукурузный початок, а уже белье надевает, — хмыкнул он. — Будто сын эфенди, не может нагишом спать. — И вдруг закричал: — Ну, где твой отец прячет оружие?!

Азретали молчал: он не знал. А если б даже знал, не сказал бы. Пусть спросит у отца...

Мусабий толкнул Азретали с постели, пшиком сапога отшвырнул подвернувшегося котенка, поднял подстилку. Потом сорвал со стены бурку Каспота, перевернул постели Каракая и Шамиля. Того, что он искал, не было.

— Ну, говори! — снова кинулся он к Азретали.

— Пойдем, Мусабий, — окликнул его один из спутников. — Спроси лучше его отца...

— Жаль! — воскликнул Мусабий, и они выпли.

Азретали выскочил следом за ними.

Поляна была залита солнцем. И все вокруг казалось таким же, как всегда. Но вдруг Азретали увидел: через всю поляну среди высокой, отяжелевшей от росы травы протянулись три глубоких темных следа. Помятая трава, смятые цветы... Как же так? Азретали не мог поверить. Вместе с отцом и братьями он оберегал поляну от скотины, никто из них не позволял себе ступить на ее зеленый ковер, ходили только по тропинке. Отец говорил: эта поляна — уголок родной земли, топтать ее траву — все равно, что топтать косы матери... Азретали стало обидно до слез. Он стоял, смотрел на темные следы, на подмятые, вдавленные в землю цветы, на белую кобылицу, что паслась невдалеке и теперь настороженно подпяла голову, косясь на незнакомцев.

А к ним уже спешили Каспот с Каракаем; проводив Шамиля с отарой, они в этот раз задержались на коше.

— Что же вы делаете? — заговорил Каспот, приближаясь. — Или вы не люди, не горцы, чтобы так испортить сенокос? Не могли пройти, как все? Эта тропа протоптана не менее достойными! — Каспот указал на тропу, ведущую к кошу.

— Можешь больше не беспокоиться о своем сенокосе, — сказал Мусабий сквозь зубы. — Пусть врагу моему будет столько пользы, сколько принесет тебе эта поляна зимой!

— Знаю, ты готов съесть все, что не на твоём дворе. Пропадай все пропадом, что не твое! — отвечал Каспот.

— Посмотрим, что пропадет, а что найдется, — со значением сказал Мусабий.

— Нам надо торопиться, — подал голос один из приехавших с Мусабием.

— Ну, что ж, — Мусабий самодовольно ухмыльнулся, отчего его круглое, как чурек, лицо расплылось еще шире. — Не захотел тогда по-хорошему сделать, о чем тебя добрые люди просили, — сделаешь теперь нехотя. И чести тебе будет, как бездомному псу. Веди сюда свою кобылу!

— Ах, вот что, — Каспот побледнел, ни кровинки не осталось в его лице. — Нет уж, иди сам, не развалишься! А я посмотрю...

Мусабий пасупил брови, на скулах обозначились желваки.

— Ладно. Пусть будет по-твоему. Да пойдет мне мой труд на счастье, а тебе — на горе! — Мусабий сорвал со своей лошади уздечку и шагнул к белой кобылице.

Каспот знал Мусабия с детства: выросли в одном ауле, вместе когда-то бегали за телятами, устраивали скачки на осликах... Правда, чем старше они становились, тем реже сходились их тропки. Невелик горный аул, все там знают каждого, и даже собаки, встречаясь, дружелюбно помахивают друг другу хвостами. Но хотя Каспот и Мусабий жили почти по соседству, так что даже смешивались дымы, поднимавшиеся по утрам над крышами домов их родителей, — жизнь постепенно разводила их. Отец Мусабия был мельником, считался в ауле человеком обеспеченным и почтенным. А родители Каспота были бедны...

Опять сошлись их пути, когда в горы пришла новая жизнь. Отец Мусабия куда-то исчез в самом начале гражданской войны. От мельницы Мусабий отказался сам, всем говорил, что не хочет быть таким, как отец. Вместе с Каспотом и другими односельчанами пошел в отряд красных конников. Каспоту он казался неплохим парнем, хотя товарищи не раз говорили ему, что Мусабий трусоват, и вообще он случайный человек в отряде. Каспот не верил: может быть, воспоминания детства мешали ему тогда разглядеть в Мусабие то, что видели другие?..

Вот только наездником Мусабий был плохим. Однажды, когда в Холамеком ущелье они преследовали банду, у Мусабия каким-то образом съехало седло, он запутался ногой в стремя и повис вниз головой. Лошадь его испугалась и понесла, как необъезженная, не разбирая тропы. Если бы даже она не сорвалась в пропасть, Мусабий неминуемо бы погиб под ее копытами, или ударился бы о скалу. Но Каспот настиг его, ударом сабли обрубил стремя и успел подхватить Мусабия...

И стрелок из Мусабия был неважный; Каспот сам обучал его держать винтовку... Только провоевал Мусабий недолго: вскоре был ранен, вернулся домой и в отряде больше не появился. Может быть, не успел — война кончилась? Но никто толком не знал, в каком бою он получил свою рану...

В последнее время они встречались редко: Мусабий служил в районе и в ауле появлялся лишь наездами. Каспот радовался за него: как-никак соседями были, воевали вместе, а теперь вот Мусабий — большой человек...

Он, правда, не заходил к ним, когда приезжал в аул, — Мусабий вообще ни с кем из односельчан дружбы не вел. Но, встречаясь с Каспотом на улице, был неизменно приветлив и обязательно перекидывался парой слов.

Впервые он пришел в дом Каспота за белой кобылицей...

...Обо всем этом Каспот вспоминал, глядя вслед Мусабия, шагавшему с уздечкой в руках к этой самой кобылице.

Нет, думал Каспот, не таков Мусабий, каким казался ему. Что же заставило его изменить свое лицо, отречься от памяти, бросить и совесть, и честь под каблуки саног? Какая это сила так меняет человека? Или обязательно преуспевший в чем-то поворачивается к ближнему спиной? Или жизнь так уж заведена, что обрывает связь между днем сегодняшним и вчерашним? Да будь ты пеладен! Ведь настоящее для человека — как правая его рука, а прошлое — как левая. Порвавший с прошлым подобен безрукому. Нет, жизнь человеческая — что цепь, свисающая над очагом: разъедини хотя бы одно кольцо — и нет цепи, казан не повесишь... Видно, Мусабий всегда был таким, каков сегодня. Правду говорили о нем товари-

щи в отряде. А он, Каспот, был слеп, слишком добр был к нему. Плохо, когда доброта слепа: не обращается ли она тогда во зло?..

Кобылица заметила направлявшегося к ней человека и узрала его: он не раз встречался на ее пути, когда она спускалась с коша в аул. Подходил, разговаривал с хозяином, гладил ее живот и шею шершавой, холодной, как узда, рукой... Зачем он сейчас шагает в ее сторону?

Кобылица постояла еще немного, посмотрела на идущего к ней, а потом медленно, степенно начала удаляться. Человек торопливо засеменил следом, зазвенела в его руках уздечка... Теперь белая кобылица поняла его намерения и разгневалась: он хочет взнуздать ее! Зачем? Ему ли ездить на ней, когда во дворе коша стоят и хозяин, и ласковый мальчик, которому она позволяла делать с собой все, что ему вздумается, даже держаться за гриву... Как быть? Может, подпустить и лягнуть его? Нет, пельзя: она помнит, как однажды обругал ее хозяин, когда она хотела лягнуть какого-то незнакомого мужчину...

А этот подходит, подходит, протягивает руку к ее гриве, смотрит умиленно... Ишь, чего захотел, коротконогий! И на мужчину-то не похож,—будто старый сундук, выброшенный Эккэй во двор. А добрая лошадь только настоящему мужчине позволит себя поймать! Кобылица пошла быстрее, потом остановилась — и снова услышала за спиной шаги и прерывистое дыхание. Не слишком ли близко подпустила?.. Она отбежала опять.

Коротконогий закричал, появились его друзья, окружили кобылицу с трех сторон. Очень просто вырваться от них. Но надо ли вырваться? Почему молчит хозяин?

Кобылица держалась, не подпуская к себе, поворачиваясь задом к тому, кто пытался схватить ее за гриву. Но прилично ли поворачиваться задом к кому бы то ни было? Ведь она кобылица смиренная, добрая, совестливая... Она скромна, как невеста, и грива ее похожа на шаль балкарской невесты... Ускакать бы отсюда подальше, скрыться в лесу,—там никто ее не поймают. Но как же удалиться ей от своего хозяина, как оставить эту добрую поляну с такой сочной, вкусной травой и нежными цветами? И зачем удалиться, бежать? Ведь здесь — хозяин. Кто

посмеет насильно навязать ей свою волю, когда он рядом?..

Встав на дыбы, кобылица громко заржала, повернулась и поскакала к кошу. Она подошла к хозяину, мягкими теплыми губами пощекотала его мозолистую ладонь. Он погладил ее шею, гриву. Но почему же он молчит, не двигается с места, не оседлает ее? Она убежала бы вместе с ним, переплыла бурные реки, взлетела бы на горы...

Но хозяин не оседлал и не вскочил на пс, как бывало. И мальчик не подошел к ней, не ухватился за гриву, не повис на шее... Она подошла к мальчику сама — но он прогнал ее, хлестнув гибким прутиком. Никогда не делал он такого! Кобылица помчалась прочь.

— Ах, щенок! — взревел Мусабий. — Что наделал! Зачем прогнал лошадь, пришедшую к узде?!

Трое опять пустились за кобылицей. Она уже поняла, что должна либо бежать отсюда далеко-далеко, либо добровольно подойти к узде. Но узда звенит не в руках хозяина... Добрые, теплые руки — пусть они вынуждают ее, пусть гладят, расчесывают гриву... Как гордо ступала она по горным дорогам и улицам аула, псая своего хозяина. Он тяжелый, крушый, но с ним она скакала, обгоняя ветер!.. Кто же теперь хочет стать ее хозяином? Неужели этот коротконогий? Пусть лучше ее съедят волки! Вот он опять приближается, смотрит, будто волк. Волки, волки догоняют ее, — бежать отсюда!

Белой птицей метнулась она, полетела галопом, волною вздыбилась грива, засвистел, отставая, ветер. Узка тропинка — всего в два копыта, колючие кустарники обдирают грудь и бока, но не хочет, не может кобылица топтать долину, — скачет по узкой старой тропе, ничего не видя перед собою...

К Каспоту подошел Каракай:

— Отец, пропадет кобылица, загонят. Самим ее поймать, что ли...

— Своими руками? Не быть этому! — ответил Каспот.

...Ветви деревьев бьют по голове, темнеет ясный день, соленый пот заливает глаза... Остановиться бы. Но хозяин не зовет, не дает знака. Ни разу не позволила она поймать себя Каракаю. А сейчас с радостью подошла бы к узде, только пригласи ее Каракай. Возила бы его куда угодно, днем и ночью...

Обогнув поляну, кобылица снова направила свой бег к кошу, но навстречу ей вырвались три всадника. Длинные, как дула винтовок, уруки¹ нацелились на нее... Кобылица знает, что это такое. Она помнит, как давно, когда она была совсем молодой и не знала еще седла, гонялись за ней всадники с такими же уруками, как ржали-плакали над желтыми обрывами ее загнаные подружки... Она вывернулась тогда, ускакала на широкое пастбище.

Широко было пастбище, но узка трона... Жесткая петля аркана задела ей лоб, уши, скользнула по шее. Мимо! Снова извивающаяся змея ушла на спину — и опять соскользнула. Но третьей — не миновать...

И кобылица бросилась на поляну. Ударила оземь всеми четырьмя копытами — взметнулись в небо комья, черными воронами пали вниз, полетели из-под копыт травы-стрелы, пригибаясь и свистя под нею... Никогда раньше не топтала она поляну — а теперь взлетают вверх едва раскрывшиеся бутоны, отскакивают головки цветов, окрашивают копыта в алый цвет. Люди, что вы заставили ее сделать!..

А следом за нею мчались, кружили по поляне, топтали и ранили ее еще три лошади...

И снова прибежала кобылица к кошу, где стояли те, кого она знала и любила. Заржала-зарыдала, обратив взор к хозяину. «О всевышний, никогда она так не ржала. Будто старая горячка зовет о помощи!» — Каспот рванулся вперед, но кобылица уже проскакала...

...Она скакала радостно, будто на ней сидели сразу и хозяин, и мальчик; скакала, будто не страх и отвращение гнали ее, а подгонял Каспот, везущий в свой дом невесту; скакала так, будто старая мать Каспота любовалась легким ее движением... Ей казалось: она летит быстрее орлицы, не задевая копытами ни траву, ни цветы, вот-вот взмоет над деревьями, пересвалит горы, подобно легкому облачку...

На самом деле она еле бежала: силы ее иссякли.

Крепкая шелковая петля сдавила шею, аркан натянулся, и кобылица рухнула на передние ноги. Снова перед нею оказался тот пизенький, толстобрюхий, похожий на черный чугунный кумган... Закачались, поплыли в тумане

¹ Урук — палка, к которой прикрепляется аркан.

поляна и лес, люди, стоящие вокруг нее, небо соединилось с землей, все завертелось, завертелось колесом, слилось в мерцающий круг — и погасло.

Мусабий подошел к Каспоту, недвижно стоявшему возле коша. Его спутники оставались на поляне, держа под уздцы белую кобылицу.

— Видишь, она не ушла от нас, — показал туда Мусабий. — Не уйдет и другое! Признавайся, где спрятал оружие?

— Не говори — оружие, говори: винтовка Аскера. Ты же знаешь, — ответил Каспот, сохраняя спокойствие.

— Я знаю другое: закон запрещает хранить оружие. Кто не подчиняется закону — тот враг!

— Я не враг, и это тебе тоже известно.

— Но закон знает лишь тех, кто его придерживается, и тех, кто его нарушает.

— И это говоришь мне ты, творивший беззаконие! — воскликнул Каспот, бледнея. — Закон — как ветвистое зеленое дерево, которое укрывает меня от дождя и зноя. Он бы понял меня и простил. А ты хочешь превратить его в палку! В законе — правда и справедливость, а ты наполняешь его злом. Аллах свидетель, кто из нас нарушает закон!

— Ладно, в этом без тебя разберутся, — оборвал его Мусабий. — Отвечай мне, правда ли, что хранишь винтовку брата? Правда ли, что стреляешь из нее вместе со своими сыновьями?

— На кош, где не стреляют, могут напасть волки...

— Ты — горец, как можешь нарушать тишину выстрелами?

— Мои выстрелы сохраняют тишину!

— Твоя ли это забота? Ты — пастух. Нет, чтобы знать свою отару и жить спокойно.

— Ты хочешь сказать, — перебил Каспот, — что мое дело — ходить за отарой, влача ярлыгу, и ничего больше? Ошибаешься! У беспечных пастухов овцы погибают в волчьей пасти...

— Отдай винтовку! — требовал Мусабий.

— Но где она?.. — усмехнулся Каспот.

— Ах вот как ты заговорил! — взвился Мусабий...

— Мусабий, нам пора, — позвал его один из подошедших спутников.

— Но ведь... — заикнулся было Мусабий.

— Мы же не нашли... А то, что было велено, сделали. Довольно. Идем! — приказал подошедший.

Мусабий медленно, неохотно последовал за ним.

Каспот стоял, глядя вслед уводившим белую кобылицу.

Нет, белое не станет черным, думал он. Зло одержало верх над справедливостью. Но оно — от Мусабия. Слава аллаху, не от закона, не от родной земли. А у такого зла дорога коротка — короче наступьего посоха. Но кобылица, моя белая кобылица!.. Каспот застонал...

Долго еще он стоял неподвижно. Наконец очнулся, взглянул на Каракаю.

— Идем, нам пора к отаре.

Азретали, сидя на теплом сером камне, провожал взором отца и брата, пока они не скрылись совсем. И лишь тогда он посмотрел на поляну.

Смятая, полегшая трава, сломанные цветы, черные зияющие раны... Все перемешано, затоптано... Оживет ли теперь когда-нибудь поляна? Поднимутся ли ее травы, зацветут ли цветы?..

Не знает Азретали, сколько повидала поляна за долгие свои века, как много испытала, чему была свидетельницей. Топтали ее и волк, и лань, ласкало солнце и поливал дождь — она зеленела, но ударяла молния — и трава ее обращалась в черную золу. Все было, все. И все проходило...

Но Азретали не знал этого. Мальчик, впервые познавший настоящее горе, думал, что и поляна сегодня познала его впервые. Ему казалось, он слышит вздохи и стоны поляны.

— Ты плачешь? — спросил он.

И вдруг Азретали услышал прустную мелодию, какую никогда прежде не слышал. «Кто это играет на зурне?» — подумал он, оглядываясь кругом, но никого не увидел. Мелодия сперва звучала вдалеке, потом приблизилась, приблизилась к камню, заплакала, подобно орлице, потерявшей

орлят; потом поднялась, закружила над поляной и лесом; опять вернулась к земле, заметалась в траве, словно куропатка с перешибленным крылом; грустная, точно ласточка, у которой разорили гнездо, и черная, как ее крыло, села на трубу дымохода; снова вернулась, прижалась к серому теплому камню, на котором сидел Азретали.

«Что это? Кто ты? Ты — раненый журавль? Или плач поляны?»

«Нет, мальчуган, это не я плачу. Это печаль, впервые тебя посетившая. Но ты крепись!»

Азретали узнал этот голос! Он уже слышал его однажды, когда впервые ехал с отцом на поляну...

«Тебя затоптали, поранили — ты не обижаешься на меня, на отца? Не сохранили тебя...»

«Земле не дано обижаться — она лишь чернеет... Меня растоптали... Но на вас обиды нет: вы не знали тех, кто приходил сюда, оттого позволили им ступить на меня. Ободришь же! Я почерпела, но не сгорела, не стала золой. Знаю: время исцелит мои раны, и трава поднимется снова, и цветы зацветут опять... Нет, я не плачу. Не горюй же и ты! Многое я повидала, а ты только сегодня вышел на тернистый путь. Это путь жизни — крепись!»

Так говорила с ним голосом поляны родная земля.

И не ведали ни она, ни мальчик, какое испытание ждет их совсем близко: за горами уже притаилась война.

15

Солнце уже в зените, по Азретали, хотя его разбудили рано, все еще во дворе. Он охраняет от птиц кукурузу, которую мать сушит на расстеленной под открытым небом кошме. Азретали не привык сидеть вот так в бездействии, в иное время он наверняка рвался бы к друзьям, поиграть в альчики. Но сейчас его никуда не тянет. То время ушло без возврата, сейчас не до игр.

А кругом все будто как прежде. Осеннее небо высокое и чистое. Дымы над крышами столбами поднимаются далеко вверх и там расходятся, застилая небо ровной зеленоватой пеленой, дрожащим маревом. Густой лес, сбегавший по крутым горным склонам, остановился у

самых огородов с не убранной еще кукурузой и картошкой. А пора бы и убрать огороды... Листья на деревьях горят, переливаются осенними цветами: там — язычки пламени, там — спелый абрикос... И тихо, и красиво, но как-то по-особенному грустно все вокруг.

Осенняя ли это грусть?..

Дверь кухни открыта, оттуда доносится вкусный запах кукурузных лепешек. Сейчас мать вынесет теплую лепешку с кусочком домашнего сыра. Но Азретали не думает об этом лакомстве, как думал бы раньше...

Во дворе, склонив лохматую голову на вытянутые лапы, лежит их пес, не отрываясь смотрит на мальчика предашными и грустными глазами. Может, он голоден. А может быть, тоскует по хозяину?..

Грустен пес. Грустны огороды, дома. И идущие по улицам аула женщины и старики. Грустна и дорога, по которой Каспот обычно возвращался с коша домой: кажется, она теперь всеми забыта. Собаки в ауле и те не лают, лишь принимаются порою выть...

Война пришла.

Одним воробьям ничего не ведомо, чирикают, как всегда, а сегодня даже еще веселее: во дворе сушится кукуруза, и они, то и дело срываясь с карпизов, с каменных кладей, поспешно хватают каждый по золотому зерну и улетают прочь, чтобы тут же вернуться снова. Но напрасно они спешат, стерегутся: Азретали не замечает их.

Он смотрит на себя и думает, что рубаха и штаны ему давно уже коротки. Раньше он ни за что не стал бы ходить в таких, да и мать давно бы сшила новые. Но теперь не до того... Одна только радость: вот уже несколько дней он носит краснозвездный шлем отца. Вначале Экжэй не разрешала: она верила в приметы, не позволяла никому из сыновей надевать одежду другого, особенно если тот был не дома, не в ауле. Но потом вынула шлем Каспота из старого сундука и дала сыну: «Носи, такое время пришло». Мальчишки табуном бегали за Азретали, упрашивали хоть на миг позволить им надеть шапку батыра; красивые девушки, встречая его на улицах, улыбались и говорили: «Ты будешь таким, как отец»; а Мусабий, увидев однажды, погнался за ним с криком: «Отродье шайтана! Чтоб эта шапка вместе с твоей головой свалилась!» — но не догнал, конечно.

Теперь, кажется, шлем никого уже не занимает. Даже мальчишки перестали глазеть на него. К тому же их с каждым днем становится все меньше и меньше: жители аула, навьючив ослика или лошадь самым необходимым, уходят куда-то в горы. Вначале уходили лишь семьи и родственники партизан. Но когда прошел слух, что не сегодня завтра немцы займут Нальчик, стали уходить все, кто мог. Шумный, говорливый аул опустел, умолк, объятый непривычной тишиной.

Но появились и новые люди. Лучше бы они не появлялись!.. Эккяй сказала, что они из «бывших», когда-то жили здесь... Мусабий всюду семенит за ними по пятам, таскается, как хвост за псом, всячески стараясь им угодить. Каждый день забивает для них барашка. Эккяй говорит: что ему жалеть, не отцовское достояние растаскивает, а колхозное добро. Разве он горец, негодовала Эккяй. Сколько ему сделала добра Советская власть, в люди вывела. Но, видно, сколько ни гладь крапиву — травой не станет. Мусабий — из тех птиц, что садятся на поле, которое лучше наливаются...

Азретали кажется, что мать стала заметно ниже ростом, словно тает с каждым днем. С тех пор как в аул пришли эти двое бывших, Эккяй выглядит еще больше озабоченной и суровой. Раньше, когда она делала бурки, то ни от кого не скрывала их. Теперь же не хочет, чтобы об этом знал даже Азретали. Однажды он увидел под кроватью несколько бурок и удивился: для кого они? «Смотри, никому не проговорись», — наказала мать. На следующее утро бурки исчезли...

Несколько дней назад Азретали случайно подслушал разговор матери с незнакомым мужчиной. Этот мужчина всегда приходил поздно вечером, когда Азретали и Хамитбий давно уже были в постелях. Переступая порог, он обычно спрашивал: «Дети спят?» Кто он? Азретали даже ни разу не видел его лица. Но именно после его посещения и исчезали бурки и башлыки. Может быть, он из тех, которых называют «партизапы»?.. Азретали понимал, что поздний гость не хочет, чтобы они с братом видели его, и потому честно старался не подсматривать из-под одеяла. Но виноват ли он, что уши улавливают то, что им не следовало бы слышать?..

— Правда ли, что немцы захватили Нальчик? — спросила тогда Эккяй незнакомца.

— Пока еще нет, но дела не радуют, — отвечал тот.

— Как тебя понимать?

— Сестра моя, не хочу быть худым пророком, но подумай сама: они уже захватили Шхалуку и Япикой. Пуля, выпущенная в Шхалуке, долетает до города, не успев остыть...

...Вот какие дела. Настоящие мужчины, джигиты, днем и ночью бьются с врагом, защищают родную землю, а он, Азретали, валяется здесь на кошме, охраняет кукурузу от кур и воробьев. А еще носит шапку, да какую — отцовский плем!..

Как все изменилось! Куда все исчезло?.. Где его сказочные сны, его мечты, — кто разогнал, спугнул их, как птиц? Или их унесла с собой белая кобылица? Нет теперь ни белой кобылицы, ни лашей, не будет и жеребенка... Даже зеленая поляна перестала спиться ему, — может быть, после того, как ее растоптали?

Война пришла...

Мельницы на окраине аула, куда так любил ездить Азретали с матерью, уже нет: разбомбил немецкий самолет. Нет и белой школы — торчат лишь обугленные стены и трубы. Раньше, когда он смотрел в небо, то видел там парящего орла, пролетающих журавлей, роявших свое «курлы-курлы». А теперь нет в небе серокрылых журавлей — там кружат вражеские «рамы», пролетают бомбардировщики, угрожая аулу, горам, лесу, поляне — родной его земле.

Азретали поднимает лицо к небу, и на глазах его выступают невольные слезы.

16

Может быть, им тоже лучше было бы уйти в горы? — думала Эккяй. Но как оставишь дом? Как уйдешь, если неизвестно, где Каспот со старшими сыновьями. Они где-то в горах с колхозной отарой. По аулу прошел слух, будто угнали отару за перевал, к партизанам. Эккяй очень хотела бы верить этому. Что скажут люди, если ее муж и сыновья не сумеют спасти от врага доверенное им добро?.. «Сохрани, аллах, моих детей от позора», — не раз шептала про себя Эккяй.

Горькие вести отравленными стрелами ранили ее сердце, гадюкой обвивались вокруг горла. Но она отрывала их от себя и затаптывала. Не могла поверить Эккяй, что Советской власти пришел конец. Разве земля, на которой живут такие сыны, как ее, и отец ее детей Каспот, может покориться чужестранцам? И разве мало таких мужчин у всей советской земли? Эккяй не могла представить, что незваные пришельцы из далекой страны подступят сюда, к ее порогу и очагу, сломят мужество ее сыновей, заставят их снять шапки,—нет, не бывать этому! Если даже не окажется в руках сыновей оружия,—разве не достанет у них силы, разобрав каменные кладки, обрушить на головы врагов камни с высот? И Эккяй не жалела, что дети ее в такое время далеко от аула. Если бы они даже вернулись сейчас, она не позволила бы им отсиживаться дома. Пусть будут где угодно, пусть голодают, мерзнут, терпят любые лишения — лишь бы причинили урон врагу. А если обратятся перед ним в бегство или покорятся ему — пусть лучше заживо уйдут под седьмой слой земли!..

Мать-горянка, почти вся семья которой была подхвачена ветром войны, старалась уловить ее ход. Она словно прислушивалась и к дальнему гулу, и к каждому вздоху земли за ее порогом. Ходила по аулу, искала встреч со знающими, надежными людьми, расспрашивала их. Но, услышав печальную весть, она старалась внушить себе, что это неправда. А когда до нее доходили вести обнадеживающие — ей хотелось услышать еще более радостные. Но и обманываться она не желала: не знающий хода событий подобен входящему в бурный поток, не ведая брода...

Эккяй, как и все жители аула, знала, что фашисты водрузили на вершине Эльбруса свой флаг,— и эта весть запозой засела в ее душе. Знала она и то, что идут жестокие бои за перевалы Бечо и Донгуз-Орун: враги хотят овладеть ими, чтобы затем грязным потоком пролиться сюда, в ущелье. Кто кого одолевает, как сражаются защитники перевалов — этого Эккяй не знала. Слышала, правда, что в боях у подножья Эльбруса уложили тьму фашистов. «Если это так,—думала Эккяй,—может быть, им всем скоро будет конец?» Ей не сиделось дома, она выходила за аул, на дорогу, подолгу стояла там, словно ожидая своих старших и Каспота. Иногда она

потихоньку следовала за мужчинами, которые растекались по горным тропам, собираясь в отряды для защиты перевалов. Но далеко ли она могла уйти? Поднявшись на какую-нибудь возвышенность, Эккяй стояла там, всматриваясь в сторону перевала Бечо, вслушиваясь в близкие уже орудийные гулы. Порой ей казалось, что там то воеет стая голодных волков, то рыдают женщины... «Пусть так оплакивают врагов их матери, пусть вечно стоят на дорогах, высматривая сыновей»,— шептала она, стоя на холодном горном ветру. Потом, печальная, возвращалась домой. Но дома ей не сиделось. Забывая про отдых и сон, про тепло очага, она думала о тепле для других. День и ночь вместе с соседками Эккяй катала бурки и ткала башлыки. Тем, кто защищает перевалы, партизанам, отслеживающим врага, бурки и башлыки так же необходимы, как снаряды и винтовки,— верила она. Ей казалось: бурки и башлыки, сохранившие тепло жепских рук, подобно кольчугам, защитят бойцов от пуль. И еще верила она: мужчины, ощутив это тепло, прикоснутся через него и к теплу родной земли—и тогда не смогут, не посмеют пропустить врага сюда, в аул, где живут их матери, жены и невесты...

Каждый день мимо дома, где жила Эккяй, уходили вверх, к перевалам, молодые, сильные, ловкие, как ястребы, парни. Эккяй хотелось бы шить теплую одежду для каждого из них, каждому сказать доброе, ласковое слово. На любого мужчину, держащего в руках винтовку, она смотрела теперь как на самого родного, близкого ей человека. Смотрела с надеждой и верой. Если каждый, кто способен держать оружие, сделает то, что велит ему долг,— Советская власть никогда не уйдет из ее аула...

Но многие поднимались к белоснежным вершинам и возвращались назад. Возвращались на послках, педвижимые, завернутые в черные бурки, с запятнавшими кровью башлыками... Эккяй всматривалась в лица убитых, раненых. Она знала многих мужчин Баксапского ущелья. Но если даже и не знала—балкарцы, кабардицы, русские, осетины—какая разница? Каждый убитый—это смерть в ее доме, каждая их рана—ее рана. У руки нет чужих и своих пальцев: прищепи хотя бы мизинец—боль одна, общая.

Азретали возвращался домой, подгоняя ослицу с осленком, которые паслись за аулом. Еще издали он увидел во дворе высокого мужчину. «Отец пришел!» — возликовал Азретали и пустился бегом. Но у ворот остановился в растерянности: во дворе стоял не отец, а какой-то совсем незнакомый человек. Он смотрел на Азретали, добродушно улыбаясь.

— Что же ты стоишь? Забыл своего старшего брата? Это же КанаMAT! Ну, обними его, — счастливым голосом подсказала ему мать.

Но Азретали, шагнув через жердь, перегораживавшую ворота, стеснительно и робко подал гостю руку.

— Ишь, бесенок, как вымахал! — воскликнул КанаMAT, подкинул братишку вверх, прижал его к груди.

Опуцанный наконец на землю Азретали взглянул на брата, и у него заколотилось сердце. КанаMAT был вылитый Каспот, все в нем напоминало отца: лоб, глаза, брови... Заметил Азретали и другое: КанаMAT, прихрамывая на левую ногу, подошел к матери, взял из ее рук трость и оперся на нее... Но хромота, казалось Азретали, только украшала старшего брата, делала его еще мужественней. Только почему его одежда не похожа на одежду командира? Одна лишь фуражка с горящей звездой. И где же его оружие?..

Радость мальчика омрачилась. Но, войдя в комнату, он сразу же увидел у дверей винтовку со штыком и опять почувствовал себя счастливым: КанаMAT боец! Пусть сунутся сюда враги — он им покажет! Теперь им с матерью и братишкой ничего не страшно. А когда старший вошел следом за ним в комнату и снял с себя телогрейку, — глаза Азретали загорелись, от восторга перехватило дыхание. На КанаMате была гимнастерка с двумя кубиками в петлицах, на груди горела большая красная звезда с серебряным кругом посередине, блестели медали. Его брат — командир и герой! Нет, об этом нельзя молчать, пусть знают все — все соседи, родственники, весь аул! Он известит их, и каждый вознаградит его за добрую весть. И Азретали выскочил на улицу.

Радовалась и Эккйй. Она знала, что ее старший стал командиром, и гордилась этим. Слава аллаху, он и в эти черные дни остался мужчиной, не выпустил из рук винтовку. Целых четыре года не видела она Канамата и теперь не могла налюбоваться им. «Ты тосковала по нему, жаждала увидеть? Смотри — вот он сидит перед тобой. Вернулся, когда ты меньше всего ожидала!» Мать сидела у очага, не отрывая ласкового взгляда от сына. Как возмужал он за эти четыре года, как сильно стал похож на Каспота!

Но к ее радости примешивалась и тревога. Какая мать будет безоглядно радоваться возвращению сына, зная, что родная земля стонет под сапогом врага? Можно ли спокойно спать в мягкой постели, бесечно наслаждаться теплом очага, если враг уже заглядывает в дымоход? Почему он вернулся сюда? Или руки его уже не могут держать оружие? Или слабость закралась в его душу? Что будет, если, не приведи аллах, завтра в аул придет пемец? Что тогда станет делать ее сын? Зачем ожидать смерть от вражеской пули у собственного порога? Есть места, более достойные мужчины! И что, если он, чтобы сохранить свою жизнь, решится прислуживать врагу?! Пусть в тот день прервется его дыхание! Судьба моя, — молила Эккйй, — ты вольна делать со мной что угодно, но не лиши моего сына мужества, не оторви его от людей! Пусть я буду бродить по родной земле, вытирая косами пыль с ее дорог, с чабуров ее защитников — только вразуми моего сына! Он должен уходить, уходить... Но куда же и как он пойдет — раненый, еле волоча ногу? «Сын мой, что же делать?» — вопрошали карие печальные материнские глаза. Будь здесь его отец — другое дело. Он бы решил судьбу сына, не дал бы ему сбиться с пути. А что может сделать она, слабая женщина?..

Но напрасно волновалась Эккйй — КанаMAT и не думал оставаться дома. Просто он не решался сразу сказать матери о скорой разлуке.

Гвардии лейтенант КанаMAT, тяжело раненный в боях под городом Прохладным, лежал в госпитале. Подлечившись, он снова вступил в строй. И вот в оборонительных боях за Нальчик был ранен второй раз... Отходившие в горы захватили его с собой, но трудно было в горах с ранеными, и Канамата отправили долечиваться в родной аул — иного выхода не оставалось. Вместе с ним вошла в

аул недобрая весть о падении Нальчика... Вот почему и Канамат не мог по-настоящему радоваться встрече с родными. Надо немедленно уходить к партизанам: не сегодня завтра сюда войдут гитлеровцы. Но как оставить мать и двух беспомощных братишек на растерзание волкам? Канамат не знал, что предпринять. Хоть бы вернулись отец с братьями!..

Каспот стоял на дороге, спускавшейся с гор, и смотрел сверху на аул. Вечернее солнце обаграло закатным огнем вершины гор и небосвод над ними. Лес вокруг него — справа, слева, за спиной — шумел, как огромное войско, оцетинившееся копытами. И сам Каспот стоял перед ним, словно полководец. Этот бескрайний лес, и молчаливые скалы, стоящие подобно сторожевым крепостям, и вся эта земля, теплая, добрая кормилица-земля, взрастившая его сыновей, — все это его несокрушимая кольчуга. Она защитит его даже от огня, если сама будет защищена им...

Отсюда Каспот мог видеть каждый двор родного аула, каждый камень у порогов, возле которых неподвижно лежали свернувшиеся клубком псы. Со всех концов аула к центральной улице сбегаются горные тропы. Еще недавно на них не прекращалось движение, как не прекращается течение крови в жилах. По тропкам-жилочкам сходились в сердце аула на гулянье девушки и парни. Эти тропы вводили мужчин в горы, в звездные выси. Но вели оттуда земные дары: овечий сыр, масло, дрова, сено — щедрые дары родной земли.

Теперь тропы опустели, не видно на них ни косарей, ни девушек, возвращающихся вечерней порою от родников с кувшинами, полными хрустальной водой. Кровью окрасились эти тропы, дороги и камни, на которых люди, бывало, отдыхали, слушая говор неутомимой речки...

Что ж, пусть судьбе будет угодно выжать нашу кровь до последней капли — лишь бы не ступила на эти тропы вражеская нога. Пусть лучше они зарастут травой! Да, пусть из нас вытечет вся кровь — лишь бы не иссохли корни трав и деревьев на нашей земле и не лишилась

влаги она сама! Каспот знает, верит: земля сторицей оплатит за все. Нет на свете ничего благодарнее земли: прольет за нее кровь один из ее сыновей — она подарит жизнь сотням; прольет пот — она озолотит целые поля. Благодарна земля, благодарна...

Так думал Каспот, стоя над своим аулом. А вечер между тем все усерднее водил вокруг черным ласточкиным крылом; зажигались в ауле редкие, как звезды в облачном небе, огоньки; еще тише становилось на тихой дороге...

...Каспот проскользнул во двор своего дома и осторожно постучал в окошко.

«Сколько счастья свалилось за один день на мою голову! Это к добру или к худу?» — думала Эккяй, обнимая мужа. А к погам хозяина ластился, тихо поскуливая старый пес.

На следующий день Каспот с Канаматом и младшими были уже в пути: они направлялись в кош, где ожидали их остававшиеся там Каракай, Шамиль и Гитче.

Эккяй не было с ними: сколько ее ни уговаривали, ни упрашивали, она осталась дома. «Я уже старая, — говорила она, — куда мне идти. Провожу вас, а когда вернетесь — будет кому встретить. Я не дам остыть вашему очагу. А вы должны уйти все. Вы — мужчины, враги убивают мужчин. Отправляйтесь же, успокойте мою душу», — просила их Эккяй.

И теперь на дороге, вдали от нее, все они — и большие, и малые — каждый по-своему думали, тревожились о ней, жалели, что оставили мать одну. Но что поделаешь... И разве Каспот бежит, спасая собственную голову и головы сыновей, бросив ради этого на произвол судьбы Эккяй? Нет, Эккяй осталась дома, в родном ауле. Там родственники, соседи, в случае чего — не оставят в беде. А он с сыновьями не просто бежит, он знает, зачем им надо в кош... И что уготовила им судьба — еще неизвестно.

Так утешал, успокаивал себя Каспот, думая об Эккяй.

Полина, на которой стоял кош, не была уже тем прежним тихим, уютным уголком. Хотя сама война еще не пришла сюда, но тревожные ее ветры долетали не раз.

Иначе и не могло быть. Поляна лежала между двумя ущельями — Чегемским и Баксанским. Один из удобных перевалов из Чегемского ущелья выводил к поляне, а от нее через лес путь лежал в Баксанское ущелье. Фашисты упорно рвались туда, но оно осталось неприступным. Захватив в Чегемском ущелье поселок Нижний Чегем, враг решил пробыть в Баксанское ущелье через ближайший перевал. Но отдать перевал — значило отдать и Баксанское ущелье, позволить выйти в тыл защитникам многих важных стратегических пунктов... Неоднократно отбитый частями Красной Армии и партизанами враг больше не появлялся. А вскоре главные события стали развиваться на другом направлении. Защитники перевала были переброшены отсюда... Лишь изредка теперь в кош Каспота наведывались партизаны, угоняя с собой десяток-полтора овец для отряда.

Незадолго до этого Каспот с сыновьями действительно пытался переправить отару на ту сторону гор. Но было поздно: за перевалы Донгуз-Орун и Бечо уже начались ожесточенные бои. Потеряв немало голов овец, Каспот вместе с Каракаем, Шамилем и Гитче вернулись на прежнее место. С тех пор и стал кош на поляне партизанской кладовой. Правда, певелика была кладовая: в отаре, насчитывавшей перед самым началом войны тысячу шестьсот голов, осталось всего около четырехсот. Но какой бы малочисленной ни была отара — она колхозная, принадлежит народу. Здесь, на поляне, Советская власть, и долг Каспота — беречь ее добро...

Наверное, всю ночь моросило, а под утро ударил мороз: усневшая подрасти после первого укуса трава покрылась ледяной коркой. На каждой травинке затвердели дождевые капли, и сейчас они отражают холодные, не греющие солнечные лучи, — все искрится, сверкает. Резкий ветер, бегущий над поляной, заставляет обледенелую

траву звенеть, словно пересыпая стеклянные бусы. Ветер гнет и треплет верхушки молодых деревьев, свистит в оголенных ветвях. Он словно заблудился в скалах и никак не может выбраться на простор, то воет голодным волком, то скулит, мечется вверх-вниз. А вокруг застыли в угрюмом молчании поседевшие горы.

Вот уже три дня и три ночи, как пришли сюда Каспот с сыновьями. Но по-прежнему здесь стоит тишина, будто и нет нигде войны, не идут бои за балкарские ущелья, за перевалы.

Эта тишина и покой постоянно напоминают им об Эккяй, о том, что она осталась в ауле, где, наверно, уже хозяйничают немцы. «У нас тут благодать, мы в безопасности, а она, слабая, беззащитная женщина, покинута всеми. Суждено ли нам погибнуть или остаться в живых, что бы ни свалилось на плечи — все мы должны были испытать вместе», — казнил себя Каспот. Может быть, впервые в жизни он принял неверное решение, да и сейчас ни сам не мог решиться на что-то определенное, ни дать совет сыновьям.

Назад, в аул, пути не было. Уйти к партизанам? Но как быть с Азретали и Хамитбием? Да и с овцами. А оставить овец, скрыться в горных лесах — значит забыть свой долг. Еще в первый день, когда они прибыли сюда, командир партизанского отряда сказал: «Вернемся — видно будет, а пока — все под вашу ответственность». Он же распорядился выдать им оружие. С тех пор от партизан никаких вестей. Может, отряд разбит и все они погибли? — думал Каспот. Не привыкший к бездействию, он не находил себе места в коше. За эти три дня и три ночи он снимал с себя бурку и отставлял винтовку, наверно, не больше двух раз.

Накопец сегодня Каспот решил отправить в аул Шамиля: пусть проведает мать, а заодно разузнает, что там делается...

Шамиль пошел и тут же — за это время не успел бы навьючить осла — примчался назад.

— Отец! Там, в ущелье, немцы! Идут сюда! И Мусабий с ними — я узпал его! — выпалил он единым духом.

— Вот как! — Каспот почувствовал, что во рту у него вдруг стало сухо. — Значит, они уже в ауле. — И снова ему вспомнилась Эккяй... — И Мусабий ведет их сюда... —

Каспот посмотрел на Азретали, на Хамитбия, потом повернулся к старшим: — Ну, дети мои, настал и наш час. — Сказав это, он направился туда, откуда мог появиться враг. Сыновья двинулись за ним.

Одним своим краем поляпа примыкала к густому лесу, уходящему высоко в горы. Оттуда, с гор, к концу можно было выйти без труда. На противоположной стороне высились отвесные, голые скалы, поросшие редкими березками. Самым уязвимым направлением было то, где стоял сейчас Каспот с сыновьями. Незнакомому с этими местами могло показаться, что ущелье ведет прямо к долине и здесь заканчивается и что речка, которая вьется в теснине, тоже берет свое начало от поляны. Но так лишь казалось. На самом деле метрах в шестистах отсюда в ущелье было колено, и по нему также проходила дорога вверх, в горы, откуда легко можно было зайти им в тыл. Если бы не Мусабий, быть может, враги не заметили бы обходной дороги. Но Мусабий, конечно, знал здесь каждую тропу...

Каспот, стоя за скалой, всматривался вниз — пока никого не было видно. Сыновья стояли рядом. Никто из них не произносил ни слова. Только ветер все выл между скалами да трепал полы бурок. Слабые солнечные лучи все же потихоньку делали свое дело: трава постепенно освобождалась от ледяной корки, оттаивали камни, стволы и ветви деревьев, — в тишине было слышно, как падают на землю тяжелые звучные капли...

Прошло еще немного времени, и из-за поворота ущелья, словно голова гадюки, выползла голова вражеской колонны. Солдаты шли в затылок друг другу, растянувшись вдоль речки. А впереди — проводник, Мусабий.

У Каспота перехватило дыхание, побелели пальцы, сжавшие спрятанную под буркой винтовку. Враг есть враг — тут не о чем говорить. Но невыносимо было видеть предателя. Он бросил им под ноги честь своего народа и родных гор...

Между тем враги приближались.

— Ничего страшного, ребята, их не так много. Я посчитал, всего двадцать два, — бодро сказал Каспот.

— Однако и не мало, — отозвался КанаMAT.

Немцы были все ближе, холодно поблескивало оружие.

— Отец, чего мы ждем? Надо что-то делать, — подал свой голос Каракай.

За последний год Каракай заметно возмужал. Он стоял сейчас в своей черной бурке высокий, сильный, с бронзовым, обветренным лицом, и Каспот, взглянув на него, невольно залюбовался сыном. Сегодня он особенно надеялся на Каракаю, на зоркость его глаза, твердость руки...

— Сыны мои,— сказал Каспот тихо.— Если вы увидите, что в ваш дом заползает гадюка,— разве вы станете ждать моего повеления, чтобы разможить ей голову? Не спрашивайте же у меня, что нам делать. Вы знаете это сами.— С этими словами он вынул из-под бурки винтовку Аскера...

— Отец, но что мы можем сделать?! Что будет с нами! — вырвалось у Каракаю.

— Когда дети бросаются защитить свою мать, они не думают, что будет с ними,— ответил Каспот.

Потом он распорядился отвести младших в укрытие, еще раз проверить оружие и патроны.

Все молчали. Да и о чем было говорить. Сыновья знали, что им делать. Они лишь ждали отца: как только вырвется дым из ствола его винтовки — они сольют с ним дым своих выстрелов. А пока все четыре брата, согревая грудью холодные камни, смотрели на приближавшихся немцев. За исключением Канамата, никто из них еще не сталкивался с врагами в бою, не видел их в лицо. Но никто из братьев не думал сейчас, что все кончено для них на этой земле, что сегодня они в последний раз познали вкус хлеба, отпили последний глоток воды. Они верили в отца: он рядом с ними, он силен, рука его тверда...

Каспот же стоял и думал обо всех. Он думал, что больше не встретится ему с Эккяй, останется она совсем одна... Он стоял и всматривался в лица сыновей, мысленно прощаясь с ними. «В эту зиму можно было бы женить и Канамата, и Каракаю», — подумал он. Потом, забыв, что велел увести младших, поискал глазами их. Но оказалось, они пришли сюда, к старшим, и стояли теперь под деревом с широко раскрытыми глазами... Каспот посмотрел на них и быстро отвернулся. «Беспомощные ягнята... Что с вами будет? Зачем я не оставил вас с матерью?»

— Эй, глядите веселее! — крикнул он старшим.

А враги уже свернули по дороге, ведущей к поляне.

Каракай вдруг почувствовал, что его всего трясет, и ничего не мог поделать с этой дрожью... Неужели придет-

ся погибнуть вот здесь, сейчас?.. Целый год он не спускался с коша в аул, не был дома. Уже почти два месяца не мог даже сменить пательное белье. Сколько лиха хватил он, когда гнали овец к перевалу... Но и когда вернулись — легче не стало. А кто хотя бы поблагодарил его за такой труд, за то, что забыл горячую пищу, теплую постель, родной дом?.. Редкие гости из партизанского отряда справляются только об овцах, им один интерес — было бы мясо. А Каракай и не замечают, будто он какая-то плешивая чесоточная овца... И вот теперь, после всех этих испытаний, он должен погибнуть здесь, за этими холодными скалами? Умереть, как собака, не сменив даже нательного белья... Вот какова жизнь человеческая — грош ей цена. Человек — песчинка среди этих скал: унеси ее ветер — что от того скалам?.. Человек — былинка на бескрайних лугах: скоси ее — кто заметит и что изменится в лугах?.. Так почему же он должен сложить здесь свою голову? Кому это надо? Вон куда отошли, сколько земли отдали немцам... Так чем же он хуже тех, которые отступили, но сохранили свои жизни?.. У него не меньше мужества, чем у тех, — убеждал себя Каракай. — Отец сказал: «Враги найдут здесь свою гибель!» Но почему и он, Каракай, должен погибнуть здесь с ними? Уйти в горы, укрыться там в пещерах, в непроходимых лесах — разве это не разумнее, чем уподобиться петуху, который, видя парящего над ним коршуна, взбирается на шесток?! Конечно, кому охота видеть врага хозяином на родной земле? Пусть у того человека глаза лопнут! Но следует поступать разумно. Вот сейчас в его винтовке пять пуль. Он выпустит их, уложит пятерых — но не успеет выпустить шестую пулю... Или сделает десять выстрелов — одиннадцатый сделать все равно не успеет. Оборвется его дыхание, и исчезнет для него все: эта поляна, и лес, и горы — весь мир... Исчезнет с ним и его мужество, его мастерство. И кто узнает о них? Кто скажет: Каракай бился как лев! Никто не узнает, не скажет так, потому что все они лягут здесь. Его молодость, храбрость, мастерство — все поглотит черная пасть земли, тесная могила... Нет, не бывать этому! — чуть не вскрикнул Каракай, по заглушил крик.

— Отец, — произнес он, стараясь казаться спокойным. — Я давно не менял нательное белье, давно не мылся теплой водой...

Каспот про себя пожалел сына.

— Зачем ты говоришь мне об этом сейчас? Что я могу сделать? — сказал он.

— Те, кто будут предавать нас земле, могут нас ослабить, — говорил Каракай, пряча свой взгляд от отца. Он надеялся, что братья поддержат его...

— Не накликай беду, мы еще живы. Не малодушничай — ведь ты же мужчина, ты шапку носишь!

— Но что мы можем сделать, отец? Неужели, пролив нашу кровь, отдав свои жизни, мы спасем нашу землю? — напрямик высказался наконец Каракай.

— Сын, не говори недостойных слов в такие минуты. И не торопись отдавать свою кровь и жизнь. Помни: защищая свое гнездо, дерутся даже вороны...

— Но разве наша земля кончается здесь? Разве нет у нас иной земли, кроме этой поляны? Уйдем, сохраним наши жизни и будем сражаться в другом месте...

— О чем ты говоришь, сын, не пойму. От твоих слов пахнет трусостью. Неужели ты ищешь путь, чтобы уклониться от долга? — ласковый взгляд Каспота вмиг посуровел, грозно сверкнули глаза из-под сдвинутых бровей...

— Отец, разве наш долг в том, чтобы умереть здесь? — продолжал свое Каракай.

— Нет позора в том, чтобы умереть за землю отцов. Бежать трусливым псом, поджавши хвост, — вот позор! — отрубил Каспот.

— Отец, отец, это красивые слова! К чему они? Лучше подумаем о спасении. Видишь, они уже совсем близко, — Каракай протянул руку в сторону ущелья. — Если ты погубишь сегодня нас всех — славы тебе не будет!

Каспот молчал. О чем говорить? Горькая, страшная правда открылась ему в это мгновение сразу и до конца. Если раньше не сумел внушить сыну, что такое долг перед родной землей, — теперь уже поздно. Если вырос Каракай самовлюбленным трусом, — то сейчас, перед лицом смерти, не преобразится, храбрецом не станет...

Так думал Каспот, ошеломленный словами сына, но, все еще надеясь образумить, подбодрить его, сказал другое:

— Не бойся, сын мой, земля не останется перед тобой в долгу. Земля не забывает мужества своих защитников. Если ты ищешь признания — она щедр!.. Только не

вздумай бежать, урочив свою шапку, будто изношенные чабуры. Помни: то, чего не сделаешь для своей земли сейчас,— не сделать уже никогда! Земля отвергнет тебя.

— Я для себя землю найду...

— Да, ты найдешь угол в темной пещере, нору под скалой... Умрешь — люди выроют для тебя яму, но не станут копать могилу!

— Я не могилу ищу, а жизни! — Каракай вскочил на ноги, метнул взгляд на братьев. — Слышите, вы? Лошадь принадлежит тому, кто ее седлает, земля — тому, кто ее пашет, девушка — сватающемуся, шуба — тому, кто ее носит. А жизнь — живому! Что же вы молчите? Вам нужна жизнь, или...

— Мало тебе того, что сказал отец? — промолвил Канамат, не поворачивая голову в сторону брата.

— Сын,— все еще взывал Каспот.— Не обольщайся: шуба носится, да скоро изнашивается. И лошадь спотыкается на скаку, падает... Только мужской чести нет износа. Человеческая жизнь тоже коротка, но жизнь без чести короче во сто крат. А если ты даже, лишившись чести, будешь жить долго, то станешь молить о вечном мраке, чтобы не видели люди твоего лица... Оставь малодушие, в лес мы уйти успеем, не смотри туда — смотри на врага. Ну, что ты так оробел? Ведь ни аллах, ни природа тебя не обидели! — так говорил Каспот, все еще не в силах смириться с тем, что его Каракай, сильный, ловкий, меткий Каракай, мог так обмануть его надежды. Но тщетно взывал он.

— Красивые слова — ложь! — воскликнул Каракай.— Когда дело идет о жизни или смерти — им нет места! Моя сила и зоркость мне еще пригодятся... Если вы не хотите последовать за мной, я уйду один! — Каракай повернулся и пошел по поляне.

— Стой! — загремел Каспот.— Оставишь братьев — перестанешь быть мне сыном!

Каракай, казалось, не слышал. Он уходил к лесу. Шаггал большими, уверенными шагами, широкоплечий, с сильной, широкой спиной...

Каспоту вдруг захотелось выстрелить в эту широкую, сильную спину. Он поднял винтовку, передернул затвор... И... не смог...

Вдруг вспомнилось далекое, почти забытое уже — детство Каракая. Он был красивым мальчиком — с нежным

белым личиком, карими глазами. Каспот любил его больше первенца — Канамата. Почему — и сам не понимал. Может быть, оттого, что у них с Эккяй так долго не было второго ребенка и они уже потеряли было надежду... Каракай на четыре года младше Канамата. Он был слабым ребенком, часто болел. Немало бессонных ночей провела над его зыбкой, а потом и постелью Эккяй. Но и Каспот — тайком от своей матери, от родственников жены, от соседей — тоже не раз проводил долгие ночи, прижав мальчика к своей груди или покачивая зыбку. В три года Каракай заболел оспой, думали: не выживет. Он выжил, но болезнь навсегда оставила следы на его лице. С тех пор Каспот стал любить и жалеть бедного сынишку еще больше. И Эккяй, желая сделать мужу приятное, тоже хлила и нежила Каракай больше других. И одевала наряднее всех. Белая овчинка или коричневая черкеска с газырями, поясок с серебряным позументом, ладно выкроенные чабурчики делали мальчика даже хорошеньким. Словно прирученный ягненок, Каракай не отставал от отца.

И сейчас Каспоту вспомнился мальчик, который так любил спать, прижавшись к теплой отцовской спине. И снова он предстал перед ним — в белой овчинке, с карими грустными глазами, с личиком, изъеденным оспой, но все равно таким миленьким... Не было у Каспота большей радости, чем доставить радость сынишке.

И вот теперь этот мальчик, который не сходил когда-то с его колен, этот милый мальчик, без которого еда не была для Каспота едой, — этот сильный, широкоплечий взрослый мужчина уходил, оставляя отца.

...Откуда бы Каспот ни возвращался домой — не было случая, чтобы он явился без подарка Каракаю. А если уж не было ничего другого — привозил ему крашенные альчики¹, — Каракай любил играть в альчики.

Теперь этот мальчик уходил. Уходил тот, кого тайком от своей матери и даже от жены так любил нянчить отец, всматриваясь в его личико, прислушиваясь к его дыханию... Уходил широкоплечий, сильный охотник... Это не его должен сейчас уложить Каспот выстрелом в спину — а белозубого, нежного своего сынишку...

Винтовка в его руках опустилась.

¹ Альчики — кости для игры, подобной игре в бабки.

— Стой! Верпись! — крикнул оп. Горечь, гнев, отчаяние были в его пронзительном голосе, — всполошенное воронье поднялось с ближних деревьев, закаркало...

Каракай остановился, повернулся... Лицо его было бледно, — он подумал: отец может выстрелить... Медленно приблизился.

«Когда же нежный ягненок превратился в трусливого шакала? — думал Каспот. — Как же я, отец, не увидел, что внутри него свернулась клубком змея?.. Позор, позор тебе, отец: думал — растишь скакуна, а вырастил мула, не знающего своего рода...»

— Оставь свою шапку! — приказал Каспот.

Немцы были уже на тропе, выходящей на поляну.

Когда Каспот обернулся на их голоса, Каракай исчез...

20

Шапка Каракая, сшитая их шкуры годовалой овцы, была большая, круглая, как мельничный жернов. Эккяй утеплила ее ватой, аккуратно прострочила, верх поставила из темно-синего сукна. Шапка была хоть куда — теплая, легкая. Эккяй не могла допустить, чтобы ее сыновья ходили в худых шапках. Недаром же сказано: «Человека по шапке встречают». А сейчас эта добротная, красивая шапка лежала у ног Каспота, как лохматая, нестриженная овца...

Братья между тем заняли места, указанные отцом, и затаились. Капамат залег там, где кончалась тропа, ведущая к поляне от родника. Шамиль расположился правее Каспота, чтобы враг не сумел пройти вверх по другой дороге, у подножия поляны, и не просочился в тыл. Гитче Каспот оставил неподалеку от себя: он был младше других, и отец боялся за него...

Немцы были уже на тропе, выходящей на поляну. Они шли спокойно, даже, казалось, беспечно, но в то же время медленно, бесшумно, словно охотники, не желающие раньше времени спугнуть притаившихся в траве перепелок... «Нет, они не могут думать, что эти места безлюдны. Недаром их ведет Мусабий... Пусть же начнется то, чему не миновать», — решил Каспот. Он поднял шапку Каракая, падел ее на ствол винтовки, высунул из-за скалы — и тотчас ударили автоматные очереди.

«Вот оно, началось. Пусть умножит аллах силы ребят!» — прошептал Каспот.

Он не успел убрать шапку: пули попали в нее. И тяжелая шапка, качнувшись, не удержалась на стволе винтовки, упала на скалу, а с нее скользнула на землю. Склон был покрыт травой, на которой все еще держалась корка льда, — и шапка покатилась вниз. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее... Столкнувшись с выстрелом, она подскочила, шарахнулась в сторону, словно перенуганная овца, и вновь понеслась вниз. Потом, зацепившись за камень, приподнялась, метнулась вправо-влево, подобно зайцу, увидевшему охотника, — покатилась снова, и уже не за что было ей зацепиться. Теперь она неслась неудержимо, как гонимый ветром шар черекати-поля, с корнями вырванный из земли, летящий неведомо куда...

Немцы никак не могли понять, что это такое темное, большое катится на них со склона горы. Не то колесо, не то котелок... А если он начинен взрывчаткой?.. Один из солдат ударил автоматной очередью.

Пораженная шапка, прибитая к каменному выступу, на миг приостановилась, будто решала, катиться ей дальше или нет. Но пули снова сдвинули ее, и она покатилась... Она неслась, будто тяжелый котел с расплавленным металлом, чтобы выплеснуться на головы врагов. Будто огромное колесо, готовое переломать им ноги. Будто скала, грозящая раздавить их всех...

...Не шапка — израненное, истекающее кровью животное, бросившееся на охотников, несло со склона!..

Шапка неслась, катилась, катилась и... смиренно уткнулась в ногу одного из врагов. Кованый носок сапога отбросил ее прочь, она взлетела вверх — и ударилась макушкой оземь. Ударилась и затихла: поняла большая, как мельничный жернов, шапка, что беспомощна, бессильна отомстить за нанесенные ей раны. И, поняв это, осталась лежать там, где упала. Что она могла теперь? Разве лишь проклинать свою судьбу... И она проклинала:

«Шапка я или заброшенный под кровать комок старой шерсти? Отчего я не скатилась вместе с головой хозяина, отчего полна не кровью, а плевками? Видели вы когда-нибудь, чтобы шапка падала, а хозяин ее был цел-невредим? Срубят голову — и шапка летит, что поделаешь... Втопчут в грязь копытами — но только вместе с тем, кого

согревала... А со мной — смотрите! — нет рядом того, кто должен быть. Я одна, беззащитна, и топчут меня сапоги пришельцев...»

Один из фашистов снова поддел шапку сапогом, она отлетела к идущему впереди, тот пул ее дальше... И шапка, гонимая ударами, опять покатилась, сетуя на свою судьбу:

«Я — шапка! Во мне — тепло и нежность женских рук. Немало я согревала мужчин. Я была колыбелью для новорожденных. Джигитов я водила на ратные подвиги, жепихи ходили со мною высматривать невест. Не я ли удерживала мужчин от постыдного шага?.. А теперь качусь, не в силах удержать даже собственную тяжесть. Качусь, как трусливый заяц, как жаба, ползущая в пасть змеи...

Оставшийся без шапки — как неприкаянный бродяга. Позволить сбить шапку — все равно что позволить плюнуть в седую бороду. Меня не оставляли за дверью ни на свадьбах, ни на празднествах. В горькие минуты мужчины скрывали свои слезы, надвигая меня на глаза... А мой хозяин снял меня и бросил, как женщина наперсток с пальца. Теперь качусь, бегу... Куда?! Бегу как пес, которого забросали палками, как осел, которому отрезали уши...»

Солдаты все пинали ее друг другу, как лопнувший футбольный мяч, хохоча и улюлюкая, а она, бессильная, подскакивала, ударялась о землю, металась меж ними. Некуда ей было деваться. Ни сусликом юркнуть в нору, ни змеей заползти в щель. Коротка была ее дорога: от пинка до пинка. Шапка, достойная лишь настоящего мужчины, грела труса. Женские руки передали ей свое тепло, но если бы ей была дапа еще и речь, она молила бы: избавьте меня от поруганья труса!

«Я — шапка! Я хранила честь, презирала безволие и трусость. А теперь сама качусь, бессильная и опозоренная. Несчастный тот, кого я грела, он и меня сделал несчастной: нет ему отныне дороги к чести, как мне — обратно в гору. Сейчас прервется мое дыхание, прервется...»

Шапка оглохла от свиста и ржанья. Лопнула наконец от очередного удара овчина и обвисла, клочья ваты выбились из разорванной подкладки. Теперь уже не шапка, а черно-белая птица со сломанными крыльями билась о землю. Взлетела в последний раз и упала, распластавшись на дороге.

...Быть ей отныне вечной и горемычной странницей. Захочет войти в дом — не впустят, не дадут места у очага; попросится постоять хотя бы за дверью, у порога — не дадут: там место метлы; захочет исчезнуть, не быть совсем — не сможет: вечен ее позор.

Одип из гитлеровцев поддел шашку стволом автомата и подброешил ее в воздух. И в тот же момент Каспот нажал на спуск: немец и шашка упали паземь одновременно. Не успели враги понять, что случилось, Каспот выстрелил снова. Еще не услышав выстрелы сыновей, он увидел, как упали, будто подкошенные, двое, а третий зашатался, взмахнул руками, словно ища опоры, и тоже рухнул вниз, сползая по склону.

Каспот перебежал за другой камень, прицелился в нового врага, который успел уже залечь. Он почувствовал толчок приклада в плечо, но, казалось, не услышал своего выстрела: слитный лай немецких автоматов заглушил его. Не слышно было и выстрелов сыновей. Каспот обеспокоенно прислушался: нет, стреляют ребята, живы!..

Со своего места Каспот плохо видел врагов, надо было передвигаться. Но непрерывный огонь удерживал его. Пули впивались в скалы, вздымая облачка каменной пыли и наполняя воздух запахом горелого кремня. Наконец Каспоту удалось переползти за другую скалу. Отсюда он увидел: вражеский отряд разбился на три группы. Одна осталась на прежнем месте, а две другие продвигаются вверх, к лесу и к тропе, идущей от родника... Каспот понимал, чем грозит это, но ничего не мог поделать: броситься на помощь одному из сыновей — значит освободить проход здесь... Надо было биться с теми, что прихлещлись на долю его и Гитче. И Каспот продолжал посылать пулю за пулей. А в глазах у него стояла растоптанная опозоренная шапка Каракая. Шапка, сшитая руками Эккяй...

Каспот выпустил еще несколько пуль и всмотрелся. Перед этим он отчетливо видел трех автоматчиков, а сейчас их было два. Они лежали, уткнувшись лицами в землю. Третьего не было видно... Но тут же из-за камня рядом засверкал огонь. «Уполз», — сокрушенно подумал Каспот. Хор вражеских автоматов был уже не так дружен, и огонь не так густ, как прежде. Перезаряжая винтовку,

Каспот вслушивался, стараясь хоть приблизительно определить, сколько осталось врагов. В своей полосе он не видел уже никого, но справа и слева автоматные очереди, то длинные, то короткие, слышались непрерывно. На Камата он надеялся, как на самого себя: боец обстрелянный, на его участке не пройдут. Но как там Шамиль, не просочатся ли немцы в лес?

И вдруг словно что-то оборвалось у него внутри: он понял, что не слышит выстрелов Гитче. Когда же он перестал стрелять? Давно? Только что?.. Каспот оторвался было от скалы, бросился в сторону Гитче. И тут же ему ожгло висок и забило глаза каменной пылью от раздробленного пулями перед самым лицом выступа скалы. «О всевышний, неужто я ослеп? Камни земли моей, неужели, прикрыв от моих пуль врага, меня вы лишили зрения?» — пронеслось в голове Каспота. Он протер глаза. Слава аллаху! Ныл висок, горело лицо, но глаза — видели.

Каспот, затаившись, снова всмотрелся в камень, за который уполз тот автоматчик. Казалось, там уже никого нет, немец, наверное, сменил позицию, пока он протирал глаза. Но едва Каспот подумал так и хотел бежать к Гитче, немец выскочил из-за камня и пустился к тропинке, ведущей от родника... Каспот выстрелил и, убедившись, что не промахнулся, бросился наконец к Гитче.

Гитче лежал лицом вниз, вытянув перед собой винтовку. Издали казалось, что он лежит, прислонившись щекой к прикладу, целится, готовясь выстрелить... «Разве так попадешь?» — подумал Каспот, оказываясь рядом с сыном.

— Эй, храбрец! Перепугался или заснул?! — крикнул он, схватив лежащего за плечо и дернув его к себе. Гитче как-то легко перевернулся лицом вверх... Крик застрял в горле у Каспота: приклад винтовки и вся левая сторона лица сына были в крови, кровью была наполнена и левая глазница, правый глаз полуприкрыт... Верхняя губа, слабо черневшая еще ни разу не бритыми усиками, тоже была изуродована пулей.

Каспот легким поглаживающим движением опустил ему веки, укрыл тело своей овчиной. Ему хотелось взречь раненым туром. Но он крикнул только:

— Сыны мои! Вашего младшего брата Гитче убили! Слышите, Гитче убили! Держитесь, держитесь!

Каспот не думал о том, услышат ли его сыновья: он должен был исторгнуть из своей груди этот крик... И, крикнув, он, не переводя дыхания, помчался туда, где залег Шамиль.

Проход, защищаемый Канаматом, был, наверное, самым опасным местом. Опасным потому, что был удобен не только для обороняющегося. Тропинка, которая вела от родника к поляне, хорошо простреливалась, и, конечно, пули Канамата не могла миновать того, кто оказался бы на ней. Но по обе ее стороны громоздились большие камни, обломки скал, и, после того как Канамат в самом начале уложил трех автоматчиков, ступивших было на тропу, немцы стали куда осторожнее. Постепенно, пользуясь естественными укрытиями, они просочились почти вплотную к поляне. Канамат понимал: расстояние, отделявшее его от врагов, можно преодолеть одним броском, стоит чуть замешкаться, промедлить с досылком патрона, и... Нельзя было оставаться на одном месте, неподвижной мишенью для нескольких автоматчиков. И Канамат, как ни зол был огонь, старался менять свои позиции. Но мешала раненая нога, тяжело, бессильно волочившаяся за ним...

Кажется, он удачно выбрал последнее укрытие. Здесь он хорошо защищен, его пули не дают врагу высунуть носа. Но и уропа никакого им не причиняют. Да и сам он тоже прикован к месту: камни впереди изрыгают непрерывный огонь. Дальше так продолжаться не могло: у Канамата просто кончились бы патроны...

И тогда он решил. Прекратил огонь, выждал немного, — стихли и немецкие автоматы. Преодолевая боль и бессилие раненой ноги, он бросил свое тело на выступ скалы, что возвышался чуть левее него. Канамат понимал, какой это риск: укрыться здесь было негде, на скале рос только редкий молодой березняк. Но зато отсюда просматривалась не только тропинка, но и пространство позади сгрудившихся вдоль нее камней.

Вражеские автоматы по-прежнему молчали: возможно, немцы подумали, что стрелять уже не в кого, проход открыт... И, чтобы проверить это, один из них отделился от камня, пополз вперед — и тут же наткнулся на пулю Канамата. Но не успело умолкнуть эхо его выстрела, как

ударил автоматная очередь, левое плечо Канамата обожгло, рука с винтовкой опустилась.

Еще не сознавая, что произошло, КанаMAT попытался снова приподнять ствол винтовки — рука не послушалась. У него потемнело в глазах, закружилась голова... «Теряю сознание? — подумал КанаMAT. — Нет, нет, только не это...» Неужели по его вине враги пройдут на поляну и ударят в спину отцу и братьям? Нет, он сделал все, что мог, и потому не страшился теперь смерти. Он понимал, что погибает, но боялся не смерти, боялся, что умрет, так и не узнав ничего об отце и братьях. Узнать бы в последнее мгновение, живы ли они, взглянуть на суровое и доброе лицо отца... По ведь и сам он пока жив, и в винтовке еще есть патроны... Остаться здесь — значит умереть, как загнанному, истекающему кровью зверю. Выманить бы их на открытое место, убить хотя бы еще одного...

КанаMAT начал сползать вниз. Но силы оставляли его. Нога окончательно онемела, он уже не чувствовал ее и волок за собою, как бревно. А левая рука, повисшая плетью, слабо цеплялась за каждый камешек, за сухие сучья, даже за былинки... Еще, еще немного, и он будет за скалой...

Совсем рядом раздалась короткая автоматная очередь, и, прежде чем ощутить боль, он понял, что пули попали ему в спину. Каким-то невероятным усилием, словно уже помимо воли, он перевернулся — и увидел стоящего почти над собою на камне немца с опущенным автоматом. И, прежде чем этот немец успел вскинуть автомат, КанаMAT, полусидя, не целясь, выстрелил...

Какая сила сумела поднять Канамата на ноги?.. Согнувшись, он сделал несколько неверных шагов, наткнулся на березку, обхватил ее тонкий, гибкий ствол... Ему казалось, что он лежит лицом вверх, смотрит на чистое голубое небо, на неведомо куда плывущие верхушки деревьев... Но это плыла и уходила из-под ног земля, уходило бесконечное небо...

КанаMAT, петляя, сделал еще несколько неверных шагов, — его вела мысль об отце и братьях, о своей вине перед ними. Да, да, он все-таки виноват, не сумел выстоять, пропустил врагов, теперь они выйдут к ним в тыл, ударят в спину... Бежать, бежать, предупредить, пусть они хотя бы увидят его издали — и поймут...

Мысль его летела над поляной, но тут к нему подошел фашист — последний из тех, кого не смогла настичь его пуля, — и еще раз прострочил из автомата его грудь. Канамат, шатаясь, обернулся. «Зачем этот человек подошел так близко и жжет мою грудь?.. Моя винтовка... Отец мой!» — хотел позвать Канамат — и дыхание его оборвалось, прежде чем он упал на землю.

Все это видели Азретали и Хамитбий, оставленные Канаматом в укрытии неподалеку от его засады: отвести детей хотя бы в кош уже не было времени.

— Мой Канамат! — с плачем и криком несмышленицы Хамитбий выскочил из укрытия и бросился к старшему брату... Очередь фашиста скосила его как былинку.

Азретали же, понимавший опасность, бросился в противоположную сторону, туда, где мог быть отец. Опалевший немец не успел вскинуть автомат — Азретали скрыли деревья.

...Каспот нес тяжело раненного Шамиля, прижимая его к груди, как ребенка. Он услышал пронзительный, тут же захлебнувшийся крик Хамитбия, услышал выстрелы, плач Азретали и понял: случилось непоправимое... С Шамилем на руках Каспот бежал на помощь другим своим сыновьям, ни о чем не думая, кроме них, не замечая ничего вокруг. Он несся по лесу, как раненый лось: ломались ветки, трещали под ногами сухие сучья. Выскочил на край поляны — и оказался чуть ли не лицом к лицу с немцем. Тот первым успел вскинуть автомат, но глаз и рука изменили ему: он остался один в этом страшном месте, где, кажется, стреляли сами камни... А Каспот вмиг оказался за деревом, опустил на землю сына и выстрелил, даже не донеся до плеча приклад.

...Это был последний враг из тех, что пришли к поляне.

И наступила тишина. Как будто никогда не раздавались здесь выстрелы, не слышались предсмертные крики.

И только тогда Каспот ощутил боль в ноге, почувствовал теплую лишность брюк. Он обернулся к лежащему на земле сыну — Шамиль был мертв.

Рана Каспота оказалась неопасной: кость не задело, и кровь удалось быстро остановить.

Каспот перенес Шамиля, Гитче и Хамитбия туда, где был Канамат. Уложил их рядом, укрыл бурками и сел у их ног, подперев голову руками...

Азретали сидел рядом, молча, прижавшись к отцу.

Через какое-то время Каспот очнулся, поднял руку и, словно слепой, обведя ею поляну, спросил:

— Скажи, сын мой, эта трава и раньше была такой алой?

Азретали посмотрел на петляющие в траве кровавые следы и ничего не ответил... За это время, что он просидел рядом с отцом над телами убитых братьев, Азретали навсегда простился со своим детством.

Солнце все быстрее скатывалось к вершинам гор, еще темно, и начнет темнеть. Нельзя было больше сидеть в бездействии, предавшись горю: беда добивает беспомощных и слабых. Но что делать? Как поступить с погибшими? Если бы мог Каспот отправить их завернутые в бурки тела домой, послать к матери гонца с черной вестью, если бы лошади вошли в их двор и горестным ржанием оповестили соседей, если бы могла Эккяй вместе с родственницами и всем аулом оплакать их и предать землю там, где лежат предки...

Каспот привел Азретали в кош. У очага лежал оставшийся еще со вчерашнего ужина большой круглый чурек. Каспот отломил сыну кусок, налил айрана. Невозможно было представить, что в последний раз едят они чурек, испеченный Шамилем, что его проворные, ловкие руки уже никогда не накроют им на стол...

— Ешь, сынок. Ешь досыта — этот чурек испечен Шамилем, — сказал Каспот.

И тут только он почувствовал, что его самого мучит голод и жажда. Но не успел приняться за еду, как услышал в загоне дружное, громкое блеянье овец. «Асто! — с удивлением и досадой воскликнул он про себя. — Как же я не слышал их до сих пор? Ведь они не кормлены с утра». Каспот вышел на улицу, перетащил в загон небольшой стог сена, стоявший неподалеку, раздал овцам.

Теперь надо было спуститься к роднику. Нельзя предать земле тела погибших без омовения...

Взяв в одну руку большое деревянное ведро, а в другую — винтовку, Каспот отправился к роднику по тропе, которую защищал Канагат. Он был почти уже на месте, когда вдруг услышал чуть в стороне от тропы какой-то странный звук: то ли стонал человек, то ли зверь скулил... Поставив ведро, изготовив винтовку, Каспот шагнул туда.

Радость, почти ликование охватило его. «Пусть сто раз возьмет мою жизнь аллах за такую встречу!» Привалившись к камню, запрокинув лицо вверх, лежал Мусабий. Шаги насторожили его, он обернулся в сторону идущего — и стон застрял в его горле, глаза расширились и остановились. Наконец он опомнился.

— Ай, Каспот, ты жив, слава аллаху! А я... я виноват, да, велика моя вина, но она ударила меня же, ты видишь, — простонал Мусабий.

— Гадюку бьют в голову, а мой Канагат, оказывается, только отбил хвост... — произнес Каспот, будто не слыша его.

— Ай, Каспот, не говори так, аллахом твоим заклинаю! Пощади меня, будь великодушным!..

Не говоря ни слова, Каспот стал приближаться, поднимая винтовку. Взгляд Мусабия метнулся в сторону, и Каспот заметил лежащий неподалеку пистолет...

— Не убивай меня, — молил Мусабий. — Ты видишь: я беззащитен, убить беззащитного может только худший из худших. Ты не такой, Каспот. А я подлец, да, да, но подлость побеждают не злом, а добром...

— Нет добра для тебя! — не выдержал Каспот. — Добро лишь поможет тебе совершить новые злодеяния.

— Оставь мне жизнь, если ты сын мусульманина, — продолжал умолять Мусабий. — Пощади! Скажи: будь моим псом — стану твоим псом. Захочешь — голова моя станет подушкой для твоих чабуров, — плакал Мусабий.

Каспот стал отходить от него, снова вскидывая винтовку...

— Ты поднимаешь руку на раненого, беззащитного. Это убийство! — закричал Мусабий.

— Нет, я вершу суд, — спокойно сказал Каспот.

— Ты мстишь мне за свою белую кобылицу!

— Я вершу суд, — повторил Каспот. — От имени народа, который не может сейчас плюнуть тебе в лицо! От имени земли нашей! Ты предал их. И закон, и власть, которым служил, тоже предал! От их имени я сужу тебя.

— Остановись, опомнись! — молил Мусабий, а рука его пыталась папарить, достать пистолет. Каспот видел это...

— Я сужу тебя справедливым судом, — словно выжидая чего-то, медленно говорил он. — Справедливым! Погибшие мои сыновья тому свидетели, эта поляна, залитая их кровью, эти деревья...

— Тогда, если ты горец, если мусульманин, молю о последнем: похорони меня как подобает, пусть у меня будет могила... — Мусабий рванулся, схватил пистолет, выбросил вперед руку — но прежде ударила винтовка! Загремело, прокатилось по горам эхо и смолкло.

— Не будет тебе могилы! Раздели участь тех, кого привел сюда! — воскликнул Каспот.

22

Давно ли сыновья Каспота варили в этом котле мясо, чтобы угостить парней и девушек, пришедших в кош на осеннюю стрижку овец?.. Огонь, горевший под котлом, освещал их лица, высвечивал потайные любовные взгляды... Не раз варились в этом котле и буза, по случаю разных торжеств и праздников. А теперь в нем греется вода, которой Каспот должен омыть тела сыновей, и огонь под котлом освещает черные бурки, в которые завернуты убитые...

Каспот думал об этом, не отрывая глаз от очага, и сердце его сжималось. Азретали, измученный страшным днем, давно спал. «Слава аллаху, — думал Каспот, — мальчик не увидит этого...» Он уложил сыновей на длинный стол, сколоченный им из нашедшихся в коше жердей, омыл их. Потом снова завернул в бурки. Потом он всю ночь копал могилы. Но неоткуда было взять здесь могильные доски. Каспот ходил к роднику, спускался на противоположный край поляны — собирал плоские камни, которые могли бы заменить доски...

«Не смог я приготовить вам белые саваны, не смог завернуть в белые шелка. Черные изношенные бурки — ваши саваны. Простите меня за это. Не строгаю я дубовые доски — камнями укрыл ваши могилы. Простите и за это нашего отца. Пусть земля, принявшая вас, будет пухом, пусть она будет тепла, как эти лучи восходящего солнца...»

Последним Каспот хоронил Канамата. Перед тем как навсегда расстаться со своим первенцем, он развернул бурку и долго смотрел в его лицо. «Прости меня, мой старший. По моей вине тебе выпало самое трудное. Я оставил тебя одного, без поддержки. А ведь ты был ранен...»

Каково было отцовским рукам предать земле трех сыновей... И все же он сделал это. А вот четвертого никак не может опустить в могилу. Казалось, только сейчас, когда надо было попрощаться с Канаматом, Каспот до конца осознал, что нет больше ни его, ни Шамиля, ни Гитче, ни малыша Хамитбия...

Наконец Каспот пересилил себя и похоронил Канамата.

Он стоял среди могил, чувствуя такую тоску и одиночество, словно на земле не осталось больше людей. Потом опустился на колени. «Я, отец, нарушив горский обычай, молюсь за моих сыновей,— прошептал он.— Деревья, благословите мою молитву, скажите «амин». Благословите мою молитву, алые травы и камни этой поляны! Благослови, земля! Я молюсь, повернувшись лицом к востоку: пусть сыновья мои лежат здесь спокойно. А Каракай пусть проведет свои дни, не находя прощенья... Деревья, камни, травы, услышьте мою мольбу, скажите «амин».

Каспот отошел в сторону, присел на бурку.

Но уже нельзя было больше задерживаться здесь. Следовало позаботиться об оставшемся сыне. Он поднялся и пошел в кош.

Каспот собрал кое-какие пожитки, еду, какая была, и разбудил Азретали. Спустя короткое время отец и сын уже гнали небольшую отару по поляне. Они направлялись в сторону леса, чтобы оттуда уйти дальше, в горы.

На поляну уже ложились первые лучи солнца. Благодатная, умиротворяющая тишина лежала на всем — на скалах, на деревьях, на стогах сена, на невысокой траве. И лишь четыре могилы — четыре черных каменных прямоугольника, навсегда отрезавших жизненные пути четырех людей, — нарушали покой и мир залитой алым светом поляны... Каспот смотрел на них, обернувшись, и впервые величавая красота этих мест заставила его сердце тоскливо сжаться... Но он старался ничем не выдать себя: рядом шел сын.

Азретали поднял взгляд на Каспота.

— Отец, куда мы теперь пойдем, ведь в аул нельзя?

— Не бойся, мой мальчик,— ответил Каспот.— Куда бы мы ни пошли, солнце будет с нами, обогреет. Врагам его у нас не отнять! Не бойся, мой сын, мы найдем себе место.

Поляна осталась позади, они уже входили в лес, когда Азретали вдруг закричал:

— Отец, смотри! Белая кобылица! Вернулась наша белая кобылица!

Каспот взглянул, куда показывал Азретали: на опушке леса, чуть левее того места, куда они входили, действительно паслась белая кобылица!

Отец и сын бросились к ней. Каспот бежал, забыв о своей ране, бежал, не помня о прошедшем черном дне и страшной ночи, о всей своей боли,— будто чья-то невидимая рука сняла с его плеч давящий на них непомерный груз и дала им легкие крылья...

Кобылица, увидев их, заржала-зарыдала, словно горянка, оплакивающая погибших,— как тогда... Они подбежали — и увидели: рядом с матерью-кобылицей в низких кустах черной бузины трепыхался, сисясь подняться на ноги, жеребенок.

Белый жеребенок?! — растерянный, счастливый Азретали встал перед ним на колени, пытаясь определить его масть. Но жеребенок был только что рожден: еще весь мокрый, слизистый, курившийся теплым парком, он казался пепельным.

Кобылица смотрела то на жеребенка, то на Азретали. Она узнала его, этого ласкового мальчика, который ездил на ней к роднику, держась за ее гриву!.. Он не причинит вреда новорожденному...

И старого своего хозяина узнала кобылица. Подошла к нему, тихо-тихо всхлинула, прислонила черную морду к его плечу...

Каспот обнял ее за шею. «Ты пришла, моя белая кобылица. Не забыла своего старого хозяина... В такой день пришла — будто выразить соболезнование»,— прошептал Каспот и задохнулся от приступившего к горлу рыдания. Он уже не мог владеть собой. Слезы навернулись на глаза, и чтобы скрыть их от сына, он закрыл лицо гривой кобылицы; но предательски тряслись плечи, и он еще крепче прижался к шее лошади. Перепопнявшее его чер-

ное горе, которое он прятал в себе все это время, теперь вырвалось наружу. Каспот ничего не мог поделать с собой — и плакал.

Плакал, вспоминая убитых сыновей. Шамиль, Гитче — все у них было впереди... Маленький Хамитбий — он и во все еще не начинал жить... А Канагат, бедный Канагат, — если бы не раненая нога, не постигла бы его пуля...

Он плакал, проклиная и жалея Каракаю. Каракай остался жить — по отныне не будет ему жизни, только позорное существование. Если бы на поляне чернели не четыре, а пять могил, Каспот страдал бы меньше, чем сейчас. Несчастный он отец. О погибших без стыда расскажет матери и людям, но что сказать о Каракае? Перед кем держать ответ за него?..

Каспот плакал, думая об оставленной в занятом врагами ауле Эккяй, о том, как поздно узнает она об участи сыновей, и узнает ли...

Он вспоминал все и плакал, затыкая себе рот жесткой, пропахшей потом гривой белой кобылицы.

Потом он вытер этой гривой свое мокрое лицо и отошел. Только теперь он заметил, как изменилась его красавица-кобылица: прогнулась спина, вздулся живот, отвисла нижняя губа, обнажив желтые зубы, потрескались, стерлись копыта...

— Бедная ты кобылица, как ты постарела, где теперь твоя резвость, сила... — промолвил Каспот.

«Правду ты говоришь. Никого не щадят время и жизнь. Вижу, они и тебя согнули... Я не видела тебя плачущим — а сейчас моя грива и шея мокры от твоих слез... И волосы на твоем лице побелели, как моя грива... Только вот руки твои не изменились — такие же ласковые, теплые...»

— Сколько ты, видно, дорог исходила, сколько перевалов одолела. Похоже, не один седок сбивал твою спину, — говорил Каспот.

«Меня оседлал тот, к кому привели меня тогда. Я сбросила его и побежала сюда. Но меня поймали... Потом меня седлали другие — их было так много, что не помню лиц. А потом я уже не ходила под седлом. Всякую работу выполняла. Делала то же, что ослы. Вместе с осликами поднимала в горы оружие. Впрягалась в пушки. Навьюченная снарядами, ходила за перевалы и возвращалась назад. Перевозила раненых через горные потоки... Долго я

трудилась. А потом уже не могла: силам моим пришел конец. К тому же я ждала его, моего сына... Сама стала для людей ненужным грузом. Кто-то приставил к моему уху черную палку, но другой отвел его руку, сказал: «Греха не боишься, не видишь — она жеребая. Лучше пустим ее, может, спасется, выживет, если не разорвут волки». И люди ушли в горы, оставив меня в лесу. Я осталась жива, волки не разорвали меня. Дни и ночи я искала дорогу сюда — и вот пришла. Я искала тебя — не могла забыть твои теплые руки — и нашла тебя. Не могла я забыть и этого ласкового мальчика — пусть моим даром ему будет мой жеребенок...»

— Ты пришла, моя белая кобылица, — говорил Каспот, — пришла ко мне в самый черный мой день. Спасибо тебе...

Сказав так, Каспот подошел к Азретали, и они вместе помогли жеребенку подняться. Жеребенок был совсем еще слабенький, ноги его дрожали и разъезжались в стороны. И все-таки он сразу понял, что ему нужно. Сделав несколько неуверенных шагов на своих широко расставленных ножках, он ткнулся вытянутой мордочкой под брюхо кобылицы. Та, наверное, впервые в этот миг почувствовав счастье материнства, тихо заржала. А жеребенок продолжал свои поиски. Он, кажется, понимал, для чего пришел в этот мир, знал, что, кроме приятного тепла, исходящего от возвышающегося над ним громадного существа, мир приготовил для него еще нечто очень важное и он должен непременно найти это сейчас, сию минуту. Но то, что он так усиленно искал, никак не находилось, и жеребенок, видимо окончательно потеряв терпение, издал слабый крик, отдаленно напоминающий рычание. «Ну помогите же!» — казалось, просил он. Каспот помог ему пайти то, чего он так страстно желал. И когда наконец во рту у него оказался короткий тугой сосок, — он забыл обо всем. Сейчас для него существовал только мир под животом матери.

Азретали стоял, смотрел на них и боялся поверить своим глазам: снова перед ним белая кобылица, и с нею — белый жеребенок! Да, белый: жеребенок обсох, и масть его определилась ясно. Белый жеребенок, являвшийся к нему в снах, пришел наяву!..

Кобылице приятно было чувствовать, как слабеет ее тугое вымя, она испытывала какое-то необъяснимое бла-

жепство от прикосновения губ жеребенка, от его запаха, тепла — и благодарно смотрела на своего хозяина: верно, думала, что и это добро идет от него.

А жеребенок, насытившись, выпустил сосок и отошел немного. И новый мир — просторный, огромный — вдруг открылся ему. В нем было это большое доброе белое существо, которое только что напоило его такой вкусной, живительной влагой; были еще два каких-то темных существа, — и они тоже почему-то казались ему добрыми; и столько еще всего было в этом мире непонятого, незнакомого, что жеребенок ошеломленно замотал головой и опять потянулся к тому большому, белому, доброму, что отныне — он чувствовал это — принадлежало лишь ему одному.

Но оказалось, что изменился не только мир, но и сам он стал иным. Ноги его уже не дрожали, стояли твердо. И ему захотелось еще больше увериться в их силе и прочности. А заодно познать и проверить этот просторный мир: так ли он добр и прочен, как кажется, не причинит ли ему худа?

И жеребенок сделал для начала несколько небольших кругов вокруг стоявших на поляне существ. А потом, окончательно убедившись, что ноги несут его хорошо и что мир вокруг прочен, пустился по поляне вскачь. Сначала не очень резво. Но ему-то казалось, что быстрее его нет никого на свете, — а за ним, не отставая, бежали деревья.. И жеребенок, решив обогнать их, помчался еще резвее — деревья не отставали. Ему хотелось обогнать все — небо над собою, облака в небе, — и он поскакал, распластавшись над поляной. Но все продолжало бежать рядом с ним. И тогда он решил обогнать хотя бы свою тень под копытами, — ветер засвистел в ушах, и маленькая гривка поднялась и тоже засвистела на ветру...

Азретали бежал за ним: он боялся, что малыш упадет с обрыва, потеряется в лесу. Но напрасно тревожился Азретали: доскакав до леса, жеребенок повернул назад и подбежал к матери. Разве мала для него эта поляна? Не хватит ее простора?.. Не следует торопиться. Пройдет время, он вырастет, будет без страха входить в лес, легкокрылой птицей скакать по крутым дорогам... А пока с него достаточно поляны.

Жеребенок сделал еще один круг, еще... Он несся стрелой, будто низко летящий белый журавль, приходив-

ший в сказочных снах Азретали. Но вот он забежал в ту сторону, откуда всходило солнце,— и сразу стал алым. Над алыми травами поляны металось, будто несомое невидимой рукой, алое шелковое знамя,— полыхал на ветру лоскуток привки...

А издали на него любовались Азретали, Каспот и старая белая кобылица.

...Скачи, малыш, младенец мира, скачи без страха! Ты пришел в этот беспредельный мир — и принес ему радость. Еще не перевелись в нем волки, воют жадные шакалы. Еще люди глохнут и падают под разрывами снарядов... Но ты скачи без страха — снаряды не посмеют убить тебя, волки не догонят. Лети, лети, младенец мира, баловень мира!

23

«Не забывай это место», — наказывал отец незадолго до своей смерти. Но если бы даже он не сказал этих слов... Забыть эту поляну, над которой белым журавленком промелькнуло его детство — и здесь же оборвалось навсегда в тот черный день?.. Забыть эти тропы, по которым ходили отец и братья? Поивший их родник?.. Их могилы?.. Не может человек забыть самого себя!

И вновь Азретали вместе с сыном пришел сюда. Снова тихая осень позолотила березы, обагрила кусты барбариса, зажгла темно-красные гроздья рябин... Азретали стоял, любясь этой красотой, смотрел на сына и с сожалением думал о том, что Тахир растет оторванным от этих мест. Слишком редки его встречи с поляной, горами, аулом, где — через отца — начинался родник и его жизни... И, думая об этом, Азретали чувствовал какую-то вину перед сыном. Конечно, вины не было, жизнь есть жизнь, и она сложилась так, что Азретали и сам оставил родные места, стал горожанином... Он тоже приходит сюда не так уж часто, потому что есть иные дела и заботы, от которых не уйти, да и нелегко за два воскресных дня добраться из города в аул, побывать на поляне и вернуться обратно. Не уехав отсюда, Азретали, пожалуй, и сам до конца не представлял, что значат для него эти места. И сейчас, стоя здесь, он чувствовал, какая тоска по ним постоянно живет в его душе... И все-таки у него даже эта тоска — знак не затихающей памяти сердца, навсегда связавшей

его с поляной и родником, горами и аулом. А что дают столь редкие встречи с ними его сыну? Хороший мальчик растет: здоровый, смелый, начитанный, многое уже знающий. Но сумеет ли со временем этот умненький, аккуратно сложенный мальчик проскакать по горной тропе на белой кобылице, оставляя позади ветер?.. Испечь над огнем очага чурек?.. Выкосить траву на поляне и сметать стога?..

Да и в этом ли только дело! Новые времена, иная жизнь дают детям то, о чем не могли и мечтать отцы. А что-то дорогое, необходимое теряется, уходит от них навсегда, как уходит само детство... Тут уж ничего не поделаешь, таков закон жизни. Человек — путник, и взять с собой в дорогу все, что хотелось бы, невозможно. Но есть груз, без которого человек — не путник, а бродяга. Груз памяти, сердечной привязанности к колыбельным местам своих предков — и память о них самих. «Это зависит от меня, — думал Азретали. — Я должен сделать так, чтобы мой сын не пошел по жизни налегке. Иначе даже слабый ветерок может сорвать его и унести, подобно перекати-полю...»

Азретали повел сына по тропинке вверх, к могилам — и вдруг увидел там Каракая. Нет, не хочет он этой встречи, довольно, вдвоем им нет места на этой поляне. Азретали вернулся к роднику, присел на камень. И снова его мысли вернулись к прошлому. Старый дорогой родник... Вспомнилась белая кобылица, как водил он ее сюда на водной, как поднимался на ней вверх по крутой тропе, вцепившись в гриву... Он всегда был чист и прозрачен, этот родник: в нем отражалось высокое голубое небо, верхушки деревьев, ожерелья рябин; глядясь в его лежащее меж камнями зеркальце, Каспот брил свою голову...

Азретали каждую осень чистил родник, а в этот раз еще не успел: путь воде преграждали осыпавшиеся сверху камни, уже слегка позеленевшие, не слышно было звонкого журчания, и не зеркало лежало в каменной ложбине, а растекалось болотце, покрытое опавшими черными листьями. «Завтра же примусь за это», — подумал Азретали, и вслед за тем мысль его невольно обратилась к Каракаю. Люди говорят, в последнее время он все чаще появляется в этих местах. Будто бы приходит за дровами или охотиться. Но Азретали знает истинную причину... И сейчас, глядя на камни, преградившие путь родника,

он подумал, что и человек, заваливший свое прошлое такими камнями, должен задыхаться, подобно этому роднику...

Каракай подходил к могилам с двустволкой за плечами и топором в руках.

«Что это? Почему вы, надгробные камни, не стоите, застыв на месте, куда вы устремились, бежите от меня? Или это уходят от меня мои братья? Неужели и мертвым нет покоя? Неужто вы все еще во власти той кровавой схватки?.. Вы удаляетесь, удаляетесь от меня, бросая исподлобья грозные взгляды... А меня гонят сюда тоска и одиночество... Я ищу тишину, тишину... Но нет здесь тишины, нет покоя. Все подобно кочующему кошу. Вон тучи в небе — серые волки — несутся, преследуя друг друга. Сама поляна устремилась куда-то, мчится, будто задрывшая подол беспутная женщина. Двигается под ногами земля, скачут скалы, словно тяжело навьюченные ослы... Деревья бьются верхушками о землю, свистят и взмахивают ветвями, будто крыльями. Алые травы, ржавые травы хлещут мои ноги как кнутами, шумят, волнуются... Нет здесь для меня тишины. И не уйти от одиночества... Вон эта высокая сосна — еще недавно она росла в одиночестве, а сейчас окружена молодой порослью... Дробится туча в небе — и она уже не одна, но с подобными себе, как овца в отаре... Отрывается от горы камень, раскалывается надвое — и нет для него одиночества... Все кругом преодолевает одиночество, только я не могу вырваться из него...»

Каракай присел возле отцовской могилы. Каждый раз, приходя в эти места, он не упускал случая поохотиться. Охота не просто отвлекала его от тяжелой тоски... Когда-то отец запрещал убивать диких животных, вспоминал Каракай. Старался сохранить их жизни... Но какой ему теперь прок от этих косуль и ланей — когда он лежит под землей?.. Бей не бей — конец один. И Каракай умрет, а дичь останется неизвестно кому... Отчего же он должен терять свое мастерство, меткость глаз? Для людей он — отрезанный ломоть, они отвергли его, относятся к нему как к волку... Да, люди — как стая волков: заметив на

одном из сородичей каплю крови, они вмиг раздирают его в клочья... Пусть Каракая не разодрали — но убивают медленной смертью. Нет, он не должен оставаться беззубым, терять свою силу, утрачивать то, чем гордился.

И Каракай стрелял, преследовал раненых косуль, добивал их.

Но с некоторых пор он стал замечать, что с его сильными руками, с меткими, не знающими промаха глазами творится что-то неладное. Животные после его выстрелов все чаще начали уходить. Не может быть, думал Каракай, далеко не уйдет. Он искал следы крови на траве, на каменистых тропах — по тщетно... Неужели его искусство, его сильные руки и меткие глаза изменяют ему?.. И он продолжал упорно преследовать и стрелять дичь. Но, кажется, она уже привыкла к его выстрелам, как привыкают овцы к лаю псов, охраняющих кош...

...Лани неожиданно вышли почти к самым могилам, но Каракай успел лечь за надгробный камень. Прицелился... Но выстрела не последовало, раздался лишь сухой щелчок: Каракай забыл зарядить ружье. Услышав щелчок, лани метнулись в сторону, побежали. Но скоро замедлили бег и медленно, гордо ушли в лес. Каракай не поспешил зарядить ружье, не стал их преследовать. Он ничком лег на землю, закрыл глаза...

...Долго он лежал или недолго, как вдруг заметил, что из лесу вышло одинокое животное и неторопливым, спокойным шагом направилось к нему. Каракай никак не мог понять, кто это: коза не коза, лань не лань... И вдруг у него заколотилось сердце: животное было похоже на белого марала! Не может этого быть, не дожидаться ему такого счастья! Но сомнений не было: перед ним стояла крупная, белая, как кобылица Каспота, стройная лунорогая маралиха. Задние ноги ее распирало переполненное молоком вымя.

«Маралиха с целебным молоком! — прошептал Каракай. — Неужто я в сказке или сон мне снится?» — снова усомнился он и даже потрогал себя рукой. Нет, не сказка, не сон! Вот оно — его счастье! Он помнил народную песенную молву о целебной силе молока белого марала. Вот оно — его лекарство! Оно вернет ему былую силу и меткость. Люди хотели растоптать его, Каракая, лишиться его своей доли счастья — но теперь пришел его черед торжествовать над всеми. Вряд ли к ним когда-нибудь придет

такое животное! Каракай рассмеялся беззвучно, чтобы не спугнуть маралиху. Он вспомнил, как мечтал братишка Азретали о встрече с белым маралом. Как он ждал этого счастья — а оно возьми да приди к нему, Каракаю! Вот она стоит — белая маралиха с большими черными глазами, в которых словно застыли слезы. Он поймаёт ее и будет доить как корову. Нет, он уже не упустит такого случая!..

Каракай, вытянув вперед руку, стал медленно приближаться к животному. Вот сейчас, сейчас схватит, дотянется до соска, сейчас — счастье так близко!..

Но тут маралиха повернулась и медленно пошла прочь. Каракай увидел, что она хромотает на все четыре ноги, — кто-то подранил ее, и не раз. Обрадовавшись, Каракай поспешил за маралихой. Она не испугалась, не прибавила шагу. Каракай же шел все быстрее, потом побежал, но тщетно: расстояние между ними не сокращалось, а увеличивалось. «Неужто уйдет?!» — испугался Каракай. Испугался и взмолился:

— Ведь не шайтан же ты, чтобы манить меня за собою под седьмой слой земли! Я знаю: ты — белая маралиха. Остановись же, позволь дотянуться до твоего соска!

— Я — скитающаяся и плачущая маралиха. Я плачу о моих оленятах. Каждый год они гибнут в этих краях — то ли в пасти волка, то ли загубленные безжалостным человеком. Я хотела узнать... Пришла, увидела тебя... Теперь знаю: ты — волк...

— Я не волк! Я — человек, жаждущий встречи с тобой! Мое тело страдает от недугов, на сердце — тоска...

— Если ты не волк, если правда, что ты — человек, то не преследуй меня, позволь уйти, — маралиха прибавила шагу, и Каракай начал заметно отставать. Он снова пустился вдогонку.

— Ты не белый джинн, ты — маралиха с целебным молоком. Остановись, позволь припасть к твоему вымени! — кричал он упавшим голосом.

Она не останавливалась, и расстояние между ними все увеличивалось. Каракай уже заметно устал, дорога становилась все труднее, круче, но, собравшись с силами, он побежал еще быстрее.

— Остановись же, не пожалей человеку паперсток молока! Слышишь, всего один паперсток! — молил он.

Маралиха не остановилась и не оглянулась.

— Жалеешь для меня глоток молока — так я не пощажу твою жизнь! — крикнул Каракай и, вскинув ружье, выстрелил из обоих стволов. На ногу маралихи красным шелковым лоскутом расплылось пятно и алой лентой потекло вниз...

Маралиха остановилась, обернулась к стрелявшему.

— Ты не достоин даже проклятия, злобный, алчный человек. Ты уже много раз стрелял в меня, — сколько твоих пуль остыло в моем теле, ржавеет в моих костях... А теперь ты, человек с черным лицом, просишь у меня целебное белое молоко... Приходили враги, окрасили землю кровью твоих братьев и сородичей — сделал ли ты тогда хоть один выстрел, чтобы остановить своей пулей их пули?.. Травы, зазеленвшие тогда, до сих пор шумят на полянах, на склонах гор и в ущельях... Теперь с кровью своих братьев ты сливаешь мою кровь. Поднимаюсь ли я на горные луга, спускаюсь ли на водоной, хожу ли по тропам — я истекаю кровью. Прилягу на землю, прячась от преследования, — и подо мною стынет на земле лужа крови... Моя кровь — на камнях, и мне приходится слизывать ее с них вместе с солью. И на желтых обрывах — моя кровь... По утрам солнечные лучи отражаются на траве не в каплях росы, а в каплях крови... Ты вынуждаешь меня жевать траву, пропитанную моей же кровью. А теперь, человек с черным лицом, ты просишь белое молоко! Ни разу ты не сделал выстрела, который принес бы счастье твоей земле. Зато слишком много выпустил пуль, которые принесли ей печаль, а мне — страдание. Чего же ты хочешь теперь?

Белая маралиха повернулась и стала уходить, вскоре скрывшись из виду. Каракай пошел за нею по кровавому следу. Тропа уходила все выше в гору, подъем был узким, крутым — и вдруг Каракай оказался на самой вершине. То, что он увидел здесь, заставило его окаменеть.

— Чему удивляешься? Не узнал? Я — та, которую ты преследуешь.

Перед ним стояла та же белая маралиха, но — с головой женщины. На прекрасном ее лице чернели большие грустные глаза, а по спине рассыпались густые длинные золотые волосы, концы их вились по земле...

Каракай продолжал стоять, остолбенев, потеряв дар речи. Наконец он смог прошептать:

— Это в тебя я стрелял?

— Ты спрашиваешь, види этот кровавый след... Но ты пришел сюда не жалеть об этом, я знаю. Зачем преследуешь меня? Мало ты причинил мне зла?.. Вот мы встретились, говори же, чего еще ты хочешь?

— Немного я хочу — всего наперсток молока, — сказал Каракай.

— Однако не так уж и мало. Этот наперсток — тяжелее обоза, груженного солью!..

— Но и награда моя будет велика: за этот наперсток подарю тебе жизнь!

— Не обещай дарить то, что не в твоей власти!

— На этот раз я зарядил ружье не дробью, пули тяжелы... — Каракай взвел курки ружья.

— Неужели ты решишься нанести новые раны моему нежному телу?..

— Мне нужно целебное молоко!

— ...Вновь окрасишь мои золотые волосы в цвет крови?

— Мне нужны моя прежняя сила и зоркость глаз!

— Ты уже получал их в дар от природы. Разве родная мать и родная земля не поили тебя своим целебным молоком?

— Я хочу обрести их вновь!

— Не пощадишь ли ты меня как женщину?..

— Я не знал пощады от женщин! Мне нужно целебное молоко. Напрасно я тратил слова. — Каракай прицелился в грудь маралихи. — Я убью тебя, и пока ты остынешь и молоко твое свернется, — успею припасть к твоим сосцам!

Пропремели один за другим выстрелы. Но белая маралиха не упала — лишь брызнула из ее груди алая кровь, обогрив камни и траву.

— Ты думал, что можно убить добро, принадлежащее всем? Нет, я не умру, — говорила маралиха с жепским лицом и грустными глазами, с длинными золотыми волосами...

— Не умрешь, говоришь? Еще как умрешь! — Каракай быстро перезарядил ружье и снова выстрелил дважды. Маралиха продолжала стоять, истекая кровью. А Каракай стрелял и стрелял — до последней пули. Он не ведал, не хотел знать, что не все может умереть от пули, не все подвластно злой силе... Маралиха продолжала стоять в глубокой скорби, с окрашенной кровью грудью. Но как

прежде прекрасны были, не потускнели ее печальные глаза. Срубят дерево — вздохнет лес, но продолжает стоять, зеленея каждую весну, рождая молодую поросль. Выжжет огонь траву на поляне — пройдет время, и она возродится, поднимется, зашумит вновь... Не умирала маралиха. И не умрет: многих ей предстоит еще вспоить своим целебным молоком... Она нужна всем — и потому сильнее смерти.

— Я могла бы связать тебя одной своей волосинкой. Но я пришла в этот мир не для того, чтобы причинять зло. Живи, только уходи отсюда, оставь навсегда это место, — проговорила златовласая.

Каракай, не в силах больше вымолвить ни слова, повернулся и пошел.

— Стой! Вернись! — крикнула вдруг белая маралиха, и дрожь пронзила Каракаю: таким же окриком остановил его тридцать лет назад отец, — и он навсегда стал несчастным...

— Тебе не уйти отсюда, — сказала белая маралиха. — Тропы нет. — Каракай взглянул: тропа исчезла. — Видишь эти отвесные скалы? Попробуй спуститься по ним — уподибишься зерну, которое провеивают на ветру... Но я еще раз помогу тебе. Я люблю людей — пусть они поймут мою помощь тебе как знак этой любви... — Сказав так, маралиха резким движением вскинула голову, и ее золотые волосы повисли вдоль высокой отвесной скалы. — Иди же: мой волосы — твоя дорога к спасению!

Каракай решительно подошел, ухватился за золотые волосы — и в одно мгновение стек по ним вниз, почти до самой земли. Убедившись, что спасен — если даже сорвется, ничего не случится, — он крикнул той, которая держала его:

— Трудно поймать быстрого скакуна, но, вскочив на него, я не падал! Ты слышишь меня, златовласая? Твои косы в моих руках!

Ответа не было.

— Пусть же падет на тебя позор женщины с отрезанными волосами! Нет у меня больше острых пуль, по моим ножом можно заточить конский волос!

Каракай вытащил нож из висевших на боку ножен — полоснул им по золотым волосам... И полетел вниз...

Что это? Ведь он висел, едва не касаясь ногами земли. Почему же летит так долго? Где же земля?! Он падал мешком в узкую щель между скалами, ударяясь то об од-

ну, то о другую стену. На мгновение он успел глянуть вниз — и не увидел ничего, кроме мрака... Страшный крик вырвался из его груди.

25

Услышав этот крик, Азретали, все еще сидевший с сыном у родника, быстро взбежал по тропе на поляну. Что там приключилось с Каракаем?

Каракай сидел у могилы отца и дико озирался. Лицо его было страшно.

— А, это ты, брат,— промолвил он.— Что смотришь на меня так? Словно на лишившегося рассудка. Нет, моя голова полна тяжелых дум — а лишённые рассудка не думают, не страдают...

— Не говори о своих страданиях. Напрасны твои обиды...— оборвал его Азретали и пошел к роднику.

Он уходил, ведя за руку своего сынишку. Доведется ли им еще встретиться с Каракаем, кто знает... Но завтра, с восходом солнца, с новым днем, он вернется сюда. Опять встретится с этой поляной, с родником, со старыми стенами коша и очагом посреди них — со всем этим миром, который питал его детские мечты. Радость жизни, смысл ее — во встречах с родной землей...

Азретали уходит, и мы сейчас расстанемся с ним. Но я знаю, верю: мы еще встретимся.

...Постой, Азретали! Мы расстаемся, но ты так и не сказал нам, что с твоим белым жеребенком...

«Он вырос, стал сильной, быстрой лошастью. По многим дорогам пронес он меня. Теперь меня ведут новые дороги. Я встретился со многими своими детскими мечтами — теперь новые манят меня. Но я по-прежнему вижу те сны. Вижу зеленую поляну, на ней пасутся лапы, скачут белые жеребята,— кто-то поймает и оседлает их?.. Пусть это будет мой сын!»

...Сны не тают бесследно — они становятся явью. Такова жизнь. Знаю: на полянах, на горных лугах и в теснинах все еще шумят, волнуются алые травы. Но идут теплые, благодатные дожди. Они смывают с трав ржавчину, и травы зеленеют вновь. Зеленеют, чтобы больше не ржаветь...

Азретали уходил и уводил своего съишишку.

Я и с мальчиком не прощаюсь. Он пришел в этот мир не гостем — надолго. А значит, мы встретимся с ним еще не раз. Ведь я и он — путники на одной дороге... Знаю, мальчик: и тебе, как когда-то твоему отцу, снятся сказочные сны. Может, проснувшись, ты ищешь зеленую поляну, белого жеребенка... А может быть, тебе снится, что ты садишься на огпедышащую среброкрылую птицу и пересекаешь на ней вселенную... Что ж, одни переворачивают черный слой земли, другие — чувствуют себя как дома и за седьмым слоем неба...

...Азретали и его сын уходили все дальше. Уходили в тишине, слыша лишь шуршание сухих листьев под ногами.

Тихо осенью у подножий гор. Тихи деревья, и стога сена, и те рябины, и это стадо камней... Тиха поляна. Все тихо в природе — как плывущая в небе луна, как сон младенца, как первая любовь девушки. Все на поляне тихо-тихо — как радость матери-горянки, как колыбельная песня.

Эрурей

Наибхан проснулась на рассвете. Потихоньку, чтобы не разбудить дочерей, оделась, подошла к окну.

Ночью выпал первый снег, и все вокруг, покрывшись его чистой белизной, неузнаваемо изменилось. Деревья во дворе, еще вчера черневшие оголенными ветвями, надели мягкие ватные шапки. Снег засыпал, сровнял с обочинами дорогу, и она кажется широкой, как шоссе. Ни одного следа не видно на этой дороге, ведущей к центру аула: никто не прошел пока ни в правление колхоза, ни в сельсовет.

Наибхан вздохнула: не ей суждено сегодня проторить тропу по этой снежной целине. И доведется ли еще ступить на эту дорогу? Кто знает... А как хорошо было бы сейчас набросить на голову шаль, выйти за порог, глубоко вдохнуть чистый морозный воздух и отправиться к себе в сельсовет. Прийти, согреть озябшие руки у растопленной сторожем печки, сесть за свой стол... Наибхан любила иногда приходиться на работу в такую вот рань, когда никого еще нет и можно посидеть немного в тишине и одиночестве, свободно предаться своим мыслям, воспоминаниям... А там, смотришь, подойдут правленцы, соберутся на наряд бригадиры. О чем-то спорят, перебрасываются шутками. И она выйдет к ним, посмеется со всеми, узнает аульские новости... Неужто теперь ей только и осталось, что смотреть на мир из окна, не выходя за пределы, поставленные взору?..

А как хорош этот мир! Кто бы мог подумать, что аул, засыпанный первым снегом, так красив. А горы! Они тоже побелели и словно придвинулись к аулу,—кажется, подножия их упираются прямо в огороды. Белые-белые горы. И только местами на их ровных склонах чернеют камни с белыми верхушками и спинами,—словно огромные белокрылые орлы с черной грудью...

Интересно устроен человек, подумалось Наибхан. Сколько было зим в ее жизни, но только вот сейчас, когда выпешный первый снег, похоже, станет для нее последним, открылась вдруг эта красота. А в молодости не замечалась... Теперь бы только радоваться ей, да сил

уже не осталось. Ушло ее время, пронеслось... Жизнь уходит, вытекает из нее, как вода из опрокинутого кумгана, и ничем ее уже не удержишь. Наибхан понимает это и не страшится думать о неизбежном,— к чему обманывать себя? Наверное, потому-то словно впервые открывается ей сейчас красота мира, в котором она прожила такую долгую жизнь, и все кажется таким новым и дорогим, до сердечной боли близким.

Наибхан почувствовала это еще вчера, по дороге из города в аул. Там, в городе, она гостила у старшей дочери Жаннет. Приехала проведать дочь — и слегла. И поняла, что уже не суждено ей подняться по-настоящему... Врач велел оставаться в постели, но едва он ушел, Наибхан обратилась к дочери: «Помоги одеться. Поеду». — «Что ты, мама, — всполошилась Жаннет. — Вот уж правду говорят: тот, кто не может одолеть порог, мечтает одолеть девять перевалов! Тебе надо лежать». — «Нет, нет, — возразила Наибхан. — Не так уж мне плохо, как вы думаете. Вези меня в аул». А про себя подумала: «Если уж умирать, так дома...» И они поехали на такси, которое вызвала Жаннет.

Когда выехали, было уже далеко за полдень. Машина шла на подъем медленно, тяжело. От перегретого мотора скоро стало жарко и душно. Наибхан опустила стекло и тотчас услышала свист ветра, с удовольствием ощутила на своем лице влажное прикосновение его крыльев. Низкое солнце заливало землю ровным золотистым светом, и все вокруг, куда ни хватал взор, от обочин дороги до горных склонов вдали, казалось, было покрыто огромным отрезом желтого лаудана. Наибхан выглянула в окошко и увидела чистую голубизну неба... Вот тогда-то впервые ей и сдавило горло. Такая ширь кругом, такая красота, а она... Откинувшись на сиденье, Наибхан, не скрываясь, утерла выступившие на глазах слезы: пусть Жаннет думает, что их выбило ветром.

Миповали перевал, и машина побежала веселее. Уже завиднелся в долине аул. И тут Наибхан попросила остановиться, вышла, прошлась немного вперед и обвела взглядом окрестности... Свет и тень разделяли их пополам. Справа, на солнечной стороне, звенела быстрая горная речка. За цепю высились молчаливые горы. На их вер-

шинах тонкой белой кошмой лежал снег, а у подножий то тут, то там черцели карликовые сосны, словно забравшиеся на камни скалолазы.

Наибхан жадно смотрела на эти облитые солнцем камни, на малюпкие поляны-пастбища, на спускающиеся ступеньками уступы скал. Ей вдруг захотелось оказаться там, посидеть, прижавшись к валунам. Там — тишина, теплынь, эти огромные серые скалы нагреты солнцем, они согрели бы и ее...

Наибхан перевела взгляд на тeneвую сторону. Там, далеко вперед, упираясь вершинами в бескрайнее голубое небо, тоже топились горы, еще более высокие. Ветер доносил оттуда запах снега, хлестал в лицо, рвал крылья платка, отдувал полы пальто. Но Наибхан не отворачивалась. Она словно старалась вобрать в себя все: и этот пронзительный ветер с запахом снега, и серые скалы, и долину, что лежала внизу. В этой долине топконогим жеребенком проскакало ее детство, вон по той дороге они ходили с Шару, и та же дорога увела его из аула... Неужели она скоро перестанет видеть все это?.. Неужели этот ветер с родных гор касается ее лица в последний раз?.. Глаза Наибхан вновь наполнились слезами, и она уже не вытирала их: кто упрекнет ее в слабости, осудит за любовь к родному небу и горам?..

Наибхан все стояла у окна, смотрела на аул, вспоминала вчерашнее... И тут наконец кто-то показался на дороге. Наибхан пригляделась: шел Сафар. Он теперь сторож на ферме. Обычно возвращается домой, едва лишь рассветет, а сегодня что-то запоздал и, похоже, продрог: идет сторбившись, засунув руки в рукава шубы. Большая лохматая шапка надвинута на самые глаза, и оттого маленькое морщинистое его лицо кажется еще меньше. С двустволкой за плечами Сафар еще волочит ноги. бредет, вспахивая снег, будто плугом. Время согнуло и его...

«Время, время...», — прошептала Наибхан, покачивая головой, глядя вслед удаляющемуся Сафару. Никого оно не щадит. Но и память тоже беспощадна. Вот опять, как в былые времена, Сафар каждый день дважды проходит мимо окон Наибхан, — и всякий раз словно что-то вонзается в ее сердце. Иногда Сафар приостанавливается,

как будто хочет вступить в беседу с Наибхан, но она отворачивается: «проходи, проходи». Может быть, она слишком строго судит Сафара? Ведь столько лет прошло... Но что поделаешь с сердцем: не может оно ничего ни забыть, ни простить. Ничего не забыли и односельчане. И хотя Сафар ест тот же хлеб, что и другие, и его вместе со всеми одинаково греет солнце, но по жизни он идет таким же одиноким, как сейчас по дороге. А помрет — забудется так же скоро, как растаявший весной снег. Кто вспомнит Сафара добром, проходя мимо его могилы? Одиноким жалким старик бредет по дороге, — но не всегда он был таким...

— Зачем ты встала, мама? — послышался вдруг за ее спиной голос младшей дочери, Фаризат. — Ложись, сейчас принесу тебе парного молока.

Фаризат взяла подойник и вышла к корове. Прослушавшаяся Жаннет тоже стала уговаривать мать лечь в постель.

Старая и сама уже чувствовала, как ослабели ее ноги, какими неровными толчками бьется сердце. Она снова разделась и легла, вышростав из-под одеяла тонкие худые руки, прикрыла глаза... Вернулась Фаризат с кружкой парного молока, подошла к матери. Но Наибхан не стала пить. Она дышала с трудом, едва приоткрывая сухие обескровленные губы.

— Жаннет, посмотри за ней, — сказала Фаризат. — Я сейчас сбегаяю к Тегиевым, к ним родственник приехал из города, врач.

Наибхан расслышала лишь слово «врач».

— Фаризат, сколько раз я просила тебя не беспокоить докторов, — проворчала она. — К чему они? Разве прогонят мою старость? Или дадут мне другую судьбу? Не надо мне другой. То, что суждено было испытать, я испытала. А молодость не вернешь, сколько ни желай...

— Мама, успокойся, не говори так много, — попросила Жаннет.

Вскоре Фаризат вернулась вместе с молодым худошавым человеком. Не успевшие растаять снежинки еще блестели на его густых темных волосах; такими же густыми были его смоляные брови. В руках он держал маленький чемоданчик.

— Давно заболела? — обратился врач к Жаннет.

— Как вам сказать, — растерянно отвечала та. — При-

хварывала раньше, но чтобы так вот сразу... Это я виновата, мне самой надо было приехать к ней...

Молодой человек склонился над больной. «Кого-то он мне напоминает?— подумала Наибхан.— Где я видела это лицо? Когда?.. Разве сейчас вспомнишь?»

Наибхан действительно было не до воспоминаний. Ей становилось все хуже, окружающие предметы расплывались, исчезло и это странно знакомое лицо...

Врач, отвернув рукав ее белоснежной рубашки, сделал укол. Подождал немного. Ждали и дочери... Наибхан задышала ровнее и глубже, глаза ее открылись,— и она снова отчетливо увидела склоненное над нею лицо.

— Ни к чему это, сынок,— сказала она, пытаюсь улыбнуться.— Говорят, тому, за кем пришел ангел смерти Джабраил, не спрятаться.

— Напрасно не доверяете врачам,— начал было возражать молодой человек, но Наибхан прервала его:

— Нет, сын мой, я докторам верю. У нас много людей, умеющих изгонять болезнь. Знающий может справиться не с одной, а с тысячей болезней. Но я свою запустила. Хотя вы, доктора, и скрываете от меня, я-то понимаю...— Наибхан помолчала немного и перевела разговор:— Говорят: не стыдно спросить о том, чего не знаешь. Скажи мне твое имя.

— Азамат.

— Из какого же ты рода?

— Я? Из Тегиевых.

Наибхан рванулась, пытаюсь приподняться, но снова бессильно упала на подушки.

— Из Тегиевых...— прошептала она, прикрыв глаза.— Неужели сын Шару? — теперь она не отрываясь смотрела в лицо Азамата.

— Да, Шару был моим отцом.

Наибхан молчала. Облик Азамата начал вдруг расплываться: слезы выступили на ее глазах, и, словно ослепленная ими, она протянула к молодому человеку дрожащие руки.

— Шару...— прошептала наконец старая, и ее худое, обескровленное приступом болезни лицо озарилось слабой улыбкой. А слезы стекали по морщинам и терялись в сединах.— Будто самого Шару вижу...— шептала Наибхан.

Стоявшие у ее постели Азамат и дочери молчали, не смея спросить ни о чем, лишь догадываясь о том, что произошло.

— Где же ты был, Шарау? — спрашивала старая Наибхан.

Она была уже не здесь, не в этой комнате, не в постели, — она была в своей молодости.

— Где же ты был, Азамат? — очнулась Наибхан.

Да, будто сам Шарау стоял перед ней. Вылитый отец: те же густые сросшиеся брови, тот же гордый, пронзительный взгляд. Но прошедшее время — как убежавшая вода... Это был Азамат, сын Шарау.

— Почему я не видела тебя раньше? — продолжала спрашивать Наибхан. — Ты ни разу не навещил родину отца...

— Значит, вы... вы — та самая Наибхан? — нарушил наконец свое молчание Азамат. — Отец рассказывал мне о вас... Я давно мечтал приехать сюда. Но сначала учился, потом работал далеко от этих мест. Вот, приехал наконец...

— Как я рада видеть тебя, сынок, — сказала Наибхан, любуясь им.

— И я тоже очень рад. Какая встреча!.. — молодой человек взглянул на Жаннет и Фаризат, словно все еще не верил в случившееся и искал у них подтверждения. — Но вы так взволнованы, а вам нужен покой, — снова обратился он к Наибхан. — Я еще приду, буду навещать вас. Вы расскажете мне об отце... А сейчас постарайтесь уснуть, — и Азамат распрощался.

— Я расскажу, расскажу... — прошептала Наибхан и замолчала, прикрыв глаза. Дочери думали, что она засыпает, но Наибхан не спала: она вновь перенеслась в прошлое.

2

Они жили по соседству. В детстве вместе играли, бегали по аулу, ходили друг к другу домой. Не раз ели из одной миски бушто¹, которым угощала их мать девочки, Зурум. Шарау всегда был для нее желанным гостем.

¹ Бушто — национальное блюдо: картошка, накрошенная в айран.

Прошли годы, и детская дружба стала любовью, хотя о ней не было сказано ни единого слова. Зато о многом говорила белая войлочная шляпа, которую Наибхан спичла тайком от матери и подарила Шарау. Он носил ее уже не одно лето, и удивительное дело: шляпа несколько не желтела, оставалась все такой же белой и чистой. Не такова ли была и любовь Наибхан?..

Шарау, ставший красивым, высоким, крепким юношей, с прощительным взглядом черных глаз, гордо смотревших из-под густых сросшихся бровей, по-прежнему часто приходил в дом к Наибхан. Но с каждым разом такая еще недавно дружелюбная и ласковая с ним Зурум становилась все мрачнее...

И однажды, увидев в окно направляющегося к ним Шарау. Зурум вышла на улицу и будто случайно задержалась у ворот каменной изгороди.

— Наибхан дома?— спросил ее Шарау, чувствуя какую-то странную неловкость.

— Зачем тебе она?— отвечала Зурум, глядя куда-то в сторону.

— Да так...— растерялся Шарау.

И тогда наконец Зурум решилась.

— Не обижайся, Шарау,— заговорила она, глядя теперь прямо ему в глаза.—Я тебя люблю как родного, но ты не должен больше приходить к нам. Наибхан тоже выросла. Она теперь подобна луне, поднимающейся из-за гор. А какая мать захочет услышать недоброе о дочери в такой поре?..

— Да я...— мялся покрасневший Шарау.—Говорят: воду пей в доме, который по душе, потому, наверно, и прихожу...

— Не обижайся, сынок. Красивая девушка хороша по соседству, а парень — вдали...

Шарау покраснел еще больше, потоптался на месте и ни слова больше не говоря, пошел прочь.

Зурум задвинула перекладину ворот и вернулась в дом. Наибхан стояла посреди комнаты, готовая зарыдать.

— Я все видела, слышала,— еле проговорила она.—Мама, как ты могла так поступить? Как стыдно! Не ты ли меня учила: если даже шутишь, подумай вначале. А сама...— Наибхан бросилась лицом вниз на старую деревянную кровать, и плечи ее задрожали.

— Ты уже не девочка, не ребенок,— поучала Зурум.— Должна знать: девичья честь — не стеклянная тарелка, разобьешь — не склеишь и новую не купишь!

— Разве честь сохраняют тем, что бегут от друзей?!— воскликнула Наибхан и снова зарыдала.

— Поплачь, заплачь, дочь моя,— спокойно и грустно говорила Зурум, доставая из-под кровати старую сачетку, чтобы натереть из нее шерсти.— Наши предки говорили: лучше самим заставить ребенка заплакать, чем потом плакать из-за него.. Приходится бояться злоязычных. Поганый язык — не бурдюк, его не завяжешь. Недостойное слово валит с ног, как удар копыта.— Зурум говорила медленно, с расстановкой и так же медленно, неторопливо теребила шерсть.

А Наибхан, по правде говоря, и сама толком не понимала, отчего она так горюет. Ведь Шару, как и прежде, остается ее соседом. Она будет видеть его каждый день, хотя бы издали. И кто помешает им встретиться, если захотят? Отчего ж тогда так ноет ее сердце?

Слово «любовь» не приходило ей в голову: ведь Наибхан не знала, что это такое...

Но проходило время. Весной тридцать первого года Шару одним из первых вступил в только что организованный колхоз и стал чабаном, ушел в горы. Вот тогда-то и пачала Наибхан понимать, что у нее на душе... Прежде она каждое утро просыпалась с какой-то непонятной тревожной радостью. Какая же это радость?— задумывалась она, и тут ее осеняла мысль о предстоящей встрече с Шару. И она счастливо улыбалась... А теперь он далеко, неизвестно, когда придет. Но если даже придет — что толку? Они уже не смогут встречаться свободно, так, как им хотелось бы. Не смогут, как прежде, вместе пробежать босиком по улицам аула, отправиться искать телят. Ушло детство, и не догонишь его, не вернешь...

Как ожидала Наибхан возвращения Шару с коша!.. Целыми днями она просиживала во дворе. Руки пряли пряжу, а глаза не отрывались от дороги. Дорога начиналась прямо возле домов Шару и Наибхан и бежала к речке. Отсюда она круто поворачивала вверх и терялась в вечно прохладной теснине. Если кто-то спускался с гор, его можно было заметить как раз на этом повороте, и Наибхан все время смотрела туда. Едва завидев верхового или пешего, она тотчас отправлялась по воду... Но мало

ли кто спускался с гор. Обманувшись, Наибхан возвращалась домой, ругая себя за глупую надежду...

Она тосковала по Шарау, хотя не смела признаться в этом самой себе. Но что-то страшное происходило с ней, когда они наконец встречались. Наибхан вдруг делала вид, будто эта встреча случайная и Шарау вовсе ей безразличен. Она шла к реке, мечтая постоять с ним на берегу, поговорить. Почему бы нет? Кому какое дело, кто посмеет их осудить? Она будет мыть ведра, а он — поить свою лошадь... Но как только Шарау оказывался рядом, — она гордо отворачивалась. «Проезжай, проезжай. Не думай, будто я тосковала по тебе. Больно ты мне пужен», — шала она самой себе и, поправляя на плечах коромысло, незаметно поглядывала в сторону Шарау. А он, конечно, отвечал взаимностью: ни слова не говоря, пускал лошадь в галоп и удалялся.

Наибхан, чуть сгибаясь под тяжестью ведер на коромысле, возвращалась домой, горько жалея о своей ненужной гордости. Но вот и двор Шарау. Он еще там, расседывает лошадь, — видно, не очень-то торопился... Еще можно поправить дело... Но не тут-то было! Наибхан словно забывала то, о чем только что жалела, и молча проходила мимо.

Но однажды, когда она набирала воду, вдруг раздался голос:

— Э-ей, красивая девушка — что лебедь!

Она оглянулась: рядом, уже слезившись, стоял Шарау. Никак не скажешь по его виду, что чабан возвращается с коша, — невольно отметила про себя Наибхан. Такой он весь аккуратный, ладный. Ровно подвернутые коричневые ишимы¹, череска под цвет ишимов, перетянутая тонким узорным поясом. Коротко подстриженная курчавая борода, которая очень идет ему, делаю старше и мужественней. Под смоляными усами розовеют губы, а улыбка приоткрывает плотный ряд снежно-белых зубов...

«Как он изменился, — подумала Наибхан. — Возмужал. Вон какие широкие плечи...» Она протянула ему руку, сказала тихо:

— Здравствуй...

— Клянусь, Наибхан, — вырвалось у него вместо приветствия, — твоя красота меня ослепляет!

¹ И ш и м ы — чулки из домотканого сукна.

— Тогда осторожней — споткнешься! — не растерялась Наибхан.

Оба посмеялись и, как бы не зная, о чем говорить, замолчали. Шарау рассматривал девушку. Она стояла перед ним стройная, с высокой грудью; туго перешитенные длинные косы змеились вдоль спины. В талии Наибхан так тонка, что могла бы повязаться шнурком от ишимов. Легкий шелковый платок цвета спелой дыни оттенял ее смуглое лицо, делая его еще привлекательнее. Но как ни всматривался Шарау, он не мог уловить выражение глаз любимой. Они все время менялись: то задумчивые, то ласковые, нежные. А порой, когда раздавался какой-нибудь шорох, похожий на шаги, в глазах Наибхан мелькала паника, и вся она настораживалась, подобно лани. Видно, все-таки побаивалась молвы...

Взгляд Наибхан встретился со взглядом Шарау — она опустила глаза, но лицу прошел слабый румянец.

— А я тебе гостинец привез, — сказал Шарау. Он вытащил из сумы, притороченной к седлу, кусочек желтого каймака¹, очистил его от налипших травинок и подал девушке. — Будь снисходительна, правду говорят: гостинец пастуха — сосновая сера...

— Да ответят тебе люди взаимностью, — поблагодарила Наибхан, отщипывая кусочек каймака и кладя его на язык.

Они медленно зашагали домой. Опять возникло неловкое молчание. И вдруг Шарау, вздохнув, сказал:

— Ходят слухи, будто Сафар к тебе сватается. — И опять вздохнул. — Понятно, Сафар теперь начальник, а я... — он не договорил и отвел взгляд в сторону.

— Да ну тебя! — засмеялась Наибхан. — Из него такой же начальник, как из плешивого козленка — вожак отары! А когда же ты успел узнать, что он сватается?

— Пастух порой беседует и со своим посохом... — с грустью сказал Шарау.

Наибхан посерьезнела.

— Не думай обо мне плохо. Знаешь... — она замялась, подыскивая слова. — Говорят же, за девушкой даже лягушка прыгает. Чем я виновата, если кто-то по-сватается?

— Это верно, — согласился Шарау. — Охотников сор-

¹ Каймак — сосновая смола.

вать спелое яблоко много... Но и то верно, что начатое дело — завершается. Вот чего я боюсь.

— Товба, товба! Как ты плохо обо мне думаешь. Будто не знаешь меня, — девушка посмотрела на Шарау с укоризной. — И никто пока ко мне не сватался, знай. Неправду тебе твой посох сказал.

Так потихоньку они дошли до своих домов, радуясь этой встрече и разговору и понимая каждый про себя: что-то должно теперь измениться, что-то произойдет между ними.

3

А незадолго перед этим совсем неожиданное случилось в ауле. Кто бы мог подумать, что Сафар Сарыев станет председателем колхоза!

Односельчане хорошо помнили отца Сафара. Большевик, комиссар отряда красных конников, он погиб в гражданскую. Память о нем сохранялась не только в родном ауле. Но сын его не сумел заслужить уважения, достойного памяти отца. Сафар был беднейшим из бедняков, но не следовало винить в том одну лишь злую судьбу. Как и всем, новая власть дала ему землю, выделили ему и мерина из конфискованных у местных кулаков лошадей. Но Сафар оказался никудышным хозяином. Землю свою он вспахал, но почему-то она вся заросла бурьяном. С такого поля ждать урожая было нечего. Даже сена Сафар не удосужился заготовить, и на вторую зиму мерина пришлось забить.

Одним из первых Сафар вступил в колхоз, но и тут не проявил своего рвения.

Едва только солнце начинало клониться к закату, Сафар натягивал набекрень свою старую, изношенную шапочку и шел в ныгыш¹, где в это время сидели обычно лишь старики. «Послушай, Сафар, твой отец был настоящим джигитом не только в бою, но и в работе. Отчего же ты чуть ли не с полдня протаптываешь тропу в ныгыш, вместо того чтобы трудиться в колхозе? Или ты не сын своего отца?» — говорил ему кто-нибудь из стариков, покачивая головой. Но Сафар лишь отшучивался. Что-что,

¹ Ныгыш — место, где в часы досуга собираются горцы, чтобы побеседовать, поделиться новостями.

а язык у него был подвешен хорошо, и за острым словцом в карман он не лез. Его частенько разыгрывали, но и он не оставался в долгу.

Сафар любил при всяком удобном случае напоминать о заслугах своего отца. При этом нередко по его словам выходило так, что сам он был у отца чуть ли не первым помощником, хотя этого, конечно, никак не могло быть, потому что Сафар был тогда еще слишком мал. Односельчане знали это и лишь посмеивались над незадачливым парнем. «Несерьезный человек»,— говорили о нем без злобы и с сожалением.

Видимо, Сафар и впрямь был таким в том, что касалось житейских забот и труда. Быть может, ему не на пользу пошла слава отца, может, он считал, что сыну такого человека все должно идти в руки само?.. Кто знает. Но, как бы то ни было, все это не мешало Сафару быть искренне озабоченным делами в колхозе. Он выступал чуть ли не на каждом собрании, указывал на недостатки, и нередко справедливо. Но к нему не прислушивались, потому что не принимали всерьез. И это обижало и даже озлобляло его...

В последнее время Сафар стал утверждать, что причина всех неполадок в колхозе — председатель Шамсудин. Он был убежден, что это — «замаскировавшийся враг». А так как односельчане не прислушивались к его мнению, Сафар стал писать в окружком.

Когда есть убеждение, факты находятся легко, и Сафар, вспоминая, например, как он еще мальчишкой три дня помогал своему соседу Шамсудину убирать сено, писал: «...Я сам жестоко пострадал от него... Испытавший вкус плодов чужого труда, не может забыть его...» Сафар считал, что председатель покровительствует родственникам, делит людей на «своих» и «чужих». А сколько раз он был свидетелем того, как мирно беседует Шамсудин с женами раскулаченных. Что могло быть между ними общего? И еще ему доподлинно известно, что Шамсудин вступился за семью своего раскулаченного соседа, не дал конфисковать его дом и имущество под предлогом, что у того много детей. Видимо, сказывается происхождение председателя: он ведь из знатных.

Но неужели они должны оставаться в той же силе, что и прежде? Не для того мы бились за Советскую власть, не для того погиб его отец...

Искренне хотелось Сафару вывести на чистую воду этого человека.

И вот назначили общее колхозное собрание. По аулу разнесся слух, что Шамсудина будут снимать...

Идя на собрание, Сафар не надеялся, что председателем выберут его. Хотя... почему бы и нет? Сын комиссара, погибшего за Советскую власть, сам сознательный колхозник, грамоту знает... Разве не подходит он по всем статьям на этот пост? Но нет, не любят его в ауле. Кто захочет, чтобы ему выпал такой почет?

Размышляя так, Сафар подходил к пыгышу, где сидел и толпился народ, ожидавший начала собрания.

— Эй, Фитиль! — окликнул его тонкий, писклявый голос. — И ты идешь решать колхозные дела? Там работники собираются. Иди лучше сюда: твоя работа — в пыгыше!

«Гартма боюн» — «Фитиль» — так прозвали Сафара за длинную тонкую шею. А обладателем писклявого женского голоса был Таусо — толстяк с круглым полным лицом. Несоответствие этого лица и голоса всегда вызывало у людей, даже давным-давно знающих Таусо, невольную улыбку.

«Ну вот, — подумал Сафар, — разве окажут мне уважение подобные люди?» Однако виду не подал.

— Кто это говорит? — без промедления откликнулся он. — Дразнил волк овцу волосатой! Ты-то много ли сделал добра для колхоза? Сам привязан к этому месту, как корова к жормушке!

Сидящие в пыгыше дружным смехом поддержали Сафара, потому что он попал богатею Таусо не в бровь, а в глаз. Не смеялся лишь сам Сафар и еще один маленький, весь заросший щетиною мужчина, отличавшийся необыкновенным тугодумием. Лишь когда весь пыгыш отсмеялся, он подергал себя за бороду и начал давиться бесшумным смехом. Сафар не мог не воспользоваться таким случаем.

— Смотрите, — воскликнул он, — глухая овца шарахается после всей отары! Я уж забыл, что сказал, а он только опомнился! — И снова его наградили всеобщим смехом...

Собрание открыл секретарь партийной ячейки Край. Высоченный, с длинными вислыми усами, он поднялся из-за стола президиума, за которым сидел рядом с пред-

седателем сельсовета Аубекиром и каким-то незнакомым, одетым по-городскому мужчиной, и пробасил своим глухим низким голосом:

— Колхозники! Ревизионная комиссия проверила работу нашего председателя Шамсудина и обнаружила у него немало промахов. Мы не считаем Шамсудина классовым врагом, как доказывают некоторые, — взгляд Края нашел в толпе Сафара и на мгновение задержался на нем. — Ошибаться — еще не значит заниматься вредительством. Не следует перегибать. Но может ли Шамсудин оставаться во главе хозяйства? Вам решать. Просим выступить, — и Край сел.

Одним из первых взял слово Сафар.

— Жамауат¹, я думаю — нельзя больше ходить в председателях Шамсудину, — начал он. — Доверять наше общее хозяйство сыну Даута Шамсудину — все равно что доверить волку отару! Какой из него руководитель колхоза, если он недостоин быть даже рядовым его членом? Прохожу как-то мимо его двора, смотрю — две коровы, телята, овец с десяток, кур — не пересчитать! А сколько голов скота он скрывает?.. Не можем мы доверять дело, за которое сложили головы наши отцы и братья, тем, кто не боролся и не пострадал за него! — ловысил голос Сафар, тыча пальцем в сторону опустившего голову председателя. — Где это видано, чтобы человек из знатных стоял не за них, а за батраков? Новая жизнь — для беднейших. Нашим руководителем должен быть свой человек...

— Пускай остается Шамсудин. Нам лучшего не надо!

— Худого слова от него не слышали!

— Говори, говори, Сафар, не слунай их! Называй своего человека!

— Кто это такой?

— Себя прочит!

— Молодой еще!

— Чтоб мы его похоронили! Разве может он быть лучше нашего Шамсудина?! — В мужской хор влился женский голос.

Сафара сильно обидели последние выкрики. Понятно, конечно: родственники, сторонники председателя... Он махнул рукой и с перекошенным от гнева и обиды лицом пошел на свое место.

¹ Жамауат — мир, сходка.

Выступление Сафара раскололо собравшихся на несколько групп. Забыв, зачем явились сюда, люди начали перебрасываться обидными словами, хуля один род и восхваляя другой. Каждая родственная ветвь старалась выдвинуть своего кандидата, перечисляя особые достоинства и заслуги своего рода перед Советской властью...

Снова поднялся секретарь партячейки Край.

— Товарищи, — гулким басом крикнул он. — Мы собрались не для того, чтобы выяснять знатность той или иной фамилии! Советская власть положила конец родовым распрям. Она ценит человека не за его происхождение! Это болезни прошлого. Власть Советов принесла нам равенство, породила всех бедняков. А вы ворошите старое... — Край, покусывая кончик длинного уса, смотрел на утихавшую толпу. — Какой толк в ваших спорах? Хотите высказаться по делу — выходите сюда!

Вышел старый Эйпалук. У него — своя цель, свои надежды. Пусть председателем станет человек, подобный Сафару...

— Послушайте, уважаемые! — начал он. — Напрасно здесь некоторые хотели унижить Сарыева. Вот наш Край сказал, спасибо ему, — не следует вдыхать жизнь в давно похороненное. Верные слова! Пора, пора быть выше этого. И откуда такие споры идут, ума не приложу... А Сафар, я вам скажу, — лучший из лучших. Такого председателя поискать! всю жизнь батрачил, нищета душила... А кто не знал его отца, почтенные? Сын такого человека... Что молод — не беда. У нынешней молодежи и нам, старикам, не грех поучиться. По мне, так только Сафар и должен...

— Нашел организатора! — перебил кто-то.

— Оставь, зачем тебе это? — шепнул крикнувшему сосед. — Пусть хоть ослу Сафара должность дадут.

— Разрешите мне сказать, — попросил Шарау. — Я вижу, охотников говорить про Сарыева найдется много. Только зачем это? — Не привыкший выступать Шарау от волнения мям в руках свою белую войлочную пляпу. — Серьезное дело решаем. Если уж будем снимать Шамсудипа — давайте выберем толкового человека...

— А по-твоему, Сафар — дурак?! — выкрикнул Эйпалук.

— Шарау на него зол! — поддержал Эйпалука кто-то.

— Тебя девушка обижает, на ней и срываешь свое зло.

а не на нашем парне! — подхватила одна из снох Сарыевых.

Шарау покраснел, но продолжал:

— Нет у меня на него зла. И не говорю я, что Сафар — дурак.

— Тогда в чем дело?

— А в том, что не хозяйственный он человек. Какой из него руководитель, когда сам работать не любит? Многие жили в пицете, но разве каждому можно доверить такое ответственное дело?.. Я, может, не прав, но говорю, что на душе...

— Оллахий, прав Шарау!

— Не слушайте его, завидует Сафару!

— Сафар себя покажет!

За Сафара подавали голоса немногие, в основном стоявшие рядом с ним родственники, — так показалось Наибхан. Большинство же людей молчало, переступая с ноги на ногу, переглядываясь между собою.

И тогда шоднялся приезжий из города — представитель окружка Камиль. Выждав, пока установится полная тишина, он заговорил:

— А по-моему, Сарыев — стоящая кандидатура. Очень верно он тут говорил: руководить колхозом должен человек с безупречным социальным происхождением, с верным классовым чутьем. У товарища Сарыева такое чутье есть. И отпа его мы знаем... Я думаю, окружком поддержит выдвижение Сарыева.

Край в недоумении и растерянности смотрел на Камиль. Что же он делает? Ведь у них была другая кандидатура. Запесло Камиль, опрометчиво поступил: ведь не знает местные кадры... Но как теперь быть? Встать и заявить, что Сарыев не годится на пост председателя, Край не решался. Как выступить при всем народе против представителя окружка?.. Скажут: не могут большевики даже между собой договориться... У них, членов партии, должно быть единое мнение... А почему Сафар не годится? Неужели так уж он плох?.. Сын его боевого товарища, красного комиссара... Край чувствовал сейчас свою вину перед Сафаром, перед памятью его отца. Как он мог упустить этого парня? Совсем забыл о нем в повседневной горячке, занятый всякими неотложными делами... Но разве есть дело важнее этого — помочь человеку стать на ноги? Должен же Сафар хоть в чем-то, хоть малость быть

похожим на своего отца. А если пока не похож, надо помочь ему стать достойным наследником. Махнуть рукой на человека куда легче, чем бороться за него. Не оставим одного, поможем, поправим в случае чего,— подбадривал себя Край. Если он не в силах помочь таким, как Сафар, достойно служить новой жизни,— какой же он тогда доверенный партии, зачем его избрали секретарем партийки?..

Все это в одно мгновение пронеслось в голове Края. Он посмотрел на притихших после слов Камилы людей, на их вопросительные лица и поднялся.

— Пусть будет так, товарищи,— сказал он негромко, но твердо. И, опустив тяжелый кулак на стол, в полный голос добавил: — Быть Сарьеву хорошим председателем или уйти ему с позором — от вас зависит. Все в наших руках.

...Так Сафар стал председателем колхоза. Кто бы мог подумать!

4

Что бы там ни думали Наибхан и Шарау, а молва после этого собрания все теснее связывала Наибхан с Сафаром.

Сафар сильно изменился с того дня. Теперь он даже не показывается в ныгыше, проводя почти все время в правлении. Куда девалось и его балагурство, его шуточки, которыми он готов был задеть любого. Да и с ним никто не решается теперь затеять легкую беседу... Внешне Сафар тоже преобразился: на нем короткая кожаная тужурка, галифе из темно-синего диагоналя; когда он идет по улице, издали слышен скрип его новых сапог. Изменилось и отношение к Сафару. Завидев председателя, многие выходят из своих домов ему навстречу, приветствуют первыми, почтительно пожимая обеими руками его руку. А женщины, теребящие на солнечном пригреве пряжу, привстав, провожают его взглядами...

И как только он удаляется, от двора ко двору летит:

— Э, женщина, ты заметила, как он смотрел на окно Наибхан? Глаз не отрывал!

— Эх, видно, съест тебе что-то вкусное раньше меня! Я ведь о том же думала, да ты опередила...

— Говорят, скоро женится на ней. Вчера дочь привезла такую весть.

— Захочет ли она?

— О чем ты говоришь? Нашим бы дочерям повезло так — выйти за председателя. Да ей любая девушка позавидует!

— Он председатель, а Наибхан — комсомолка, чем ему уступает? И собой хороша...

Словом, весть о том, что Сафар Сарыев женится на Наибхан Ачеевой не распространилась бы по аулу быстрее, если б даже о ней прокричали с минарета. Всюду судачили о предстоящей женитьбе председателя, о том, какое счастье ему выпало, сочувствовали Шару и осуждали безвинную Наибхан.

— Конечно, выйти за председателя куда выгодней, чем за простого чабана! — начинала какая-нибудь кулушка.

— Твоя правда! Яблочко от яблони недалеко упало. Помнится, мать ее, Зурум, тоже любила одного, а выскочила за другого, — подхватывала словоохотливая соседка...

С каждым днем люди все больше верили в слух, который сами же породили и пустили гулять по аулу. Каждый поступок девушки, каждое ее движение пропускали будто через сито, приписывая ей то, чего Наибхан не только не делала, но о чем даже не помышляла.

«Вон как смотрит на дом Сафара. Видно, соскучилась», — говорили одни, глядя на идущую по улице Наибхан.

«А все же стыдно ей: головы не может поднять», — замечали в то же самое время другие.

Судачили не только те, которые недолюбливали девушку за прямоту. Даже многие подруги как-то отошли от нее, уже не делились, как прежде, своими девичьими секретами и заботами. Одни завидовали Наибхан, которой так здорово повезло. Другие не хотели попадаться на глаза парням с девушкой на выданье: это могло развеять утешительную мысль, будто их не сватают только потому, что они еще слишком малы...

И вот в один прекрасный день люди увидели, как во двор Ачеевых вошли двое мужчин и женщина, считавшиеся в ауле мастерами по части сватовства.

Заметила это и соседка Тегиевых Буккаш — и тотчас юркнула к ним во двор: «вспомнила», что надо бы разжиться жаром для очага...

У Буккаш была единственная дочь, и она очень хотела сделать своим зятем Шарау. Почему бы и нет? Дочь у нее видная, мастерица на все руки, и приданое неплохое, получше, чем у других. Не успеют люди глазом моргнуть — поставит Буккаш их семью на поги, любой позавидует. Опять же муж у Буккаш, бедняга, совсем из сил выбивается без помощника. А парень хорошим помощником будет. И родни у Шарау, считай, вовсе нет — некому будет вмешиваться в их с дочерью семейные дела. Гелля, мать его, уже стара... Нет, как ни поверни — славный был бы зять Шарау...

Но заветным мечтам Буккаш преградила дорогу Наибхан. Прокляни ее аллах! Вроде уже стал Шарау поглядывать на дочку Буккаш, а тут эта... Чтоб ей белого света не видать! Начала преследовать парня, будто черный джинн: где он ни появится, там и она выходит! Беда, если женщина попадет на след мужчины!.. И что же? Позарилась свинья на жемчужину в море, да и ушла во-своеси! Присупила парня, а сама... И ее дочку ни с чем оставила.

Буккаш сравнивала свою дочь с Наибхан и никак не находила, чем ее кровная хуже. Почему же тогда Шарау выбрал ту? Горе неразборчивому! — думала она. Но главное зло Буккаш все же видела в Наибхан — из-за этой вороны перестал Шарау смотреть на ее дочь. Ну, пусть теперь узнает, какова эта Наибхан. И Гелля тоже.. Еще раньше, заводя разговоры с матерью Шарау, Буккаш не раз старалась словно невзначай как-то задеть, очернить Наибхан, но Гелля ее не поддерживала. Что ж, хорошо, так ей теперь и надо. Аллах свидетель: с ее сыном обошлись, как с подзаборным псом! Но, может быть, теперь-то Шарау отвернется наконец от Наибхан?..

Когда Буккаш вошла в дом, Шарау сидел на кушетке и ел кукурузный чурек, запивая песбитым айраном.

— С возвращением тебя, — кивнула ему Буккаш. Она села на подушку, которую Гелля бросила на кошму, сняла с головы цветастый платок с бахромой, открыв грязно-белую косынку, которой были повязаны волосы. Концы косынки торчали спереди, как собачьи уши.

— Лучше бы мне глаз лишиться, чем увидеть такое дело, — тяжело вздохнула Буккаш.

— Какое дело, соседка? — насторожился Шарая, перестав жевать.

— Э, молодец, с тебя на тое шубу сняли, а ты и не заметил?! Отбил у тебя длинношей председатель невесту! Сейчас послал к дочери Ачея сватов. Разве не знаете? Я как увидела, что они к ним прошли, сердце так и зашло. Будто на мою голову беда свалилась...

Настушила тишина — только слышно было, как Шарая быстро-быстро хлебает айран, забыв про чурек.

Наконец молчание нарушила Гелля.

— Что ты так печалишься, соседка? — заговорила она. — Да не будет в наших семьях большего горя! Мой сын не просил ее руки, сватов не посылал. И почему люди толкуют, будто Наибхан его обманула? Мы и не думали свататься. Правда, выросли они, считай, в одном дворе. И я Наибхан полюбила, как родную. Доведись ей стать моей снохою — была бы рада. А нет так нет — не станем убиваться, переживем. Разве мало других девушек?

— Я всегда говорила, что Наибхан не пара твоему сыну! — подхватила Буккаш. — Это про таких, как она, сказано: «Худая девушка не разбирает, где ей быть снохой». А ты ее все защищала, да еще как старалась, — будто кошку в огонь тянула!

— Поверь, не вижу я за Наибхан никакой вины, — спокойно отвечала Гелля. — Девушку сватают многие — жепится один, такова уж ее судьба. Пусть выходит за Сафара, пошли ей аллах счастья.

Шарая, молчавший все это время, так же молча поднялся и вышел на улицу. Оседлал лошадь, вывел ее за ворота. «Зачем я это делаю?» — подумалось вдруг ему. Он и сам не знал, зачем...

Впереди на улице показался Сафар. «Не сидится ему на месте, спешит узнать приятную весть», — с горечью подумал Шарая. Посмотрел на дом Наибхан — во дворе никого нет, из трубы валит густой черный дым. «Видно, по душе пришлись сваты, если в такое время разожгли очаг...» Шарая представил Зурум, хлопочущую, как бы получше угостить пришедших, Наибхан, спрятавшуюся в другой комнате, зардевшуюся от смущения и радости... И, заставив себя поверить в это, он вскочил на лошадь, вытянул ее кнутом, одновременно сжав бока затвердевши-

ми чабурами. Лошадь резко рванулась, чуть не встав на дыбы, и пустилась вскачь.

Шарау пролетел мимо Сафара. Тот глянул ему вслед, но ничего не увидел, кроме вздыбленной пыли, в которой гас удаляющийся частый цокот копыт.

5

Сафару и в самом деле не терпелось поскорее узнать результаты переговоров. Но сваты не спешили...

Когда они вошли, Зурум творила намаз и не стала нарушать молитву, чтобы приветствовать гостей. Оба мужчины присели у порога, не желая мешать ей. Женщина — ее звали Жаухарат — приходилась родней и Ачевым, и Сарыевым. Как бы подчеркивая свою родственную связь, она осторожно обошла Зурум, обняла за плечи Наибхан и, что-то шепча ей, увела в другую комнату.

Один из мужчин — Эйналук, тот самый, который так хотел, чтобы Сафар стал председателем. Ему за шестьдесят, но старик еще крепок, сухощав, с румянцем на щеках, седины в бороде почти незаметно... Одет добротню: черные ичиги с новыми галошами, добротная черкеска с рядом белых газырей и серебряным поясом; откиннутые полы черкески открывают галифе из дорогого сукна...

Эйналук, отставив свою палку, вытащил из внутреннего нагрудного кармана черкески часы на серебряной цепочке, посмотрел на циферблат. Затем убрал часы, снова взял палку, сцепил поверх нее руки и, опершись на них подбородком, задумался...

Другой сват — Курман. Он родился самое большее года за два-три до Сафара, но уже давно женат и вообще несколько поизношен, отчего и кажется гораздо старше своих лет.

Курман сидел у самой двери и от печего делать уже во второй раз внимательно изучал комнату. Ничего не скажешь, комната просторная... Но освещена плохо: окошко с перекосившейся рамой слишком мало и низко. В углу напротив окна вместительный очаг, к которому тянется с потолка покрытая толстым слоем сажи цепь. В очаге тлеют березовые поленья и стоит казан, из которого курится легкий парок. Курман все силился определить по запаху, что варится в казане. Когда же наконец

уловил, то выругался про себя: «Провалиться этим проклятым бабам, только и знают, что возятся с шерстью!» Однако, заметив рядом прикрытую сковороду, он повеселел: «Похоже, чуреки на жару пекутся!» Эх, хорош горячий кукурузный чурек с маслом... Да и с густым айраном недурен! Потом Курман увидел висящий на стене рядом с очагом сушеный бараний бок. Долго ли приготовить из него пашлычок? Стоит только пожелать! Не может быть, чтобы Зурум проводила их, не угостив...

Сладкие мечты Курмана были прерваны шорохом старой козлиной шкуры, на которой молилась Зурум: она поднималась, заворачивая шкуру и все еще шепча про себя.

— Да принесете вы добро! — наконец обратилась она к гостям. — Что привело вас в наш бедный дом? — спрашивала она, пожимая им руки. — Ай, как неудобно вы сидите... Дочь, не стыдно ли тебе, не могла усадить гостей!.. Где ты?

Наибхан обрадовалась зову матери. Она давно уже искала повода, чтобы выйти из комнаты, куда увлекла ее Жаухарат. Едва только гости появились на пороге, девушка сразу догадалась, зачем они пожаловали. Да и Жаухарат, пока мать молилась, все уши прожужжала. Подумать только! Она его всерьез и не принимала, а он сватов осмелился прислать!.. Вот назло им выйдет в ту комнату. С чем пришли, с тем и уйдут...

И она вышла, как только услышала материнский оклик. Но и торчать без дела в комнате, где гости, тоже неловко. Жаухарат, и тут оказавшись рядом, незаметно наступала ей на ногу, но Наибхан сделала вид, что не понимает ее. Прошла к очагу, заглянула в казан, как будто ее больше всего интересовало сейчас, как выкрасилась шерсть...

Курман не мог оторвать глаз от ее стройной фигуры, точеных ног. Как он завидовал Сафару, что такая девушка станет его женой! Лицо, словно белый снег, косы черные, как смола... Одета небогато, но как облегает ее тело это старенькое платье... Ну и хитрец Сафар, какую выbral!.. А чем он лучше Курмана?

У Курмана жена пизенькая, толстая, и лицом не удалась... Всякий раз, когда кто-нибудь в ауле женился на красивой девушке, Курман с новой силой разочаровывался в своей жене. Проходило какое-то время, разочарова-

ние немного притулялось, все вроде бы входило в свою колею — но только до очередной свадьбы товарища. Теперь вот Сафар женится на красавице, а Курману одно только осталось — любоваться издали... И зачем он так рано женился? Правду говорят: дурак всегда свой кусок первым проглотит. Потерял бы немного — может, не Сафар сейчас ожидал бы его, а он Сафара с радостной вестью. А, пусть бы она отказала Сафару! Если уж ему не досталась красивая, так чтобы и сыну Сары не досталась!..

Курману вообще не хотелось бы, чтоб девушки выходили замуж, а парни женились. Но что с ними поделаешь!.. И всякий раз, когда случалась свадьба, это было ему как нож острый. Эх, такая красивая жизнь началась, надо бы, чтоб и жена была ей под стать!..

Зурум не нравилось, что дочь задержалась в комнате со сватами. Не подобает так... Сделав вид, что тоже интересуется шерстью, она подошла к Наибхан и потихоньку ушибнула ее. Но та и не подумала удалиться.

— Дочь, надо же угостить гостей! Что же ты стоишь? Просей муку, а я приготовлю сыру для теста, — пашла выход Зурум: пусть думают, что Наибхан задерживается по делу.

— Сестра моя, не хлопочи. Спасибо. Лучше садись-ка вот сюда, — запротестовал Эйналулук. — А ты, дочь, — обратился он к Наибхан, — займись пока другим делом. — Эйналулук повел глазами и бровью, давая понять, что Наибхан здесь лишняя.

Он вытащил четки и стал теревить их, будто собираясь с мыслями. Курман и Жаухарат, тоже приняв озабоченный вид, выжидающе смотрели на него. А он не торопился. Многозначительно молчал, поглаживая бороду, концом палки аккуратно задвинул под кровать клочок шерсти... «Каков замах, таков и удар, — думал Эйналулук. — Как бы начать повнушительней...»

— Зурум, сестра моя, мы не будем говорить с тобой о том, чего ты не знаешь или не слышала...

— Нет, нет, ничего я не слышала.

— Так вот, я не люблю говорить попусту. Доброе слово подобно живительной влаге, но избыток дождя только вредит земле. — Эйналулук перевел дыхание. — С помощью аллаха и твоими заботами дочь твоя выросла, вытянулась, словно тополь. Но и наш, сама знаешь, не из по-

следних, во главе народа ходит. Оллахий, могу поклясться: твоя дочь мне не меньше дорога, чем Сафар. И родственникам нашим она давно по душе. Теперь они хотели бы делить с вашими горе и радость, хлеб и соль. Думают, что и ты не побрезгуешь... Вот почему я здесь. Парня ты хорошо знаешь, подумай, возьми все в расчет — и скажи свое слово, — Эйналуку замолчал.

Зурум не слыхала раньше, чтобы Эйналуку с Сафаром были в родстве. Но в том ли дело... Она медлила с ответом. Как быть? Вот ведь какие люди: сам же еще недавно хулил сына Сары, а теперь говорит, что лучше его нету!.. Неужели стал умнее, оттого что выбрали председателем?.. Да и что сейчас председатель! Сколько их уже сменилось. Или согласиться? Может, прав Эйналуку: впереди народа ходит Сафар, и что будет дальше — одному аллаху ведомо. Вдруг случится по пословице: прорезавшиеся позже рога тверже ушей, появившихся первыми... Припомнит, если откажешь. Последней коровы может лишить... Как же быть? Товба, не знаю...

— Спасибо, Эйналуку, — сказала наконец Зурум. — Знаю, ты никому не желал зла. Если ваши не брезгуют породниться с нами, я и подавно не против. Однако что от меня зависит? У нас много родственников, нельзя идти на такое дело, не посоветовавшись с ними.

— Понимаю тебя, сестра моя. Знаю, что тебя удерживает, — словно бы не расслышал ее Эйналуку. — Признаться, и мне раньше в Сафаре кое-что не нравилось. Так ведь это по молодости у него было. А кто из нас становится мудрецом, едва выйдя из пеленок? Теперь он совсем не такой, какого мы знали. К тому же следует помнить: тот, кто ищет друга без изъяна, вовсе остается без друзей.

— Нет, нет, Эйналуку. Не в парне дело, — говорила Зурум, а сама думала: «Чтоб ты ослеп, будто не знаю твоего длинношеего!» — Хорошо ты сказал, умным словам цены нет, — продолжала она. — Но говорю же, есть у нас родственники, друзья... Посоветуюсь с ними. Как они — так и я.

Эйналуку задумался. Не нравился ему такой оборот. Что он скажет этому бродяге Сафару? Зря поспешил похвастаться, что уговорит... «Чтоб все эти Сарыевы да Ачевы сгорели в собственных домах!» — ругался про себя старик. И все же ему очень хотелось угодить председателю.

лю. Сафар, конечно, такую услугу не забудет... Нет, нет, он должен уломать эту сычуху...

— Зурум, сестра моя,— сказал Эйналук.— Ты права, посоветуйся. Но помни: все будут тянуть в разные стороны. У наших детей есть и друзья, и враги, учти это. Испортишь дело, прислушавшись к разным толкам,— пожалеешь. Оллахий, говорю, пожалеешь, да поздно будет. И твои советчики потом пожалеют вместе с тобой... Плюнешь мне в бороду, если не случится так. Много находится охотников указать дорогу, после того как воз перевернется!.. Подумай сама, сестра, положиись на свою мудрость...

Эйналук ругал себя. Как он мог забыть, что Зурум и в самом деле не так проста и не даст обвести себя вокруг пальца! Вон как разговаривает: еле губы разжимает. От такой добра не жди. Ясное дело, цену набивает. Надо было думать, что с первого раза не удастся... Что ж, придется прийти вторично, ноги не отсохнут. А сейчас лучше мирно прервать переговоры. Кто знает, начнешь настаивать — она всякой надежды лишит... Надо уйти с честью.

— Зурум,— сказал он, поднимаясь,— ты своим умом никогда не уступала мужчинам. Верю, что и теперь не поступишь опрометчиво. Нелегко, конечно, выдать свое кровное дитя даже за самого хорошего парня. («Как же, хороший! Осчастливит он твою Наибхан!») Ясно, дочь твоя, и решать — дело твое.— Эйналук, отводя взгляд, по обычаю сказал Зурум еще несколько лестных слов и принялся прощаться.

— Подождали бы немного, угощение готовится,— для приличия предложила Зурум незванным гостям.

— Нет, нет, не утруждай себя, мы пойдем. Да будет мир между нами,— и сваты направились к выходу.

6

Когда они вышли на улицу, Эйналуку показалось, что уже совсем стемпело, даже соседних домов не видно. Он обрадовался: можно уйти незаметным. Увидят — пойдут разговоры... Не так давно за человека Сафара не считал, а теперь у него на побегушках... На что только не толкает почтенного человека эта проклятая жизнь! Не приведи аллах, чтобы кто-нибудь встретился сейчас. Начнут рас-

спрашивать... А что оказать? То ли согласилась Зурум, то ли отказала... И это ему, Эйпалуку!..

Едва они прошли несколько шагов, как Эйпалук понял, что жестоко обманулся: ночь не так уж темна, как показалось вначале. Слишком долго просидел в комнате перед зажженной лампой, вот и показалось... Идущие по улицам, стоящие во дворах без труда могут опознать его... Эйпалуку представлялось, что никогда еще на улице не было так оживленно. Бродяги бездомные, что они все потеряли, сидели бы себе спокойно возле своих очагов! Будто нарочно ждали, когда он оттуда выйдет... Ишь, ненавистники черные. Разве дадут теперь эти злобные людишки Эйпалуку делать то, что он пожелает, говорить то, что думает, спокойно жить...

Чтобы не привлечь к себе внимания, Эйпалук старался даже не стучать своей палкой. Но вот еще люди па-встречу... Эйпалук метнулся на другую сторону улицы и прижался к низкой каменной ограде, укрываясь в ее тени. И вдруг над самым его ухом раздалось негромкое: «Гав!» На ограде сидел щенок, совсем еще кутенок. Видно, он сам перепугался и гавкнул-то всего один раз с перепугу. Но Эйпалуку на какой-то момент показалось, что над ним навис огромный пес, сейчас бросится на него, пачнет рвать... С криком «ир-рр!», каким отпугивают собак, он шархнулся от ограды, взмахнув палкой,— удар пришелся по камням, громом отдавшийся в ушах старика. Опомнившись, он огляделся: неужто кто заметил? Так и есть: эти, чтоб им всю жизнь бродягами оставаться, увидели.

— Ну, Эйпалук, и напугал же тебя щенок Казия! Чуть забор ты не свалил! — смеялся один из встречных.

А из двора послышалось:

— Да этому паршивцу на хвост наступишь — не залает, мал еще! Кто это его напугал так?

Эйпалук потемнел, как черный камень, и зашагал быстрее.

— Послушай,— обратился к нему Курман, который шел позади, давясь от смеха.— Тот, кто пробирается окольным путем, обязательно наткнется на беду. Этот щенок чуть тебя не разодрал!

Эйпалук хотел было оборвать его, сразить каким-нибудь упычтожающим словом, но ответ так и не нашелся. Он смолчал. Да и стоит ли связываться... Кто такой Кур-

ман, а кто он, Эйналук? Ничего общего! Взял с собой только потому, что тот доводится родственником Сафару. Что поделаешь, и лошадям приходится ходить по одной дороге с ослами... Правда, язык у него подвешен хорошо, в этом он, пожалуй, своему родственнику не уступит. Но почему же сегодня ни слова не промолвил в пользу председателя. Тоже, родственник, называется. Он, сын Оразая, раскинулся, из кожи вон лез, а этот хоть бы памекнул, зачем явился! Да, да, это он виноват, испортил дело... Тыфу на тебя, собачий сын!..

Эйналук уже не мог сдержать свою злость и выналил:

— Сколько ни посылай осла в Мекку, он не станет хаджи!¹ Как понять твоё сегодняшнее поведение? Сидел, словно барац, заваленный сеном. Не мог умного слова вымолвить — хоть бы заблеял, чтоб звать, жив ты или мертв! — Эйналук, довольный тем, как он уязвил Курмана, снова начал постукивать своей палкой.

Курман мог бы промолчать, простить ему эти слова. Как-никак старик ведь, а он, Курман, не из тех, кто не воздаёт уважения старшим. Но Эйналук явно позволил себе лишнее. И потом, пусть он не думает, что Курман глуше его. Ясно же, Эйналук старается для собственной выгоды, а не потому, что так хочет добра Сафару. Нет, этому старику нельзя давать спуску, пусть получит своё сполна.

— Послушай, Эйналук, — прервал Курман молчание. — Я-то знаю, почему молчал там: скотина помельче всегда уступает место более крупной! Ты говорил — я тебя не прерывал. Разве не пошито? А меша вот другое удивляет: как это Сафар послал тебя сватать ему девушку? Ведь это все равно, что украсить осла золотым седлом.

Эйналук поперхнулся, закашлялся в кулак. Приостановился.

— Ну, довольно, — сказал он миролюбиво, скрывая гнев. — Не понимаешь ты шуток, не уважаешь стариков. А нам с тобой еще надо сделать дело... Ты Сафару ничего пока не говори, я сам ему скажу... До свидания, мир с нами, — и старик капнул в темноту.

¹ Человек, совершивший «хадж», то есть паломничество в Мекку, считается святым — «хаджи».

После ухода сватов в доме Ачеевых повисла тягостная тишина. Будто беда пришла в дом... Ни мать, ни дочь не решались прервать молчание. Наибхан слышала из-за двери ответ матери сватам. Они придут снова... А Зурум понимала, конечно, что творится с дочерью...

Зурум теребила шерсть, Наибхан никогда не видела, чтобы пальцы ее двигались так торопливо и судорожно. И вовсе она не думает о шерсти: теребит все время один и тот же клочок...

Зурум подняла голову, посмотрела на дочь, потом перевела взгляд на старую овчинную шубу, висевшую в углу... «Будь он сейчас жив — не дожили бы мы до такого», — думала она, вспоминая погибшего в гражданскую войну мужа. Если б узнал он, кто пришел сватать его дочь, — в гробу перевернулся бы. Что только приходится терпеть! Вот уж верно сказано: не любила змея мяту, а та все возле ее норы вырастала... Ненавидел отец Наибхан подобных Эйпалуку, всю жизнь боролся с ними. А теперь посмотрел бы, как его враг сумел примазаться к жизни. Разве мог он подумать, что Эйпалук когда-нибудь переступит порог его дома, а не то что посватает дочь!

Зурум снова посмотрела на дочку: лицо бледное, на ресницах слезы... И старой стало не по себе, словно Наибхан уже увезли к Сафару. Она понимала, конечно, что силой ее не увезут, и все же черная печаль точила ее сердце. Сумеет ли она защитить дочь от посягательств Сафара? Что может вдова?.. Она не очень надеялась на родственников, боялась, что многие захотят задобрить председателя и станут на его сторону. Сломят мужчины ее волю, и горе тогда дочери... Но Зурум старалась не выдать себя.

— Не бойся, — подбодрила она Наибхан. — Не лежит к нему сердце — не позволю тебя обидеть, пока жива. — И снова замолчала.

Как она проклинала себя за то, что сразу же не выпроводила Эйпалука, оставила ему надежду, возможность прийти еще раз! Чтоб ее седую голову собаки отгрызли — не сумела защитить единственного ребенка...

Зурум задвинула сапетку с шерстью под кровать, вытерла руки о кожаный передник.

— Пойдем, посидим во дворе, — позвала она дочь.

Они присели на завалинку и обе украдкой друг от друга скосили взгляд в сторону двора Гелли. Как жалела сейчас Зурум, что была столь неприветлива с Шараяу и постаралась отвести его от дома... Сейчас Шараяу казался ей самым лучшим парнем. Никого другого не пожелала бы она дочери. Неужели он теперь отвернется от Наибхан?.. Зайти бы сейчас к ним и сказать прямо, что никогда не отдаст дочь за Сафаром... Но разве возможно такое? Об этом можно только подумать. Что скажут о ней, о ее дочери!.. Если б не эти сваты, Зурум нашла бы предлог зайти к Гелле. Поговорили бы о том о сем... Они всегда жили дружно, не видели друг от друга зла, делились хлебом-солью. Но сегодня Зурум не пойдет туда — сразу догадываются, зачем пришла. Нет, она не привыкла делать то, что не принято, не привыкла притворяться. Вот если бы сам парень пришел к ним — другое дело. Или Наибхан поговорила бы с ним, встретила бы случайно, — Зурум рада была бы. Но и на это теперь надежда плохая. Зурум хорошо известен нрав дочери. Она понимала, что теперь и Наибхан уже не сможет так свободно вести себя с Шараяу, как раньше... И в Шараяу тоже гордости хоть отбавляй. Уж теперь не покажет вида, будет притворяться, будто ему безразлично... А ведь любит! Ну зачем два любящих сердца так жестоко испытывают друг друга?.. Наибхан тоже хороша — ломается. Раньше еще простительно было, а теперь — пора бы открыться... Но как может мать сказать такое дочери? Язык не поворачивается...

— Дочь, что это за человек ходит по аулу? — спросила Зурум, чтобы только не молчать. Она хотела сказать «ходит с Сафаром», но не стала произносить этого имени.

— Представитель из окружка.

И тут они услышали, что во дворе Тегпевых открываются ворота, — это Шараяу выводил коня. «Узнай он, что мы здесь сидим, может, заговорил бы», — подумала Зурум. Она даже кашлянула несколько раз, чтобы обратить внимание Шараяу.

Но Шараяу и без того догадывался, что соседки рядом. Потому он и сделал то, чего не собирался делать, — вскочил на коня.

— Я поехал, доброй ночи, — услышали Зурум и Наибхан.

— Доброго пути, — раздался в ответ голос Гелли. — Скоро ли вернешься?

— Не знаю... Вряд ли скоро,—громче, чем нужно, сказал Шарау...

Потом послышался быстрый цокот копыт, лай встревоженных собак. Затем собаки враз замолчали, словно захлебнулись, и все затихло.

Наибхан, крепко сжав губы, смотрела в звездное небо. Какая-то неведомая сила вдруг метнула с одного его конца на другой пылающую звездную головню. На мгновение она рассекла небо пополам и исчезла где-то за горами, будто окунулась в воду...

8

Только вылетев за аул, Шарау придержал лошадь. Он понял, что поступил опрометчиво, погорячился, и ему стало стыдно самого себя. Куда его понесло на ночь глядя, какая надобность возвращаться сейчас в кош? Дома надо было сделать кое-что по хозяйству. Выполнить просьбы напарников с коша... Ничего не ушел, не сделал. Чабуры не захватил для товарища. Даже на себе белье не сменил. Как маленький... И все-то у него получается пекладно. Спускается с гор, чтобы только повидать девушку,— и возвращается, не сказав ей ни слова. Жить не может без нее, места не находит ни дома, ни в конюшне — и вот на тебе, седлает лошадь ни с того ни с сего, скачет куда-то... Только бы на него внимание обратили... А куда скакать? Не будешь же, как дурачок, гарцевать по аулу. Ясно, раз оседлал лошадь и соседи это видели,— надо уезжать в кош. Кто же без дела садится в седло? Но как только очутился за аулом, навалилась тоска... Уехал, ни слова ей не сказал... И возвращаться стыдно. Вот во что обходятся ему эти детские выходы... А ведь ему уже двадцать пять, не мальчик!..

Однако не случайно пришли к Тегиевым сваты: не поманишь — и собака не подойдет... Нет, нет, Наибхан не виновата... Но почему они оставались в их доме так долго? Если не о чем говорить, как зашли, так и вышли бы. Нет, они их пригрели... Какое им дело, что подумает Шарау... Ясно, примапывать не примапывала, но и отказать не захотела... Встретить бы ее сейчас и спросить: «Ну, как дела, председательская невеста?» И посмотреть, как ей это понравится...

Мог бы встретить, спросить утром... Не дождался утра, ускакал. Куда, зачем? Хотел показать, что ему, мол, все безразлично, наплевать на этих сватов. А теперь вот едет, проклятая себя... Вернуться бы, узнать, чем кончилось сватовство, поговорить в открытую с Наибхан...

Шарау несколько раз намеревался повернуть лошадь, но так и не решился. И лошадь, словно почуввав состояние седока, шла по хорошо знакомой дороге тихо, понуро опустив голову.

...Если б знать, что у нее на душе... Может, Наибхан вовсе не любит его? Конечно, куда простому пастуху против председателя... О нем она и думать забыла, как только увидела сватов, а перед Сафаром просто решила поломаться. Все может быть... И глуп же ты, Шарау, устроил представление. Сорвался, ускакал в кош... Что Наибхан, волосы на себе будет рвать? Как бы не так! Ну и ладно. Какое ему дело до того, что Наибхан выходит замуж? Пусть себе, у него — свои дела, свои заботы...

Шарау не заметил, как подъехал к речке, пересекавшей дорогу. Лошадь резко остановилась и вагнула голову к воде. Шарау показалось, что падает, он невольно схватился за лук седла. Очнувшись же и поняв, в чем дело, парень озлился на лошадь. «Ну ты, не сгоришь!» — крикнул он, натягивая поводья. Но тут же устыдился, отпустил поводья. Лошадь, прижав на одну ногу, снова начала пить, а седок, на минуту отвлекшись от своих мыслей, сразу услышал журчание речки, — как будто до этого она была скована чем-то, а сейчас неожиданно вырвалась. В глубине ее дрожал золотой серник месяца. Шарау посмотрел вверх. Месяц висел над ним, как раз в том месте, где обычно стоит в полдень солнце. Лунный свет озарял ущелье, по дороге, по которой ехал Шарау, оставалась черной — на нее падала тень от скалы, тоже черной, словно на нее набросили бурку.

Шарау смотрел в темноту, и печаль, такая же черная, как эта скала, все сильнее овладевала им, все острее чувствовал он свое одиночество. Да, одинок он, нет у него друзей, нет любимой... И что он делает здесь, какая злая сила зашвырнула его сюда, в эту темную, страшную теснину среди немых гор и голых скал?.. На миг ему стало страшно. Отчего это? Ведь раньше, проезжал ли он здесь днем или ночью, все радовало взор, веселило, окрыляло

душу. Почему же теперь ему так страшно и одиноко на этой знакомой до последнего камешка дороге?..

Мысли его снова вернулись к Наибхан. «Нет ее у меня, чужие мы теперь», — думал Шарау. Он уже не сомневался, что она станет женой Сафара. Но как его любимая, его красавица Наибхан могла остановить свой выбор на нем? Нет, она не виновата. Это все он, он! Воспользовался тем, что вышел в председатели... Ненавистный Сафар!

Шарау знал Сафара с детства. Вместе гоночили по льду юлы, играли в альчики. Но не только игры доставались на долю его сверстников. Ровесники Сафара в горячую летнюю и осеннюю пору вместе со взрослыми поднимались в горы, трудились наравне с ними. В это время в ауле почти не оставалось подростков. Однако это не смущало Сафара. Он не брезговал компанией босоногих малышей, выделяясь среди них, как двухгодовалый бычок среди летощных телят. Скакал с ними по улицам верхом на хвостине, вздымая тучи пыли... Или подходил, когда они играли в альчики, поджидал, пока кости поставят в круг, и когда ребята отходили, чтобы бросить саку¹, — хватал альчики и удирал домой. Не раз Шарау догонял и лупил его за это... Мог Сафар отнять у малыша и чурек или кусочек сыра, с которым тот приходил на игру...

Прошло время, но оно мало изменило Сафара. Как был он лентяем, так им и остался. Шарау помнит, как было, когда Советская власть дала беднякам участки земли под огороды и сенокос. Как воспрянули люди, как радостно трудились, зная, что трудятся для себя, что больше не придется просить у богатого соседа чашку кукурузного зерна, чурек из которого станет поперек горла, не надо будет умолять, чтобы нажали в батраки, не дали помереть с голоду... А что делал Сафар? Даже сепа не мог заготовить на зиму... И теперь этот человек стал во главе колхоза, будто он всех умнее и трудолюбивей. И жепится на Наибхан! А ты, Шарау, оставайся с носом и паси овец... Нет, нет, его вовсе не ужижает то, что он — простой пастух. Не чьих-нибудь овец пасет — колхозных. Но почему председатель у них Сафар, с какой стати?! Сколько в ауле умных, хозяйственных мужчин. Участники гражданской войны, бывшие партизаны... Сафар теперь утверждает,

¹ Сака — плоский камень, бита для игры в альчики.

что тоже был партизаном. Знает Шарау, какой он партизан. Винтовки в руках не держал. Несколько раз помог перегнать выючных ослов к партизанам — только и всего. Примазался к отцовской славе... И этот человек может теперь унижить его, отбив девушку? Что дало ему такую смелость? Только то, что стал председателем. Иначе никогда не посмел бы...

Шарау захотелось сейчас же вернуться и, как в детстве, избить Сафара. Он невольно сжал ногами бока лошади, та прибавила ходу... Да, да, эта должность досталась ему незаслуженно. Шарау знает, что Советская власть — власть бедняков, людей труда. Но если человек беден только потому, что предается лени? Как можно возвышать такого? Все в Шарау восставало против этого. Тот, кто не познал труда, не может вести за собой парод. Другой колхозу пужен председатель, не Сафар...

...Позволить ему жениться на любимой девушке, да еще выслушивать его наставления? Не слишком ли много для него?! Чего будет стоить тогда Шарау? Люди станут ему сочувствовать, жалеть... Нет, он не пуждается ни в чьей жалости!..

Так терзал себя Шарау, словно Наибхан и в самом деле уже вышла за председателя. Ему казалось, что не будет у него больше радостей, весь мир потускнел, все стало безразлично. Раньше, спускаясь с гор в аул, он летел словно на крыльях. А теперь зачем спешить туда? Нет ему пути назад! Шарау неожиданно ожег кнутом почти задремавшую лошадь, и она понеслась во весь мах, только ветер засвистел в ушах всадника.

9

На следующее утро после прихода сватов Наибхан проснулась с какой-то тяжестью на сердце. Вышла во двор, умылась ледяной водой из деревянного ведра. Отчего ей так не по себе? Оттого, что сватал Сафар? «Сватает — еще не жепится, — подбадривала себя Наибхан. — Стоит ли грустить?» Небо было голубое, безоблачное. На востоке из-за гор выглянуло солнце, и все вокруг заплемело. «Хороший будет день», — подумала Наибхан. Она сладко потянулась, тряхнула головой, перекинув свои длинные густые косы на спину. Повернулась в сторону

двора Шарау. Во дворе никого не видно, дом стоит тихий, словно пустой... Шарау уехал, и неизвестно, когда вернется... Но что до этого Наибхан? Он — словно птица, отбившаяся от своего гнезда... Что он вчера подумал? Кто знает. Уехал... Наверно, переживает... Ну и пусть! Пусть пострадает. Кто любит, тот должен и пострадать, иначе не бывает. Вернется, встретятся они — и все пройдет...

Убедив себя в этом, Наибхан окончательно повеселела.

А аул между тем просыпался. Из домов выходили люди, одни отправлялись по своим делам, другие хлопотали во дворах, задавали корм скоту.

— Эй, Хизир, у тебя как с сеном? — послышался голос из соседнего двора.

— Да есть еще, чуть меньше конны. Теперь март пройдет, и печего бояться, — донесся ответ другого соседа.

Он заметил Наибхан.

— Послушай, девушка, а ты хорошей снохой будешь: на заре успеваешь двор подмести!

— Порадуется мать Сафара! — подхватил Хизир.

Дальше Наибхан слушать не стала. Вошла в коровник, вывела корову, привязала к стойлу, подложила ей сена и начала доить. Хорошего ее построения как не бывало...

Когда Наибхан уже разожгла очаг и принялась кипятить молоко, во дворе послышались шаги.

— Наибхан, посмотри, кто-то идет, — Зурум, шитованная старый матрас с купетки, быстро прикрыла его одеялом.

Дверь отворилась, и вошла невысокая худая женщина, закутанная в большую иналь. Вошла и стала у порога...

Это была уборщица колхозной конторы Шаха. Она очень гордилась тем, что работает в конторе рядом с начальством. До того загордилась, что еле разговаривала с односельчанами.

Правда, услышав в правлении какую-нибудь новость, она тут же шла и выкладывала ее каждому встречному. Но постукала она так не потому, что стремилась сделать доброе дело. Ей хотелось, чтобы люди думали: и Шаха решает важные дела, надо ее почитать... Однако, несмотря на такое ее высокое положение, никто в ауле не принимал Шаху всерьез. Даже тогда, когда она, рассердившись на кого-нибудь, кричала, крепко сжав свой маленький кулачок: «Подожди, ты у меня еще попадешься, по-

сажу тебя в мешок!» Никто не боялся этой угрозы. Может, причина была в том, что Шаха сменино картавила?..

— Проходи, проходи, Шаха, добро пожаловать,— приветствовала ее Зурум.

— Спасибо, только не с ладостью я к вам пришла, потому и не смею пойти дальше,— Шаха шмыгнула носом.

— Что это значит? — От лица Зурум отхлынула кровь. «Чтоб тебя о землю ударило, сорока!»—пожелала она про себя.

— Подойди поближе, скажу.— Шаха приблизила свое маленькое личико к уху Зурум и что-то прошептала, поглядывая на Наибхан.

— А чего скрываешь это от дочери? — громко сказала Зурум.— И зачем она им понадобилась?..

— Не знаю, не знаю, я только из контолы, сказали, чтоб вызвала,— тараторила Шаха.

— Ладно, нечего пугать, не съедят же ее там! Что стоишь, присядь.

— Не могу, спешу, сегодня у нас работы много, соблазна будет...

Когда Шаха ушла, Зурум молча посмотрела на дочь. «Если б не была такой красивой, никто бы не приставал,— думала она.— Не к добру ее вызывают... Что ей делать в конторе? Нет, не дам запятнать ее честь! Власть в твоих руках, Сафар. Но пусть у меня отнимут имущество, скотину, дом—пропади все пронадом, не позволю обидеть единственного ребенка!» Зурум потуже затянула на поясе концы платка и незаметно положила под платок ножницы...

— Ну, доченька, от судьбы никуда не денешься, пойдем.

А Наибхан тоже было не по себе. Ей вдруг подумалось, что домой она больше не вернется. И Шарау не увидит... «Прощай, Шарау,— думала она.— Радуйся теперь: ты все избегал меня, а нынче, когда спустишься с гор, некому будет тебя преследовать. Никогда больше не встречу тебя с ведрами у реки, не посмотрю утром на твой двор... Радуйся, я ухожу, а девушек много, найдешь себе по душе. Но только я ради тебя вошла бы с закрытыми глазами даже в бушующий поток... А ты оставил меня в тяжелую минуту. Эх, ты... Не могу понять, гордость тебя одолела или ты испугался Сафара. Знать бы это...»

— Доченька, слышишь, доченька, — теребила ее Зурум. — Да ты и вправду испугалась? Пойдем, узнаем, что ему нужно...

— Не беспокойся, мама, я сама схожу.

— Клянусь именем твоего отца, не отпущу одну!

В конторе Наибхан и Зурум встретили председателя аулсовета Аубекир, секретарь партячейки Край и... Сафар.

Контора размещалась в доме, конфискованном у бия. В нем три комнаты: в одной аулсовет, в другой сидит Сафар, а в третьей — колхозный бухгалтер и счетоводы. Сейчас они были в комнате Совета. Наибхан осматривалась по сторонам. На стенах — три больших портрета: один Ленина, другой — Сталина, а третьего Наибхан не знала. Потом она потупилась, опустила взгляд на пол. Невольно отметила: пол недавно подметали мокрым веником, на нем еще видны мокрые круги...

— Ну, Аубекир, чего ждешь, скажи девушке, для чего ее вызвали, — сказал Край.

— Знаешь, зачем мы тебя вызвали... — начал Аубекир.

— Откуда мне знать? — перебила Наибхан.

— Видишь ли... Никак мы не могли подобрать секретаря аулсовета... Сама знаешь, грамотных людей у нас мало... Короче говоря, вот секретарь ячейки, — кивнул Аубекир в сторону Края, — предложил выдвинуть тебя на эту работу. Я не возражаю, и председатель твою кандидатуру поддерживает. Посоветовались мы втроем и решили, что кроме тебя — никому. — Аубекир наконец умолк и вытер со лба пот.

Наибхан и Зурум не верили своим ушам: разве могли они подумать, что так обернется дело! Зурум вспомнила о ножницах, которые лежали у нее за поясом... И тут же очнулась от растерянности, выступила вперед.

— Не приведи аллах случиться такому, даже если вы желаете! Она же еще дитя, вы шутите! И кто это видел, чтобы горячка работала в конторе, да еще рядом с мужчинами!..

Наибхан молчала, все еще ошеломленная услышанным.

— Не для того мы здесь собрались, чтобы шутить, — вступил в разговор Край. — Чего ты боишься? Не справится? Поможем! Она ведь грамотная. Кажется, четыре класса кончила? Вот видишь. Комсомолка. Справится! А в обиду ее не дадим, не беспокойся.

— Хочешь не хочешь, Наибхан, а работать надо,— решительно сказал Аубекир.— В колхозе ты трудилась хорошо. Теперь потрудись здесь. Завтра же с утра и приходи,— заключил он.

Ни Наибхан, ни Зурум уже не могли что-либо возразить.

А Сафар в продолжение всего этого разговора молчал, так и не проронил ни слова.

10

К вечеру того же дня в правлении колхоза сидели Сафар и представитель окружкома Камиль Гитчиев. Сидели молча в разных углах, занятые каждый своими мыслями.

Сафар, хотя перед этим разговор у них шел совсем не о том, думал о Наибхан. Он был не очень доволен тем, что Наибхан взяли на работу в аулсовет. Что подумают люди? Мало ли недоброжелателей... Скажут: не успел посвататься, а уже в начальство выдвигает. Никто ведь не знает, что это придумал Край, а он, Сафар, не посмел возражать секретарю партчейки, которого поддержал и председатель аулсовета.

Потом мысли Сафара обратились ко вчерашнему сватовству. Он до сих пор не мог отойти от обиды, что Зурум не дала своего согласия сразу. Ей бы радоваться, а она мнется, виляет: «Спрошу у родственников, подумаю». Старая ведьма. Но Сафара не проведешь, он не позволит посмеяться над собой... Разве не Сафар теперь впереди народа?

Эх, Сафар, как в сказке все получилось! Теперь надо держаться за эту должность. Надо показать себя, раз выдвинули. Правильно, пожалуй, говорил этот приезжий начальник: не быть ему председателем, если не прижмет как следует богатеев. Ну, сегодня на сходе посмотрит...

Председатель услышал голоса и взглянул в окно: уже начал собираться народ. Стоят, опершись на каменную ограду, беседуют, чему-то смеются... Наверняка опять этот Таусо или Туган судачат о нем... Ну да, вот Таусо произнес его имя... Все не могут успокоиться. Не могут простить, что Сафар выбран главой колхоза. Ну, он им покажет. Думают, можно смеяться над ним, как прежде... Сегодня на сходе надо так сказать, чтобы все ахнули. Вот

только бы пайти слова, которыми обычно пользуются начальники... Сафар мысленно поискал такие слова. «Ам-партушист» — вспомнилось ему. Он обрадовался. Ха, Сафар да не пойдет! А вот еще: «гуинядец»...

— Ну как, Сафар, подумал о том, что я сказал? — прервал молчание представитель окружка.

— Я думаю, не можем мы собрать тысячу шестьсот пудов зерна. Аул наш маленький, сам знаешь, богатых семей мало. Мы их обложили еще на тридцать голов крупного рогатого скота... Не знаю... Но пусть будет так, как ты говоришь. Приложим все силы.

— Значит, договорились. — Камиль подошел к Сафару. — Это ведь не для тебя и не для меня нужно — для хозяйства. Наш долг поставить его на ноги. И помни: не ты должен плестись за людьми, а они следовать за тобой... Только так мы можем повернуть их к колхозу. Мы должны с корнем ликвидировать единоличников!

Голоса за окном стали гуще и громче.

— Когда же пачинать будут? — крикнул кто-то.

— Спрятались, словно молодые невестки!

Шаха вытащила из конторы стол, накрыла его красным полотном. Как ни старалась она при этом сохранить строгий, озабоченный вид, лицо ее невольно расплывалось в улыбке — такое удовольствие доставляло ей это важное занятие на виду у всего народа.

— Шаха, когда сход откроешь?

— Сейчас, подождете, — отмахнулась она своим маленьким кулачком.

— Наверно, в «призидуме» сидеть будешь? — не отставали от нее.

— Больно надо! Будто не видела я этого стола! — бойко отбивалась Шаха.

Из конторы вышли Сафар, Камиль, Аубекир и Край.

— Начипайте, что ли! — раздалась выкрики.

— Кто это так спешит? Разве не слышали: торопливая муха попадет в молоко! — отвечал Сафар, окидывая с крыльца толпу острым взглядом.

Мужчины, несмотря на тепло, все пришли в лохматых папахах. Когда председатель заговорил, папахи перестали двигаться, застыли неподвижно. Сверху, с крыльца. Сафару казалось, что перед ним расстелили большую овечью шкуру...

Женщины стояли отдельно от мужчин. «Замерзли они, что ли, — подумал Сафар. — Наверно, на каждой по два-три платка». Позади всех на каменной изгороди устроились девушки. Сафар заметил Наибхан. Красивее всех... «Пускай мне усы сбреют, если упустишь!» — подумал он.

— Люди! — пачал Сафар и замолчал, словно прислушиваясь к своему голосу.

— А дальше?! — выкрикнул кто-то.

— Люди! Немного времени прошло с тех пор, как мы начали объединяться. Были у нас радости, были и огорчения... А теперь мы снова становимся на ноги. И никто уже не сможет затушить наш очаг. Но... вы знаете, пальцы на одной руке, и то неодинаковы. Так и наши односельчане. Большинство, конечно, на правильном пути, однако есть и такие, кто не прочь куснуть исподтишка. Знаем мы таких ампартунистов!

— Что это он говорит? — слышалось в парде.

— Никак бредит?

Сафар заметил ухмыляющиеся лица. «Смеются надо мной. Хотят, чтобы сбился...»

— Кто это там не может придержать язык? — крикнул он. — Вот таких мы и называем ампартунистами!

— Говори хоть правильно — «ошпортунисты»! — услышал он позади громкий шепот Камиля и на мгновение растерялся. «Вправду посмешищем стал, — мелькнула мысль. — Этот тоже, себя показывает...» Однако он продолжал:

— Из-за вашей болтовни мы не остановимся на полпути. Не думайте испугать нас. Мы не из пугливых! — Сафар выбросил перед собой руку. — Запомните: мы уничтожим ампартунистов и гупнядцев! Да, уничтожим! — Сафар услышал, что за его спиной, в президиуме, кто-то еле сдерживает смех, но не обратил внимания: — Люди! Не верьте таким! Они не доведут вас до добра!

— Не морочь голову, скажи, что падо? — не выдержал кто-то.

— Говорит, говорит, ноги уже не держат! — выкрикнули из толпы женщины.

— Нет добра от многословия и пустого желудка!

— Знаем, что ты поговорить любишь, да когда же дело скажешь?! — послышались со всех сторон возгласы потерявших терпение людей.

Сафар переждал их и сказал наконец:

— Спрашиваете, что нужно? Для меня — ничего! А колхозу нужны зерно и скот... Государству нужны!

Голоса взвились еще дружнее и громче:

— Как, опять?!

— Что за шутки?

— А нам с голоду помирать?

— Что это за колхоз, никак не может насытиться!

— И впрямь ненасытный!

Кто это кричит?.. Большинство собравшихся опустили головы. Сафар глянул на них, и что-то дрогнуло в нем... Ведь это все бедняки, такие же, как он. Вон Муса Чокаев. В чем только душа держится. Тощий, щеки ввалились. Шуба на нем вся заштопанная, латаная-перелатаная, запощенная до черноты. Кто в ауле живет беднее его? Детей полно дом — что он может дать?.. А рядом стоят такие же бедняки: Хажичик, Асхат, Тута. Стоят молча, понутив голову...

А там, откуда доносились недовольные выкрики, Сафар видел Таусо, Акия, Копу... Это все зажиточные, у них-то наверняка кое-что припрятано... Вот эти и есть ампартунисты! А тот же Муса... Понятно, отчего он и другие, которые только что шутили и смеялись, примолкли. Муса один из первых подал заявление в колхоз. Сам привел единственную корову и, когда собирали зерно, дал сколько мог. Но колхоз, который еще не встал на ноги, ничего ему пока не давал. Конечно, колхоз ему поможет, он поможет всем. Но чем будет жить Муса, пока не соберут урожай?.. Разве можно отнимать последний кусок у его детей?

Только сейчас дошло до Сафара, на какое дело он согласился. Напрасно пообещал он Камиллю собрать столько зерна и скотины... В селе сто тринадцать семей, вспоминал Сафар. Из них зажиточных и богатых тридцать. Так откуда же взять столько пудов зерна и столько голов крупного рогатого скота? Голову заморочил Камиль! Ведь если взять это все, туто придется таким, как Муса, ни с чем останутся... Нет, несправедливо это.

— Люди! — сказал Сафар после некоторого молчания. — Скоро сеять, сами знаете. Помогите сейчас колхозу...

— Дай сложить копешку для себя, а потом складывать стога соседу! — крикнул Таусо.

Сафар взглянул на него:

— Ты бы помалкивал, Таусо. Тебе же спокойней будет...

Толстые щеки Таусо вдруг словно опали, он умоляюще и спрятавшись за спину стоящего впереди.

— Понятно, сейчас нам нелегко,— продолжал Сафар. — Знаю, что мало у вас зерна. Но что делать? Не слушайте амбартунистов, гуниядцев и подкулачников! — Сафар опять посмотрел в сторону Таусо и его дружков. — Поверьте, односельчане: то, что отдадите колхозу сегодня, вернется к вам, увеличившись в десять раз!

— Сколько надо-то?

— С каждого будете брать одинаково или как?

— Скажи задание!

Сафар поднял руку.

— Тише, почтенные! Скажу. Все вместе должны дать... — он запнулся — ...дать девятьсот пудов. А кто сколько — скажите сейчас сами.

Сафар обернулся и посмотрел на Камилля, а тот посмотрел на него, приподняв бровь.

— Что это ты, председатель? О чем мы договаривались? Кто тебе дал право своевольничать? — спросил Камилль тихо, но с явным гневом. Сафар не ответил и молча сел на свое место. Ему стало не по себе. Сейчас, опомнившись, он и сам не понимал, как мог послушаться начальника.

— Кто хочет говорить? Есть такие? — Край поднялся, опираясь одной рукою о стол, а другой приглаживая усы. Казалось, он стеснялся своего роста: стоял, согнувшись коромыслом.

— Дозвольте сказать, уважаемые... — послышался топкий женский голос пробирающегося вперед Таусо. Он вышел к столу президиума, обернулся лицом к народу. — Братья, сестры! Нет пользы в многословии. Сколько бы ни твердили «халва», во рту не станет слаще! Говорят, лучшие наши мечты сбудутся в колхозе. Кто знает... Мы, бедняки, еще от шего...

— Это от бедности у тебя такое брюхо?! — крикнули ему.

— Чтоб твой живот провалился!

— Ох, и хитер пес!

— Тише! — Край стукнул рукой по столу. — Пусть скажет.

— Все мы равны, — продолжал не смутившийся Таусо. — И бедняки бедствуют, и зажиточные все потеряли... Вот я и хочу сказать: если в колхозе у нас у всех одинаковые права — почему бы тогда и не отдавать ему поровну? Разве я не прав?

— Как бы не так!

— Прав Таусо!

— Да разве поровну отдавали? Один две коровы отвел в колхоз, а другой только осла!

— А если у него нет ничего, кроме осла? Отдающий последнее щедрее всех!

— А ты что тут лаешь, будто нес на туман?! Помолчал бы.

— Сам молчи, провалиться тебе в пропасть!

— Тихо! — снова ударил по столу Край. А Таусо продолжал:

— Делать нечего, задание надо выполнять... Я предлагаю так. У нас больше ста семей. Если разделить эти девятьсот пудов на всех поровну, не так уж много придется...

— Как это поровну?!

— Привык вилять хвостом!

— Умеет о своем брюхе позаботиться! — снова взорвался сход.

Поднялся Сафар:

— Ты, Таусо, оставь свои сказки. Скажи, сколько сам дашь зерна?

— Сколько?.. — маленькие черные глазки Таусо заметались, он посмотрел на Сафара, на Камиля, потом снова перевел взгляд на собравшихся. — Сколько? Хотя и трудновато будет, восемь пудов — ваши!

— Мало. Двенадцать! — отрубил Сафар.

— Оллахий, правильно!

— Для него и это не много!

— Да чего там! Он только за щеками прячет пуда четыре, хомяк.

Таусо махнул рукой и поплелся на прежнее место.

Степенно вышел вперед Эйналук. Оперся на свою крючковатую палку, поглаживая бороду, обвел сход неторопливым взглядом.

— Братья, сестры, — начал он. — Видно, и впрямь тот, кому живется вольготно, не знает цену жизни! Скажите, много ли было у вас таких дней раньше? («Чтоб эти дни

снегом засыпало!» — подумал он про себя.) Большая радость для нас — собираться вот так и сообща решать свою судьбу. («Чтобы вовек вам радости не видеть!») А раньше как было? Испокон веков один сбивал масло, а десятеро чистили его коровник. («Верни, аллах, эти дни!») Или вы забыли это? Сытый смотрел на голодного, как собака на волка... Было такое?..

— Было, было!

— Правильно!

— Это мы без тебя знаем. Скажи, сколько зерна даешь?

Эйнадук, которого злили не только выкрики, но даже капсель, спокойно выждал, пока все умолкнет, и продолжал:

— Уважаемые, молиться готов на вас («Чтоб мне вас всех в сырой земле увидеть!»), если знаете — почему мешкаете? Правильно наш председатель Сафар говорит: трудно сейчас — потом будет хорошо («Как бы не так!») Вы знаете, я тоже беден...

— Всем бы такими бедными быть!

— За сленцов нас принимаешь?!

— Ты же говаривал: собственный сын лучше чужого ястреба!..

«Продажные собаки, — подумал Эйнадук. — Вот и доверяйся таким...»

— Правду говорю, — продолжал он невозмутимо. — Зачем вспоминать, что было? У меня сейчас даже смены белья нет. Однако я не стану упираться. Кожу свою готов снять для колхоза! Зачем мне то, чего нет у моих однопосельчан?.. Мы должны и бедствовать, и радоваться вместе. («Чтоб ваши головы к моим ногам унали!») Отбившаяся от отары овца попадет в зубы волку. Оллахий, неразумны бегущие от колхоза, будто коника от огня. Отсталость это наша, невежество... — Эйнадук скосил глаза в сторону президиума и понял, что приедем к начальнику правятся его слова: «Попался бы на удочку!..»

— Кончай, чего тянешь! — крикнул кто-то.

— Кончаю, кончаю... Братья, сестры! Придите ко мне сами и увезите все, что найдете!

— Отдай, что следует, остальное не нужно!

— Много ты давал, как же!..

— Скажи, сколько?

— Четырнадцать пудов, оллахий! — Эйшалул при- стукнул палкой, гордо поднял голову и добавил: — Единственную лошадь тоже отдаю! — и опять стукнул палкой.

Собравшиеся притихли. Многие не верили в искреп- ность Эйшалука, но сказать было печето...

— Кто еще хочет выступить? Ну, веселее, дорогие то- варищи! — приглашал Край. Но никто не шевелился. — Что же, так и будем молчать? — продолжал взывать Край.

Наконец из толпы выбрался седобородый старик. На нем коротенькая драная шубейка, шапка-ушанка непонятного цвета, лоснящиеся от грязи кожаные штаны с мотней до колен...

— Якуб, что в мотне припрятал? Уж не курицу ли?! — крикнул ему кто-то из толпы. Но старый Якуб не обра- тил внимания на шутника.

— Послушайте, добрые люди, — начал он тихим голо- сом. — Поразмыслил я над словами председателя... Что же это получается?.. Какие у меня излишки? Правда, не ска- жу, что вовсе нечего есть — пусть шайтан так живет! Найдется у нас малость зерна, картошки немного... Так ведь этого самим прокормиться не хватит. Можно ли от- нимать суму у нищего?.. Советская власть разве позволяет такое? — Якуб повернулся к сидящим за столом. — Хоть за ноги подвесьте — ничего не смогу дать. Да разве я один, разве мало подобных мне у нас в ауле?.. Вы с дру- гих берите. Я-то знаю, кто может дать зерно, кто скотину скрывает... — Якуб посмотрел на Таусо.

— Ты не болтай попусту, попробуй дать, сколько я! — пискнул тот.

— Ишь, чего захотел! — возвысил голос старик. — Се- бя-то ты не обидишь. Поровну всем, гляди, чего придумал! Аллах свидетель, от такого твое брюхо не похуде- ет. — Якуб опять повернулся к президиуму. — А вам скажу, уважаемые: неправильно сделаете, коли будете требовать зерно и скотину с тех, кто сидит на пустой похлебке, — и с этими словами Якуб пошел на место.

— Верно говорил!

— Нельзя поровну!

— Ничего не можем дать! — раздался голоса.

Камиль нахмурился. Сход явно поворачивал не туда... Он решительно поднялся и, похлопывая по столу газетой,

сжатой в одной руке, предостерегающе вскинул другую руку вверх.

— Товарищи! — воскликнул он. — Слушаю я вас и вижу, многого вы еще не понимаете. Вот тут, — он помахал газетой, — написано: «У бедняков единственная дорога — в колхозы». А вы? Какой-то подкулачник, — он нашел глазами Якуба, — разводит тут кулацкую агитацию, а вы слушаете! На что это похоже? Знайте: таким недолго осталось быть среди нас. Тот, кто против колхозов, — наш враг. Ему не хочется, чтобы вам жилось хорошо. — Камиль все смотрел на Якуба. — Мы же заботимся о благополучии колхоза и всего нашего округа. Вот тут некоторые поддаются вражеской агитации, отказываются давать зерно и скот. Может, вы думаете, мы просим лишнее? Вот послушайте... — Шагавший вдоль стола взад-вперед Камиль остановился, развернул газету. — «По плану округ должен сдать... пудов зерна, а собрано всего... пуда», — прочитал он. — Вот как обстоят у нас дела. Кто же выполнит задание, если вы откажетесь? — Камиль сложил газету, сунул ее в карман кожанки. — Нет, товарищи, так не годится! Тому, кто укрывает зерно и скот, — несдобровать! Таких мы будем судить по всей строгости закона, знайте это! — повысил он голос, сделал паузу и продолжал уже другим тоном: — Поверьте, никто не станет требовать того, чего у вас нет. Если не можете сказать сами, пусть это дело рассмотрит комиссия, определит, у кого сколько взять. Все решится по справедливости, не беспокойтесь... А таким, как этот... как его, что сейчас выступал?

— Якуб, — подсказал кто-то.

— Таким, как этот человек, не место в ваших рядах. Предлагаю решить вопрос о его дальнейшем пребывании в колхозе, — заключил Камиль и сел, многозначительно глянув на секретаря ячейки.

«Что-то ты, друг, начал путать зерно с половой», — чуть не воскликнул Край. — Как можно поднимать руку на таких, как Якуб? Как будто мало его била судьба... И какой же он враг? Кому в ауле выпало больше испытаний, чем самому Краю и его бедному соседу Якубу?..

...В гражданскую войну аул переходил из рук в руки. И вот, когда уже казалось, что белых прогнали окончательно, многие бойцы вернулись под свой кров, чтобы приступить к мирному труду. Вернулся и Край. Но не успело

забыть плечо тяжесть винтовки, как в ущелье снова ворвалась банда... Одним из первых был повешен отец Шаррау, который остался дома, прикованный к постели болезнью. Потом беда ворвалась и в дом Края. Бандиты вывели на улицу его старика отца и молодую жену, готовившуюся стать матерью. Отца тут же расстреляли, а жену ударили штыком в живот... Видевший это сосед Якуб не выдержал, бросился на бандита и сделал единственное, что мог,— плюнул тому в лицо. Якуба не расстреляли — выноролли шомполами до полусмерти, а дом со всем имуществом сожгли. Дети Якуба лишились и крова, и куска хлеба...

Когда враги были окончательно разбиты и выброшены из ущелья, Край вернулся снова. Он слышал об участи, постигшей его семью, но все не верил, все тлея в душе какая-то надежда,— пока не увидел сам свой давно остывший, осиротевший очаг да отождествившую кавказскую овчарку, которая одна встретила его у порога...

А Якубу с женой и шестью их детьми остался лишь пепел. И Край взял их в свой дом, сам приютившись в самой маленькой комнатке.

Якуб, и раньше слабый здоровьем, окончательно утратил его после жестокого избиения и прокормить свою большую семью был не в состоянии. Содержал ее Край, принося и отдавая детям Якуба все, что только мог. Но об этом в ауле мало кто знал: Край не распространялся о своей доброте, и Якуба тоже просил молчать.

...Все это в одно мгновение пронеслось в голове Края. Что такое говорит этот представитель?! Выгнать Якуба из колхоза? За что?! За то, что он не стоит, как другие, с зашитым ртом, а высказывает прямо, что думает? Так ведь это же замечательно, если такие, как Якуб, смело заговорили о том, что их волнует, не боятся протестовать против того, что кажется им несправедливым, способны сами, без подсказки, принимать решения! Разве не к этому мы стремились, не в этом ли наш успех, наша радость? Значит, растут наши горцы, растет их сознательность! — радостно подумал Край и невольно улыбнулся. Но тут же слова помрачнели. Таким, как Якуб, колхоз — единственное спасение. Таким и строить, укреплять его. Придется все-таки выступить против представителя окружкома. Нельзя на этот раз промолчать...

— Люди, говорите смелее все, что на душе. И не бойтесь. Вот так, как Якуб сказал! — Край поискал глазами Якуба; тот стоял сжавшись, совсем потускневший, — никак, видно, не мог опомниться после слов Камилля. — Не бойтесь, — повторил ободряюще Край. Власть ваша, она не причинит вреда тому, чьи помыслы чисты. А я клянусь именем партии, доверившей мне стоять перед вами: таких, как Якуб, в обиду не дадим! — закончил он и обернулся к Камиллю.

— Конечно, конечно, товарищ Край прав. Вам нечего бояться. И на исключении товарища Якуба я не настаиваю. Возможно, я ошибся, ну что ж, местные коммунисты лучше знают людей вашего аула, — отступал Камиль. — Однако давайте завершим начатое. Я предлагаю избрать председателем комиссии по обложению товарища... как нас, уважаемый? — обратился он к стоявшему впереди Эйналуку. — ...Вот, товарищ Оразаев... Вы ведь грамотный?.. Ну, вот и хорошо. Об остальных мы договоримся.

Во второй раз Край не решился пойти против представителя окружкама... «Ладно. — подумал он, — поправим дело, введем в комиссию достойных людей».

— Решено! — поспешил затвердить Сафар, — никто даже рта раскрыть не успел.

...Люди расходились невеселые, притихшие. Шли молча, думая каждый про себя одну и ту же думу: что-то ждет завтра? Все в воле аллаха. Захочет он — не попадешь в черный список. А нет — отнесут тебя к зажиточным, и завтра увидишь в своем дворе Эйналука. И попробуй не отдай ему то, что потребует. Все в руках аллаха... Сафар — еще куда ни шло, сам испытал бедность, должен бы понять односельчан. А этот Эйналук... Разве он ущемит в чем-нибудь себе подобных? Вот беднякам от него добра не жди... Шли, не разговаривая друг с другом, лишь дойдя до своего двора, не забывая по горскому обычаю пригласить соседа: «Добро пожаловать!» Однако кому было сегодня до гостей?..

Ночь давно уже накрыла свое темное покрывало на небо, на вершины гор и ущелье, где приютился аул. Все затихло в округе. Но никак не может уснуть, успокоиться

аул Кургак. Целый день никто не топил, и только теперь вернувшиеся со схода принялись ворошить золу в очаге, раздувая тлеющие под нею угли. Проснулись заснувшие было натошак дети и стали ожидать ужина. Теперь уж они не улягутся, пока не съедят свою долю чурека, тесто для которого только замесили, и не выпьют горячей похлебки из долбленой деревянной чашки... Не спит аул. Из всех дворов слышно, как рубят дрова, как, торопя своих хозяек, протяжно мычат коровы, время дойки и кормления которых давно прошло...

Беспокойной будет и ночь. Под ее черным покрывалом кто-то, вздыхая и ворочаясь, так и не сомкнет глаз до самого утра.

Другой — постарается скрыть до рассвета свои черные, как эта ночь, дела...

Охо-хо, такова уж воля аллаха: одного филин не заметит, пролетит мимо, другому — прокричит в трубу, накличет беду... Да, так уж водится в жизни... Однако и человек не должен сидеть сложа руки, покорясь судьбе. Что толку предаваться тяжелым думам, ничего не предпринимая? Нельзя безропотно ожидать беду. Ведь она — не бродячая собака. Та украдкой проберется ночью во двор, пошарит и уйдет с рассветом. А беда — войдет в дом, усядется у очага, вышвырнет тебя на улицу, из мягкой постели на тощую соломенную подстилку... На свете и так много бездомных. Неужто аллаху угодно присоединить к ним и меня?.. Конечно, аллах может послать и радость, и горе. А ты сумей обойти горе! Другие пусть себе как хотят, что тебе до других? Если тебе придется лечь на подстилку, никто не принесет свою перину... Ой-хой, будто не знаешь ты людей! Нету даже двух соседей, которые желали бы друг другу добра. Нельзя доверять людям, надейся лишь на себя — тогда и аллах тебе помощник...

Так думал Эйналулук, возвращаясь со схода.

Он торопливо вошел в свой двор. В доме горел свет, но Эйналулук направился сначала к коровнику и остановился возле него в раздумье... В это время открылась дверь, и на пороге показалась его жена Мисирхан с тазом в руках. Эйналулук вздрогнул, будто его застigli на чужом дворе...

— Ой, кто это? — вскрикнула Мисирхан, заметив отбрасываемую Эйналулуком тень. «Чтоб ты сплила, черная

карга! Перепугала до смерти». Обозлившийся Эйналуку шарочно не ответил.

— Кто это, я спрашиваю? Сейчас собаку кликну! — Женщина с шумом выплеснула воду.

— Язва тебя забери! Глаза павозом замазала, что ли? — вынужден был подать голос Эйналуку.

— А, мужчина¹, это ты? Что ж молчишь, будто воды в рот набрал. Я-то перепугалась... — Мисирхан подошла к мужу. — Чего это ты дышишь так, будто кто гнался за тобой?

— Перестань толочь воду да припреси сюда свечу. Ну, поворачивайся!

— Да зачем тебе свеча? Что тебе в голову пришло? — удивилась Мисирхан.

— Не спрашивай, делай знай!

Эйналуку никогда не баловал жепу лаской. Мисирхан у него вторая жепа. Первая вроде всем взяла: из богатой семьи и собой была педурпа. Но, видно, прокляли ее джиппы: за двадцать четыре года совместной их жизни в богатом доме Эйналука, где не было недостатка ни в чем, так и не раздался детский крик... Что же, весь век жить с бесплодной? Как бы ни была хороша, а остаться без потомства Эйналуку не хотел. Такого и врагу не пожелаешь. В доме должна качаться люлька... Что оставалось делать — он проводил немолодую уже жепу по-хорошему в отчий ее дом и задумал жениться во второй раз. Многие девушки в ауле нравились ему. Но человеку в его годах уже не приходилось мечтать о наилучшей. Прошла его молодая пора, когда он, гордо выпятив грудь, мог сказать: кто посмеет отказать мне? Он теперь не стремился взять жепу обязательно из богатой семьи, из знатной фамилии. Аллах свидетель. Эйналуку не против был жениться и на бедной девушке, лишь бы она была молоденькая и красивая. Такая пошла бы за него безропотно, не посмотрела бы на его годы. Была бы только молодая да хорошенькая, а богатство — что ж, его богатства хватит и на двоих... Но вмешались в дело родственники, чтоб им черемшу на том свете копать, не дали Эйналуку сделать так, как ему хотелось. Закаркали: «Куда тебе на старости лет зариться на молоденьких!» Будто он сам себя не знал, свои воз-

¹ По обычаю, горянке не принято было называть мужа по имени.

возможности... Ему ведь тогда только за пятьдесят перевалило — разве это возраст? Он и сейчас еще... Эх, чтоб им самим до старости не дожить! Стали расхваливать эту: из хорошей фамилии, богатая, мастерица... Как только не расхваливали — и навязали эту Мисирхан. Была она старой девой — уж тридцать три стукнуло. Ну, ладно. Так хотя была бы как женщина, а то... Лицо темное, будто головня, длинная — мужа за макушку укусить может, — вся высохшая, как доска. Одно только и есть, что косы. Косы, правда, хорошие, но она моет их кислым молоком, и вечно-то они пахнут сывороткой... Всякий раз, как ложится с ней в постель, Эйналух проклинает своих родичей. Холодные змеиные косы касаются его тела — и опять проклятие летит на те же головы. Эйналух вспоминает девушек, которые нравились ему. Эх, если бы с ним была одна из них — молоденькая, пухленькая, как бы она его согревала, ноги бы мыла ему каждый день... А эта... Ну что с ее богатства! Попросишь погладить спину — будто граблями дерет... О аллах, хоть бы большевики сияли головы с тех, кто уговорил его жениться на этой карге! Правда, сына она ему родила. Но родился он хиленький, недолго прожил, бедняга, недолго радовал отца... А после она уже не беременела. Сколько лет прошло, а она все такая же — худая, длинная, как шест. А Эйналух уже сгорбился... Но думая он до конца своих дней прожить с Мисирхан. Ничто его не удерживало: детей нет, кто упрекнет, что бросил жену. Сам аллах помог, есть причина, чтоб избавиться от этого скелета. Но он все откладывал: сегодня, завтра... Так и прошло время. А теперь... Теперь уж не до развода. Да и кто за него пойдет теперь? Стар, ограблен, унижен...

...Мисирхан принесла свечу. Эйналух вошел в коровник. Потянуло теплом животных, мерно жующих сено. Он почти ничего не различал перед собой — слабый свет свечи не мог разогнать темноту, — но почувствовал, что обе его коровы повернули головы в его сторону. Хорошие у него коровы, породистые, улитанские. Жалко резать... Но завтра или послезавтра придется одну из них отдать этому сброду... Мало он им давал!.. Гм. И зачем ему пужны были две коровы в эти тяжелые времена? Будто у него детей куча... Хватило бы им и одной. Давно надо было одну продать. Или прирезать и завялить — был бы каждый день с мясом...

Он подобрал остатки сена под погами у коров, постелил его у порога. Потом прошел к овцам, поймал первую попавшуюся, приволок к порогу и повалил на подстилку. Пока связывал овечке ноги, подбежал ягненок, опустился на колени и уткнулся мордочкой в материнское вымя... Эйналуку приставил нож к горлу овечки, полоснул — овца насучила погами и затихла. Отскочивший было ягненок снова припал к вымени...

Эйналуку оттащил его, взял на руки. Ягненок был черный, с шелковистой блестящей шерсткой. Сердце его билось так, словно лежало на ладони Эйналука. Он все тянулся к матери, суча в воздухе передними ножками... Что делать с трехдневным сосунком? Какой смысл его резать? Ни за что бы не сделал бы этого Эйналуку. Он ведь даже в курицу камня не бросил никогда... Но такие уж черные настали дни. Приходится резать овец. А коли режешь овцу — надо резать и ягненка. Что ж, Эйналуку совсем без сердца, что ли, чтобы оставлять этих ягнят, словно малых сирот? Смотреть на них жалко, не приведи аллах... Эйналуку погладил ягненка. «Сейчас, сейчас, не буду тебя долго мучить». Он уложил ягненка на подстилку. «Ложись-ка, бедняга, что делать, аллах простит, прости и ты...» Но ягненок не хотел умирать так просто, вырывался, — Эйналуку даже всотел, удерживая его. Проклятый сосунок! Терпение Эйналука лопнуло, — он надавил на шею ягненка ногой. Послышался хруст... «Ну, непослушненький, попробуй-ка теперь, подрыгайся!..»

Вошла Мисирхан, тоже со свечой в руках.

— Эй, мужчина, побойся бога, разве можно резать таких маленьких?

— Чего рот разинула, будто мед в него капает? — огрызнулся Эйналуку. — Аллах того любит, кто сам себя не забывает! — Острый нож Эйналука легко распорол кожу ягненка.

— Эй, мужчина, — не унималась Мисирхан. — Это не твое разве, отнимает кто? Чего суетишься? Сперва разделайся с овцой, потом принимайся за ягненка. Остынет — как потом кожу снимешь?

Эйналуку понимал, что Мисирхан права, и это злило его еще больше.

— Эй, пусть аллах поразит тех, кто вынуждает меня поступать так! Но и мы в долгу не останемся... — С помощью Мисирхан старик подвесил тушу овцы на гвоздь на

столбе, подпиравшем крышу коровника.— Пусть меня молния поразит, если я дам провести себя. Не будет похлему!

— Скажи: если будет угодно аллаху,—поставительно произнесла Мисирхан. Эйналулук, разбиравший внутренности овцы, промолчал. Потом сказал, как бы продолжая вслух свои мысли:

— Говоришь, наше это, никто не отнимает? Нет, они уже не принадлежали нам. Вот теперь, с божьей помощью, останутся у нас. Стал бы я заря свою животицу резать... Сходи, позови Таусо, падо будет еще одну корову свалить. Никого не хотел в помощники брать, сказано же: где двое друзей — недругов двенадцать, да, видно, придется, ничего не поделаешь.

Мисирхан вернулась, когда Эйналулук окончил уже со второй овцой.

— Ну, идет? — спросил он.

— Поверь, нельзя на него надеяться.

— Это почему же?

— Да он тем же самым занимается... Может, Токмака позвать, сына Хизира? Вроде бы неплохой человек. В колхоз не вступил... А? Позвать его?

— Ладно, зови,—с сердцем сказал Эйналулук. Этот Таусо, думал он, как испорченное ружье,— в самый пужный момент отказывает. Каждый только о себе думает. Кто ему поможет, кто поддержит?.. Любит его кто-нибудь? Как бы не так! Сколько таких: при встрече льстят, улыбаются, а доведись — глаза бы ему выкололи ради своей выгоды. Всегда так было. А уж теперь, когда его, Эйналука, с безродными сравнивали,—и подавно. Что ж, так испокон века ведется, люди никогда друг друга не любили. Боялись — да. Слабый боялся сильного, бедный валялся у ног богатого — опять же потому, что тот силен. Да, так было, так и будет. Что бы там ни говорили, Эйналулук никогда не поверит, что все люди могут стать равными. Кто выделялся раньше, сумеет выделиться и теперь. Умеючи только надо жить. Сейчас жизнь — как разбушевавшаяся река. Глуш тот, кто попытается укротить такую реку,— надо выждать, пока сама успокоится, войдет в берега... Сорвавшуюся лавину не остановишь — раздавит. Пусть себе пройдет свой путь, рассыплется снежной пылью... Нет, Эйналулук не уподобится петуху, кукарекающему на заборе,— как раз и угодишь в когти

коршуну! Знал он таких незадачливых... Жить надо тихо, и уж как выпадет случай — так и бросить камень, по силе возможности... Но не сладко будет жить при этой власти, ох не сладко... Что может теперь Эйпалук? А ведь были времена... Проморгали, выпустили уздечку... Давно выпустили. А ведь была, была в их руках!.. Теперь попробуй, сдержи этих... Разбушевались. Возгордились. Разве придет теперь кто, разве спросит: «В чем нуждаешься, Эйпалук? Не помочь ли чем? Может, дрова привезти или воду?» Где там!.. «О аллах, верни те дни, когда они кланялись мне в ноги и просили еду!..» — думал Эйпалук, с криканием подвешивая на гвоздь вторую овцу.

В то же самое время Край сидел у себя дома, в своей угловой комнатке. Сидел один и думал... Поужинать он еще не успел. Но он всегда ужинает поздно, а сегодня даже дети Якуба еще не поели. Надо сначала накормить их, чтобы поскорее уgomонились...

Край не позволял, чтобы в доме о нем проявляли какую-то особую заботу. В первое время тихая, робкая Жусум — жена Якуба — пыталась приносить ему ужин раньше всех, готовить для него отдельные блюда. Но Край решительно запретил ей делать это, даже пригрозил, что уйдет из дому, если Жусум не оставит своих затей. Жусум никак не могла смириться: она чувствовала себя в неоплатном долгу перед этим большим, добрым человеком. «Э, парень, я скорей провалюсь, чем поступлю так», — повторяла она. «Нет, это я провалюсь от стыда перед тобой и твоими детишками», — говорил Край. И Жусум вынуждена была уступить.

...В соседней комнате все затихло, — наверно, дети наконец накормлены и улеглись. А здесь, у Края, тихо всегда. Комнатка его почти пуста и оттого кажется даже просторной. Здесь стоит лишь деревянная кровать да сундук давно умершей матери Края. В одном из углов на стене висит овчина и папаха его отца, в другом — шаль с бахромой и платье жены. Край вытащил их из сундука, опасаясь сырости и моли. Хорошо, что эти вещи постоянно на виду...

Краю недолго довелось прожить с женой, по любил он ее сильно и никак не мог забыть. Не будь этой па-

мяти, он, может быть, давно бы уже женился вторично. Вот и сейчас он думал о ней, глядя в угол, где висела шаль. «Была бы жива — бегал бы теперь передо мной десятилетний мальчишка, — думал Край. — А может, девочка. Эх, не все ли равно... Были бы они живы...»

В комнату тихо вошла Жусум — принесла ужин: фасолевый суп с сушеным мясом, чурек и немного бузы. Поставила все это перед ним и вышла. Следом за нею появился Якуб. Стал на пороге, помолчал немного, как бы не решаясь начать, потом сказал с глубокой благодарностью в голосе:

— Спасибо тебе, Край. Опять ты меня выручил, спас мою голову.

— Не за что меня благодарить. На моем месте каждый партиец поступил бы так же. Камиль просто не знал тебя, — ответил Край. Он взял чурек, разломил и протянул старшему: — Попробуй-ка, Якуб. Бери, бери!

Якуб любил Края как сына, хотя любовь эта никогда не выражалась в словах... Сейчас он ел чурек, тайком наблюдал за Краем и думал: «Молодой еще, а выглядит куда старше своих лет. Не только голова, даже усы поседели. Женить бы его...»

— Край, скажи, сколько тебе лет? — спросил он, хотя, конечно, знал его возраст.

— Да уж много, все тридцать семь, считай, — ответил тот, подавая Якубу чашу с бузой. — На-ка, отпей.

— Пей сам на здоровье... Тридцать семь, говоришь? Аи нет, тридцать шесть пока что. Я помню!

— Какая разница? — улыбнулся Край.

— Не скажи, — запротестовал Якуб. — Зачем набавляешь себе годы? Тебе до старости еще далеко. А вот по виду ты, правда, человек почтенного возраста. Сафар непамного младше тебя, а выглядит парнем...

— Ну, Сафар усов не носит и неженатый, — пошутил Край.

— Охлахий! Вот я и говорю, Край, пора уж тебе подумать о собственном очаге, — высказал наконец свое Якуб.

— Какая девушка пойдет за меня? Сам же говоришь, какой я старый, — снова отшутился Край.

— Ну, это я так, за тебя любая пойдет, — поторопился исправить свою ошибку Якуб. — В ауле хороших де-

вухек много... Но мне больше всех по душе Наибхан. Хотел бы я, чтоб у меня была такая эпоха! А?

Услышав имя Наибхан, Край смутился: Якуб, сам того не зная, невольно коснулся его тайны, которую он тщательно скрывал от всех, даже от самого себя. Он никак не мог признаться себе, что ему нравится Наибхан. А уж того, чтобы жениться на ней, даже в мыслях не было. И все-таки никуда от этого не денешься: когда Наибхан рядом, жизнь кажется ему совсем иной, радостной и полной, а в нем самом появляется давно, кажется, забытая теплота и нежность... Но нет, нет, говорил он себе. Ее любит Шарау, и она его — тоже. Пусть даже Наибхан — та единственная, с которой только и может быть счастлив Край, — нельзя мешать влюбленным. Да и Сафар ее сватает... Нет, нет, прошло его время...

— Ты прав, Якуб, — ответил Край после недолгого замешательства. — Наибхан — славная девушка. Но и ее любят хорошие ребята. Куда уж мне, старику, — с улыбкой говорил он. — Нельзя мешать в таком деле тем, кто моложе тебя.

— Напрасно ты киваешь на чью-то молодость, а себя считаешь стариком, — горячился Якуб.

Но Край уже плохо слышал его: он думал о другом. Думал о прошедшем собрании, об Эйналуке, Камиле, Сафаре... О человеке, который сидел перед ним, и его большой семье... Трудно ей. Тесно в его доме. Надо бы помочь им поставить новый дом... И молока у детей нет. Как же детям без молока?.. Надо будет на ближайшем собрании партячейки вместе с правлением колхоза поднять вопрос о помощи беднейшим семьям...

Якуб все продолжал говорить о женитьбе, но Край хотя и смотрел на него, уже не слышал его слов.

Сафар, вернувшись со сходки, бросился на кушетку и обессиленно растянулся на ней, как будто трудился целый день в поте лица. Надо было перевести дух и кое-что обдумать.

Ему не давали покоя суровые слова Камилы, высказанные после собрания... Вот беда, не мог даже пригласить его к себе. Где же лучше почевать приезжему начальнику, как не у главы колхоза? Посидели бы, потолковали — глядишь, и сошлись бы поближе... Гость рассердился

на него — надо было бы успокоить, оправдаться... Да разве кого пригласишь в этот курятник, тем более — такого почтенного человека?!

Сафар, оглядывая комнату, заметил на потолке в углу черную от копоти паутину, которая слабо пошевеливалась от проникавшего откуда-то ветерка... Да что там паутина! Весь дом закопчен чадом очага. Давно пора белить. И убираться надо почаще. Мать уже стара, слаба, ей это не под силу. Но чем, интересно, занимается его сестра? Если завтра же не приведет дом в порядок — свернет он шею этой курице! Весь аул знает, что он женится, а она о чем думает? Как приведешь сюда жену? Осмеют люди, скажут: мышь пору не нашла, так обруч к хвосту привязала.

Сафар посмотрел на толстый матрас и одеяло из лохмотьев, лежавшие на старом сундуке. А что еще в доме? Ни одной стоящей вещи... Все богатство Сафара — на нем. Хорошо, хоть одеться сумел. Ну, без этого уж никак нельзя было: не пристало главе колхоза ходить оборванцем. А больше ничего и нету...

Нет, не всегда верна пословица: кто присматривает за пасекой, тот и пальцы облизывает. Конечно, Сафар мог бы сделать так, чтобы и ему кое-что перепало... Но не станет он этого делать, не станет позориться. Сколько жил в нужде, можно и еще потерпеть. Вот разбогатеет колхоз — тогда и ему достанется. А сейчас — нельзя. Он без богатства счастлив. Спасибо Советской власти, вытащила его из грязи. И не просто вытащила, а вознесла над всеми! Конечно, Сафар тоже кое-что для нее сделал, заслужил... Но теперь надо делать еще больше. Он постарается, оправдает доверие... Пойти, что ли, на колхозный двор, посмотреть, все ли там в порядке? Все равно не заснуть сейчас...

Осторожно, чтобы не разбудить мать и сестру, Сафар пробрался к двери, толкнул ее и вышел на улицу. Полная луна стояла над аулом, огни почти всюду погасли, прохожих не видно, тишина, только взлаивают иногда собаки... Сафар постоял во дворе, горделиво оглядывая мирно спящий аул. Все заснули, только председатель не спит, думает обо всех... Что за домишки, словно курятники! Придет время — поселятся все в добротных больших домах под красной черепичной крышей. Все дома будут одинаковые. Подумать только! И построит их он, Сафар.

И дороги в ауле заровняет — пусть дети скачут по ним на хворостинах, не сбивая ноги о камни. Даже юлы можно будет пускать по этим дорогам, как по льду! Подождите, Сафар еще покажет себя! Раскаются тогда те, кто раньше смеялся над ним. Многие раскаются. И Наибхаи, если не захочет выйти за него, тоже пожалеет...

Нет, ни на что он не позарится для себя. Пускай сейчас кое-кто будет смеяться над ним. Найдутся такие, скажут: он и раньше-то жить не умел, и теперь такой же. Разве в богатстве счастье? Ченуха! Подтянуть пояс потуже — и трудиться для общей пользы, назло болтунам. Работать день и ночь, чтобы все тебя благодарили, уважали — разве это плохо? Как теперь все кланяются тебе — вот оно в чем, счастье!.. И все это дала тебе власть. Если б не она, разве стал бы Эйналук говорить с тобой, как с равным? Ведь раньше и за человека-то не считал... Да и те, которые перемывали ему кости в ныгыше, теперь прикусили языки. А раньше кто только над ним не потешался. Сафар этого не забыл... Ну, теперь пускай попробуют...

На колхозном дворе, похоже, никого не было. Сафар сам отворил ворота и вошел. Слабый, мигающий свет висевшего на столбе пузатого фонаря едва освещал стены старого длинного коровника. Сафар принялся пересчитывать мирно лежавших коров. И вдруг в углу, у пустого стойла, что-то зашевелилось. Председатель увидел направленное на него дуло ружья, а за ним рассмотрел невысокого щуплого человека.

— Кто тут? Чего надо среди ночи?! — крикнул человек и, держа ружье под мышкой, вышел из стойла, — видно, дремал там. Сафар узнал его: это был сторож Омар.

— Ты кто, спрашиваю?! — Ружье снова нацелилось в грудь Сафару.

— Ух ты, правду говорят: и заяц с перенугу становится львом! — рассмеялся Сафар. — Кричишь-то как, оглушил прямо.

— А, это ты, Сафар. Прости меня, не узнал. — Омар подошел к председателю и в нерешительности затоптался, переминаясь с ноги на ногу.

«Все-таки что значит глава колхоза! Раньше бы этот Омар полез здороваться за руку», — мелькнуло у Сафара. Он шагнул вперед и сам подал руку: пусть видит, что

председатель не зазнался, не избегает друзей. Как-никак в детстве вместе бегали. Хотя, конечно, какие они теперь друзья...

— Как твои дела, в чем пужда? Может, помочь чем? — спросил Сафар, которому в этот момент казалось, что он способен выполнить любые просьбы Омара, ведь ему все под силу. А если и не выполнит — не беда, сказать человеку доброе слово — тоже не последнее дело. «Подход к людям должен быть», — вспомнил он слова Края.

— Ничего, живем потихонечку, — ответил Омар. — Только видишь вон, фонарь совсем гаснет. Керосин кончается, да и фитиль... — вспомнив прозвище председателя, Омар спохватился, но слово уже вырвалось, и он досказал, отводя невольный взгляд от шеи Сафара: — ...фитиль почти весь сгорел.

— Приходи завтра ко мне, что-нибудь придумаем. — Сафар как будто не услышал злосчастного словца. — На что еще жалуешься? Скажи!

— Спасибо, ничего не надо. Не хочу тебе надоедать — разве мало у тебя других забот, — говорил сторож, шагая следом за председателем к конюшне.

«Да, вот что такое должность! — думал между тем Сафар. — Не всякий теперь может идти рядом с тобой. Семьят следом, руку первыми протянуть не смеют... Э-гей, сын Сары, счастье тебя нашло! Где только оно до сих пор пропадало? Ты ведь и раньше был парень не промах... Это все Советская власть, верно, что она — власть бедного люда... Однако же не каждому она дала такие должности! Нет, ей нужны толковые, умные ребята. Если бы ты не был таким — разве выдвинули бы тебя председателем?..»

Они вошли в конюшню, располагавшуюся на другом конце двора. Сафар подошел к своему жеребцу. Лучшего копя выделили ему из колхозных лошадей! Гладкий, ушпанный серый жеребец... А как он ходит! Не ходит, а танцует. Все любят. До чего приятно на нем ездить... И никто не имеет права его оседлать, кроме Сафара! А падоест этот — переседет на другого. Любого может выбрать Сафар, какой понравится. Он все может!..

— Омар, дорогой, подбрось-ка чего-нибудь моему жеребцу, — небрежно уронил Сафар.

— Но ему дано столько же, сколько всем, — робко

возразил Омар.— Может, желаешь, чтобы я приглядывал за ним получше?..

— Эх ты, недотепа. Именно так я и хотел сказать. Будь к нему повнимательнее, дорогой...

Распрощавшись с Омаром, председатель покинул конюшню, вышел со двора и направился к кузнице. Ему захотелось еще раз полюбоваться стоящим возле нее почти готовым фаэтоном. Скоро это чудо, какого никогда не видали в ауле, тоже будет принадлежать ему! Он и только он станет ездить на нем! Многие, наверно, позавидуют сыну Сары, захотят прокатиться на этом чуде. Но уж нет! Позволить ездить на своем коне, в своем фаэтоне другому — все равно что позволить сорвать шубу со своих плеч. Какой почет будет такому начальнику? Нет, пусть себе ездят на ишаках! А завистников, врагов, конечно, много найдется...

Сафар шагал к дому, одолеваемый тревожными мыслями. Высоко вознесла его судьба, многое ему дала. Но недолго и лишиться всего этого... Сменить председателя так же легко, как отбросить с дороги камешек. Воц как сняли Шамсудина. И кому он теперь нужен?.. Неужто и его, Сафара, постигнет такая участь? Только начал жить по-человечески... Надо стараться. А что он сделал сегодня на собрании? Сафар вспомнил, как выговаривал ему Камиль: «Кто не стремится к обогащению своего колхоза — тот не вожак! Председатель должен знать свою задачу! Помни, товарищ Сарыев, своим добродушием, мягкотелостью колхоз на должную высоту не поднимаешь. Ты назвал другую цифру, не ту, о которой мы договорились. Считаю, что ты поступил совершенно неправильно! Такое своеволие не прощается...»

Сафар, конечно, и сейчас понимал, что Камиль не учитывал их возможностей. Откуда ему, приезжему, знать, сколько в ауле зажиточных и сколько бедняков. Это Сафар знает... Но и Камиля можно понять. Такое его дело... Он отвечает перед округом. Как он скажет там, что план не выполняется? Вот так встать и сказать... Это, хоть кому доведись, нелегкое дело. И что же Камилю остается, как не приказывать Сафару? Зачем ему терять свой авторитет? Ясно, если пострадает он из-за Сафара — запляшет и по председательской спине палка, не простит Камиль. И не быть ему главой колхоза...

Конечно, Сафару не хочется притеснять таких же бедняков, как он сам. Разве можно оставить их детей без куска хлеба? Товба, у Сафара есть совесть! Он уж постарается не довести до этого... Но если бы и о нем заботились так же, как он о других... Только где им... Сегодня постоит он за Мусу, а сможет ли завтра этот Муса защитить его, Сафара? Что он сделает, если Камиль начнет топтать Сафара на собрании, как сегодня — того же Мусу? Упрется глазами в землю и будет молчать — только и всего. Нет, никто не подаст Сафару руку, если он упадет... А спрашивать будут с него, Сафар не дурак, понимает это...

Невеселые мысли председателя неожиданно прервались: он чуть не столкнулся с человеком, шедшим навстречу. Тот испуганно отшатнулся.

— Что шарахаешься, будто курица от собственной тени? — насмешливо сказал Сафар, узнавший во встречном единоличника Токмака. — Откуда так поздно бредешь? И что это у тебя там? — добавил он, заметив под мышкой у Токмака что-то явно тяжелое.

— Ох, никак ты свои шутки не оставишь, — отозвался Токмак растерянно. — Иду себе... А это — так... Да ведь и ты не рано возвращаешься, а? — оправился он от испуга.

— Я-то иду с колхозного двора.

— А-а, — понимающе протянул Токмак. — Спасибо тебе, за общественным добром глаз да глаз нужен...

— Ты оставь свои сладкие речи, — перебил Сафар. — Скажи лучше, когда перестанешь вилять хвостом? Почему не вступаешь в колхоз? И что посеешь, говорю?

— Почему не вступаю, спрашиваешь? — повторил Токмак, крепче прижимая к боку свою ношу. — Да как сказать... Какая мне будет польза от колхоза? Я бедняк, а он еще беднее! Зачем же вступать? Сам небось знаешь: бабочка и та не в темноту бросается, а на свет летит! Да и не хочу я туда-сюда мотаться...

— О чем это ты говоришь? — не понял Сафар.

— Разве я сказал что-то новое для тебя? Ведь говорят, колхоз ликвидируется...

— Кто это говорит?! — вскричал Сафар сорвавшимся голосом. — Ну, кто?!

— Да говорят... весь аул говорит, — пролетел Токмак, в душе проклиная себя за неосторожность.

— Ты аул не трогай! Это такие, как ты, волки говорят. Ну, подождите, я вам заткну глотки!

— Слушай, Сафар, напрасно ты серднишься, — оправдывался Токмак. — Аллах свидетель, я ни в чем не виноват. Я-то никому такого не говорил. Да ведь не заткнешь уши, когда другие говорят...

— От кого слышал? Кто распространяет кулацкую агитацию? — не отступался Сафар.

— Не знаю, на кого и указать, товба! — Токмак поднял плечо. Как ни был он напуган натиском председателя, но выдавать Эйналука не стал. Добрый человек, пошла ему аллах долголетия, умеет брать — умеет и давать: только за то, что помог ободрать ему корову, дал столько мяса, сколько Токмак смог унести. Разве можно вредить приносящему тебе добро?

— Покарай меня аллах, если мог бы указать на кого, — решительно сказал Токмак.

Но Сафар уже не слышал его. Токмак еще не закончил, а председателя и след простыл. Подгоняемый, словно ветром, тревожными мыслями, он пустился по дороге к своему дому.

Хотя и не верил Сафар Токмаку, видел, что тот чего-то не договаривает, врет, — его не могло не беспокоить сказанное. «Ликвидируется...» А что, если?.. В колхозе-то народу мало пока, единоличников куда больше... Разграбят колхоз — кого обвинят? Сафара! Прав Камиль: некоторые с виду барашки, а глядишь, и завоюют по-волчьи... Строгость нужна, нельзя быть доверчивым — собаки голову отгрызут. Как можно доверяться Мусе или защищать его? Кто знает, что у него внутри...

12

Наибхан не хотелось идти в контору: надо миновать двор Шарау. Вдруг он вернулся ночью с коша, увидит ее в окно — что подумает? Может, еще и не знает, что она стала секретарем аульского Совета. А если знает?.. И зачем ей надо было надевать этот белый нарядный платок? Подумает — нарядилась для Сафара... И эти туфли... Не привыкла она к такой обуви, а сегодня, как пазло, какая-то особенно неровная дорога, ноги цепляют-

ся за каждый незаметный камешек... И платье, кажется, никогда еще не мешало так, не путалось в ногах...

Наибхан казалось, что Шарая смотрит ей вслед из своего окна. Может, ей хотелось, чтобы он ее заметил?.. Кто знает...

Но Шарая с коша не возвращался.

Пройдя немного, Наибхан услышала за спиной нагоняющий ее стук колес. Она догадалась: это фэзтон Сафара — и не стала оглядываться.

— Доброго пути, Наибхан! — приветствовал ее Сафар, поравнявши с нею фэзтон.

— Спасибо. — Она мельком глянула на председателя и тут же отвела глаза, не заметив ничего, кроме красного верха его шапки.

— Может, сидешь, сестра?

— Ничего, и так дойду. («Проезжал бы поскорее», — подумала Наибхан и замедлила шаги.) Но Сафар не обогнал ее, сдерживая коня. Наибхан покраснела до ушей: что скажут люди, увидев их? Ей казалось, весь аул смотрит на нее. Наибхан, уже не разбирая дороги, спотыкаясь на каждом шагу, пошла быстрее, обогнала фэзтон. Но Сафар дернул вожжами и снова поравнялся с нею.

— Не лучше ли тебе все же сесть? От того, что ты проедешься со мной, фэзтон не развалится!

«Да, от этого у тебя живот не разболится», — хотелось сказать девушке, чтобы оборвать Сафара. Но ответить так было бы невежливо. По обычаю, следовало ответить достойно, в тон приглашению.

— Но ведь и я ничего не потеряю, если не сяду в фэзтон, — сказала Наибхан и помедлила, подбирая вежливые, ничего не значащие слова. — Ведь от того, что не прокачусь в твоём фэзтоне, у меня даже волос с головы не упадет. Если не так — пусть мои туфли обобьются о камни! — «С какой стати стесняться? Еще подумает, что равнодушна к нему. И прохожие так могут подумать».

А Сафар подхватил:

— Не проклинай свои туфли, они и так спотыкаются!

— Как же им не спотыкаться, если на них смотрит такой парень! — От смущения Наибхан не осталось и следа. Она подняла голову, бросила взгляд по сторонам и поняла, что напрасно тревожилась: никто не обращал на них внимания.

— Ого, понатужись, так и ты найдешь, что ответить. Умеешь пошутить! — похвалил Сафар.

— А ты раньше не знал?

— Ну, ладно, оставим шутки, — переменял тон Сафар. — Послушай меня, сестра, сегодня вечером у вас будут гости...

Всю дорогу Сафар обдумывал, как сказать об этом. Он был уверен, что обрадует девушку. Еще бы! Не с каждой заговаривает о таком глава колхоза. Конечно же, она должна быть на седьмом небе!

— Придете неприглашенные — уйдете неугощенные! — огорошила его Наибхан.

— Нет, нет, — заторопился Сафар, — не о таких гостях речь веду. Я говорю про гостей, которых не приглашают...

— Что ж, пусть приходят. Правда, не обещаю, что у нас их завалят радостями...

— Напрасно ты так говоришь. Я своего не упущу, что поймал — держу крепко! — хорохорился Сафар.

— Может быть, может быть. Только удержать-то легче, чем поймать. Ты попробуй сперва поймай! — бросила насмешливо Наибхан.

На этом разговор оборвался: они приближались к конторе. Возле дома стояли мужичины. Труднее всего пройти мимо них: сколько глаз посмотрят на нее, что скажут, что подумают...

Мужчины встретили появление Наибхан веселым оживлением, посыпались шуточки:

— Долго спишь, рожденная от нашего брата!

— Ничего, хватит ей работы до вечера!

— До работы ли тут? Перелистает три бумажки, а потом только и будет глядеть в глаза тому, кто следует за ней!.. («Пусть лучше высохнул мои глаза!» — подумала Наибхан.)

— Недаром так нарядилась!

Выскочила из конторы Шаха с вешиком в руке, погрозила им:

— Всех лазгоню, лодыли! Что пристали к девушке?.. Плоходи, плоходи, милая, — обратилась она к Наибхан, беря ее за руку и входя вместе с нею в контору. — Холосо, что ты к нам плышла лаботать, я только тебя и желала, — она прильнула к плечу Наибхан головою, укутанной в старую шаль. — Ох, голе мне, до чего тлудно было уголотить их, чтоб взяли тебя, уж я так сталалась, — тарато-

рила Шаха, глядя краем глаза на сидевших в комнате секретаря партячейки и председателя аулсовета.— Вон те, стоящие во дворе, каждый день надоедают мне, плосят: поспедействуй, Шаха, чтоб наши дети тоже стали начальниками! А Мусос плишел и говолит: они тебя, дочь моя, не хуже Наибхан послушают! А я говолю: чтоб начальником быть, голова нужна, гламота нужна и знания. Такой, как Наибхан, говолю, во всем ауле нет. А он лазозлился на это и ушел, угложая мне...

Наибхан знала Шаху и постаралась не обидеть ее.

— Напрасно ты ссорилась с людьми из-за меня,— сказала она серьезно.— Надо было помочь тому, кто так хотел работать здесь. А я...

— Не говори, не говори!— перебила Шаха.— Я всегда за сплаведливость, ненавижу несплаведливость, вот посмотришь...— и она юркнула в другую комнату.

На улице послышался шум голосов. Наибхан подошла к открытому окну и увидела: Сафар, широко расставив ноги, стоит на камне, заменяющем ступеньку у входа в контору, а перед ним толпятся мужчины.

— Не понимаю, почему вы здесь,— говорил Сафар.— Когда работать пойдете?

Один из собравшихся, рыжебородый, такой же высокий, как председатель, выступил вперед.

— Мы работы не боимся. До сих пор только работай и жили.— Он повернулся к товарищам: так ли, мол?

— Верно, оллахий!..

— Не чуждаемся работы!

— Правильно говоришь, Ахмат!— поддержали его со всех сторон.

— Оставьте пустые разговоры, говорите, зачем пришли!— разозлился Сафар.

— Не спеши, Сафар, ты тут моложе всех, не годится перебивать старших,— спокойно ответил Ахмат.— Вот ты говоришь — работать... Да разве плохо мы поработали? Гляди, как распахали целину, — Ахмат указал на черневшую за дорогой пашню. — Сегодня и на косогоре закончим... А что толку? Чем сеять будем? Берегли зерно для посева, от себя оторвали, а его взяли и увезли куда-то...

— Не «куда-то», а в другие колхозы. У некоторых совсем семян нет, мы обязаны помогать им,— объяснял Сафар.— А для себя еще соберем, за тем и сход был...

— Как бы не так, соберешь теперь! — крикнул кто-то.

— Послушай, Сафар, — продолжал рассудительно Ахмат. — Ты нас знаешь, соседу мы всегда готовы помочь. Да ведь у самих ничего не осталось...

— Не сосед просит, а Советская власть! Как тебя понимать, Ахмат?

— Это что же, Советская власть велит, чтобы ты оставил нас без куска хлеба? В которой книге такое написано, а? Не верю тебе! Скажи лучше, где зерно, обещанное бригадам?! — загорячился Ахмат.

— Как на базаре: показал пшеницу, а продал овес! Зачем так делаешь? — поддержал его кто-то.

— Подождите... — Сафар поднял руку. — Пусть того, кто хочет заморить вас голодом, накажет Советская власть! Но она не допустит, чтобы одни были в сытости, а другие жили впроголодь...

— Посмотрите на него! А мы разве по то же говорим? Как можем помогать другим, когда сами нуждаемся? Было время — помогли. Сказали: «на семена» — но пожалели, последнее отдали. Привезли пшеницу для особо нуждающихся — отказались, лучше, мол, посеем. А теперь ни у нас, ни в колхозе зерна нет. Если дальше так дела пойдут — плюну, выйду из колхоза! — возмущался рыжебородый Ахмат.

«Дизирганизатор», — подумал Сафар, вспомнив слово, услышанное от Камилы. Этот Ахмат всегда был такой. Как только Сафар раньше не замечал... Эх, видно, многого он еще не понимает... Но кто бы мог подумать, что он пойдет против власти?! Ну что ж, может, оно и к лучшему. Проболтался, показал свое нутро — теперь не трудно поставить его на место. Но как быть с теми, которые точат зубы исподтишка? Попробуй пойми, что у них на уме... Сегодня улыбаются председателю, а завтра — выпади случай — камнями закидают! Сейчас даже родному отцу нельзя верить... Прав был Камиль — вот и пришлось столкнуться с явлениями, о которых он предупреждал. Похоже, врагов-то и впрямь больше, чем думал Сафар. И кто его тянул за язык — сказать, будто в ауле большинство бедняков! Что он, к каждому заходил, проверял?.. Только прикидываются бедными, у всех наверняка есть припрятанное. Вон сколько еще семей в колхоз не вступило, — значит, прячут добро. Не было бы ничего — поспешили бы в колхоз... А если так — нечего тут с ними

рассуждать. Так, глядишь, и на голову сядут. На низкий забор любой взберется, никому он не преграда... Надо быть повыше! Глуп ты, Сафар, верно Камиль говорил: не проявил ты себя вовремя, не сумел показать, в чьих руках власть! Потому сегодня этот рыжий и прицепился к тебе. А завтра — другой... Это что же тогда будет?.. Нет, нельзя давать им спуску!

И Сафар сказал:

— Из вас, как из болтливой бабы, слова мешками сыплются. Идите работать! А семена — по ваша забота. Найдем семена на посев, не ваше это дело.

— Как не наше? — послышались голоса.

— Разве мы не в этом ауле живем?

— Все так думают, как мы!

— Так думают подобные вам! — отрезал Сафар. — Пусть почешут языки, нам от этого хуже не будет. — Он повернулся и вошел в правление.

Наибхан заметила, как дергается его длинная тонкая шея и ходит взад-вперед острый кадык под горлом...

— Вот, слышали разговорчики?! — спросил он Наибхан и сидевшего здесь же Аубекира. Никто не ответил ему. Сафар, тоже ничего больше не говоря, взял со стола Аубекира местную газету и углубился в чтение. Попалась на глаза статья, где шла речь о председателе соседнего колхоза. «Председатель неправильно повел сбор зерна, — с трудом одолевая мелкий прифт, читал Сафар. — Данный вопрос не обсуждался на собрании бедняков, а только на сходе. На сходе же большинство было зажиточных. Они приняли решение в свою пользу: комиссия для сбора зерна образована из их числа...»

Гм... Какая разница, на сходе была выбрана комиссия или на собрании бедняков? Важно, что народу было много, очень много. И Камиль присутствовал... Нет, о Сафаре такое не напишут, не стоит беспокоиться. А если и вздумают написать, найдутся недруги, — ничего у них не выйдет. Сам Камиль был здесь...

А это что такое?.. «Руководство колхоза «Красная Армия» попустительствует кулакам. С ними не ведется надлежащая борьба...» — так начиналась другая статья. Сафар почувствовал, будто его что-то кольнуло. Беспокойство охватило его. Отчего бы это, в чем дело?.. Он и сам не мог понять. Посмотрел в окно, где все было залито солнцем, увидел свой нарядный «фаэтон», своего серого

красавца жеребца, роющего копытом землю, — но не порадовался, не повеселел, как обычно, когда глядел на них.

— Вы читали это, дорогие? — спросил Сафар Аубекира и Наибхана.

— Что? — откликнулся Аубекир.

— Вот это, говорю! — Сафар положил газету перед Аубекиром и ткнул пальцем в статью.

— Читал, ну и что?

— Не нравится мне это... Как бы о нас не написали подобное. Запляшет тогда по нашим спинам палка...

— А я-то думаю, о чем он. — Аубекир отвернулся от газеты, поднял взгляд на Сафара. — Мне палки бояться нечего, вины за собой не вижу. Если у тебя какие промахи...

— Что ты мелешь?! — вскинулся Сафар. — О каких промахах говоришь? — Надвинув шапку с красным верхом на самые брови, он навис над председателем аулсовета.

— Ну, а что же тогда шарахнешься как заяц? — не обращая внимания на его загал, проговорил Аубекир. — Мало ли где дела ведутся неправильно. Мы за себя ответим, если надо будет.

— Да разве в том дело, чтобы ответ держать? — не успокаивался Сафар. — Ведем ли мы борьбу с кулаками и подкулачками? Не слишком ли мирно живем? Скажи, сколько у нас раскулачено, с тех пор как я стал главой колхоза? Сколько выявлено врагов?..

Аубекир улыбнулся.

— Напрасно ты смеешься!

— А у тебя что, обязательства такие есть, планы? — посерьезнел Аубекир. — Если не оказалось у нас врагов — это разве плохо? Радоваться надо, а не печалиться!

— Это с какой же радости нам той справлять? Не вижу такой причины, — стоял на своем Сафар. — Ты разве не слышал сейчас этого рыжебородого? Самую настоящую кулацкую аристократию ведет! Пора поставить его на место. Нельзя откладывать! Как ты на это смотришь? И не он один. Думаю, приходившие с ним — не лучше.

— Ну что ты, Сафар, — решила вступить в разговор Наибхана. — Какой же Ахмат враг? Чем он отличается от нас?

Наибхана, зардевшись, смотрела на председателя, и он, прищурив глаз, тоже смотрел на нее...

— Правильно сестра говорит,— поддержал ее Аубекир.— Ахмат — передовой колхозник. Бедняк, всю жизнь в пужде прожил...

— Передовой, говоришь? А на кого он сегодня замахнулся? На власть замахнулся!— убежденно говорил Сафар.— А какая разница между кулаком и врагом Советской власти? «Где зерно, почему отправили куда-то?..» Вы послушайте, что он говорит! Много берет на себя. Тот, кто смеет говорить такие вещи о... Ну нет, вы как хотите, а я этого так не оставляю! — Лицо Сафара покрылось красными пятнами, глаза разгорелись.— Да откуда вы знаете, что у него на душе? Кто его возьмется защищать? Ты, что ли, Аубекир? Или ты, Наибхан?

— Я смогу!— решительно ответила Наибхан. Она тоже разгорячилась, куда девалось ее смущение.— И Край его не дал бы обидеть...

— Ты за Край не говори!— еще сильнее распалился Сафар.— Ему хорошо: уехал на учебу в Нальчик, и заботы нет. А решать нам. Вот и отвечай за себя. И ты, Аубекир. Ты теперь не только глава аула, Край замещает в ячейке. Надо принимать меры, а то дождемся, напишут и о нас так же, будем кусать губы, да поздно!..

— Он работает хорошо...— как-то нерешительно произнес Аубекир, старательно отрывая клочок газеты на самокрутку...

Наибхан с удивлением взглянула на него. Чего это он вроде бы испугался? Разве в том дело, что Ахмат работает хорошо?.. Какой же он враг?! Неужто Аубекир не понимает, что Сафар не прав? Как можно так просто взять и зачислить честного колхозника во враги?.. Как жаль, что нет Край. Надо же было ему в такое время уехать на курсы... Он бы не промолчал. А этот Аубекир... Посмотрите на него! Притих, как мышь... А Сафар молотит и молотит, вон как вышагивает, будто он тут единственный хозяин...

...Положим, не прав Сафар,— думал между тем Аубекир.— Ну, отстоит он Ахмата... А вдруг председатель окажется прав? Что, если Ахмат... Кто его знает... Как можно защищать кого-то, если не совсем уверен в нем? У Аубекира тоже не две головы, одна. А сколько детишек надеются на нее?.. Что с ними будет, голопузыми, если с ним что-нибудь случится?.. Аубекир сам с детства остался сиротой, немало пришлось хлебнуть... Теперь,

слава богу, вроде налаживается жизнь, дети без ужина не остаются... Почему Наибхан сама-то молчит? Будто язык отнялся. Чего боится? Председатель к ней сватается... Не сделает худого!

...И скажу, — думала в это время Наибхан. — Ударят меня, что ли? Вот сейчас... С чего только пачать?.. — Но почему-то она никак не могла прервать своего молчания. — И то верно, она знает Ахмата не больше, чем Аубекир. Что ей сказать, если он молчит? Ну, работает хорошо, беден. А еще что?.. Что еще?! Эх, ты, девушка, стыдись, ты такая же трусиха, как Аубекир, — вот что!.. Нет, нет, не в этом дело. Не потому она не вставит своего слова, что боится. Разве прилично говорить горянке, когда молчат мужчины? — оправдывала она себя. И тут же возражала: оставь, не ищи оправданий, если смелости не хватает! Сейчас скажу... А вдруг они оборвут: придержи-ка, скажут, девушка, свой язык! Ага, смотри-ка, оказывается, со стороны легко рассуждать. А как до тебя коснулось — совсем другое дело! Для своего оправдания целый мешок причин нашла... Неужели все так? Нет, нет, она не такая. Придет время — она свое слово скажет, не промолчит. А сейчас что ж... Что она может? И удобно ли? Не успела появиться, скажут, а уже полезла со своей мешалкой в чужую мамалыгу!.. Осудят ее: ты, скажут, девушка, в мужские дела вмешиваешься... Ну-ну, успокаивай себя, обманывай. Кого ты обманываешь? Себя только! Трусость свою! — окончательно рассердилась на себя Наибхан.

— Эй, председатель! — слышался за окном голос Эйналука. Все трое выглянули наружу. У конторы стояли две пустые подводы, на которых сидели возчики, а Эйналук, опираясь на свою палку, ожидающе смотрел на окна правления и аулсовета.

— Иду! — откликнулся Сафар и обернулся к Наибхан и Аубекиру: — Готовься, сестра. Не забудь карандаш с бумагой. И ты, Аубекир, собирайся, — с этими словами он вышел.

— Подожди, Аубекир, — задержала Наибхан председателя аулсовета. — Хочу сказать тебе... Разве ты плохо знаешь рыжебородого Ахмата?

— Ну, и что же? — насторожился Аубекир.

— Может, не знаешь?

— Да как сказать... — пожал плечами Аубекир. — Знаю, пожалуй.

— И я его знаю! Отчего же... отчего же мы...— девушка волновалась, говорила торопливо и сбивчиво.— Сегодня Сафар так несправедливо говорил о нем, а мы не защитили. Как нехорошо... Пострадает Ахмат — падет на наши головы позор...

Аубекир поднялся, тоже подошел к окну, — сверкнули на солнце серебряные язычки его пояса.

— Э, сестра, да ты еще, оказывается, совсем ребенок! Ну, знаю я Ахмата — так ведь внутри у него не шарил... Понять нутро человека трудней, чем достичь седьмого слоя неба! Улыбается тебе иной, а что у него тут, — Аубекир прижал руку к сердцу, — поди догадайся... Ахмат вроде неплохой человек, а там кто знает...

— Тогда, выходит, ты согласен с Сафаром?

— Могу поклясться душой отца — не согласен!

— Значит, считаешь — не прав Сафар?

— Клянусь отцом, и так не считаю! Зачем врать...

— Послушай, Аубекир, но как же ты поступишь, если завтра Сафар причислит Ахмата к врагам? Допустишь ли, чтобы пострадал невинный?

Аубекир, снова усевшийся за стол, не знал, куда деваться. Пот выступил у него на лбу, глаза блуждали, перебегая с Наибхан на лежавшие перед ним бумаги и не задерживаясь ни на чем...

— Сестра моя, — сказал он наконец. — Я о тебе слышал много хорошего. Слышал, ты девушка совестливая, уважительная, самая скромная в ауле. Что же ты допрашиваешь меня, как ангел Джабраил на том свете?! Уважь хотя бы мой возраст, я ведь постарше тебя...

— Прости, Аубекир, если в чем не права. Только у кого же мне спрашивать, если не у тебя... Я комсомолка, ты — партиз. — В окно Наибхан видела, как Эйналук, едва достававший головой до подбородка Сафара, что-то толкует ему. — Я ведь только что хочу сказать... — продолжала она в раздумье. — Нельзя, чтобы кто-то страдал из-за равнодушия... С какой совестью живут люди, которые, желая, чтобы в их доме лампа светила ярче, заваливают золой очаг соседа? Не похожи ли мы с тобой на таких людей?..

— Я, Наибхан, никому не открываю двери ада и ни перед кем не закрываю райские врата!

— Насчет рая ты верно сказал, согласна. А вот двери ада, конечно, легче открывать...

— Ты думаешь, что говоришь?!

— Думаю, думаю.

В кабинете наступило молчание, слышны были только неясно доносившиеся с улицы голоса.

— Сестра, пойми же меня,— заговорил перепитательно Аубекир.— Допустим, скажу я, что Ахмат — чист. А вдруг...

— Но ты же знаешь, что он...

— Постой, дай договорить... Вот... Отстою я его — а завтра он окажется подкулачником! Разве не было такого? Не стану ли я человеком, покровительствующим врагу? Что тогда скажет мне партия?..

— А что скажет партия, если мы очерним белое?

— И это так...— Аубекир развел руками.

— Так-так... Должен же ты на что-то решиться! — потеряла терпение Наибхан.

— Опять ты за свое! — с досадой воскликнул Аубекир. И замолчал, потому что сказать и в самом деле было нечего. «Вот невоспитанная,— думал он.— Откуда только взялась такая выскочка!.. Не было печали... Зачем согласился, чтобы она здесь работала? Не хватало еще тут женщины! Его жена тоже болтлива. Но эта... Не приведи бог, не встречал еще такую!..»

— Вот что тебе скажу,— нашелся наконец Аубекир.— Хочешь тишины, спокойствия? Каждый этого желает. Не шуми! — отрубил он и вытер раскрасневшееся лицо и шею носовым платком.

— Спасибо! Пожелал мне такого, что и родители не догадались бы! — со злой усмешкой бросила ему Наибхан.— Только не нужны мне такие советы. Я, девушка, не позволю себе сказать «не знаю» про то, что знаю наверняка. А тому, кто носит шапку, это и вовсе не к лицу!

— Аубекир, Наибхан, скоро ли вы там? — донесся с улицы голос Сафара.

— Ладно, девушка, пойдем,— сказал с облегчением Аубекир.

— Что ж, пошли.

В эту минуту она твердо решила про себя, что сделает все, чтобы защитить Ахмата, если будет нужно.

Лучше начинать с другого конца аула и, постепенно нагружая подводы, двигаться к правлению, — предложил Эйналу. И все согласились с ним: кладовая ведь под зданием правления. Просторная и пустая... Ключи от нее держит при себе Эйналу — он кладовщик. Что-то попадет сегодня в эту кладовую?..

Наибхан и другие члены комиссии шли за подводами пешком, а Эйналу — видно, тяжело ему брести через весь аул — сидел на одной из подвод, подложив под себя пустые мешки.

Повозка подскакивала на выбоинах дороги, и Эйналу мотало в ней, как порожний бурдюк. Напрасно сиделся, думал Эйналу, теперь весь избит... А что скажут со стороны, когда увидят его в таком положении? Ясно, станут злорадствовать: мол, стар Эйналу, немощен, и его не пощадили годы... Да, не следовало бы показывать свою слабость перед этими попрошайками. В свое время не одному насолил, а теперь они готовы его с землей сровнять, ничего, конечно, не забыли...

Эйналу посмотрел по сторонам: в ближних дворах не было ни души. Повымирали они все, что ли? Дай-то бог! Но тут же он понял, почему никто не показывается, и обеспокоился: много ли соберешь, если всюду будешь тыкаться носом в замки... А не хотелось бы возвращаться пустыми. Ну, уж Эйналу постарается, чтобы подводы не дребезжали на обратном пути. Поможет колхозу!.. Сегодня он вроде бы вместе с этими... Что ж, на чью повозку садиться, того и песню пой. Все увидят, как он старается для их «социалистического хозяйства». Но хорошо бы при этом лишить их последнего куса! Пусть бы тогда перепрызлись и растащили свой колхоз! Всевышний, пошли такой день, чтобы Эйналу мог утолить свою жажду!..

Колесо неожиданно въехало в яму, повозка дернулась, и Эйналу упал на спину, задрал ноги. Забарахтался, пытаясь подняться, — никак не удавалось.

— Глаза повылазили, что ли?! — срывая зло, Эйналу ткнул палкой в залатанную спину возчика, молодого парня.

— Да что я сделал такого? — притворно недоумевал тот, хихикая. Он даже остановился — до того ему стало смешно.

— Холера тебя забори! — ругался Эйналу.

Видно, думал он, этого поганца насмешил — не беда. Худо, если обрадовал идущих за повозкой, чтоб им в костре сгореть! Ну, так и есть: обернувшись, старик увидел, что Наибхан разбирает смех и она еле удерживает его, прикрывая рот концом платка. «Кобыла бессовестная, подавиться тебе своим платком!» — пожелал Эйналуку. Его взгляд оцупал девушку. Ишь, кобылка, бедра какие... Нечего сказать, хороший кусок достанется Сафару, не заболит у него живот! Красива, как сама Гошеях¹. Эх, былая жизнь, былые времена!.. Прошли те времена, поломалась жизнь... Не будь этого — не досталась бы она никому иному, кроме Эйналука. Веры бы лишился, половину своего богатства отдал — но добился бы, чтоб она принадлежала ему!.. А сейчас, гляди, смеется, как над старым ослом... Э, да чему тут завидовать! Ничего в ней особенного нет. Кобыла и есть кобыла. Видно, картошку лопает, потому такая здоровенная...

А Наибхан, уловив взгляд Эйналука, думала о том, что напрасно она согласилась идти с комиссией собирать зерно и описывать скотину. Не из-за этого старика, конечно. Ведь она — девушка, прилично ли ей ходить по дворам вместе с мужчинами... Могли бы и без нее обойтись. Да и не очень-то правилась Наибхан эта затея. Кто-то их добром вспоминает? Скорее проклянут... Нет, как-то по-другому надо было помочь колхозу...

Во дворе крайнего дома, как и всюду, ни души. Эйналуку, соскочив с повозки и не дожидаясь попутчиков, прощмыгнул за ворота. Хозяева, видно, ушли недавно (пусть это будет последний их выход!): еще не высохла вода, которой брызгали землю, подметая двор. Эйналуку направился к навесу. Под ним валялся всякий хлам: старая люлька, рассохшиеся колеса от арбы, изношенные чабуры, вилы с обломанным держакон, ослиное седло, ржавая, зазубренная коса... А на стене висели самые, похоже, необходимые вещи: солома для чабуров, рога дикого козла, новая кожаная веревка... Вевевка! Глаза Эйналука загорелись. Зачем она тут? Если бы попала в хозяйские руки, не висела бы тут без пользы...

— Эйналуку, чего стоишь, разве не видишь — замок? — окликнул его Аубекир, оглядывая двор через старый плетень.

¹ Гошеях — красавица из народных сказок.

— Хозяев ищут. Куда они запропастились?..

— Да не покинет благополучие твой дом — разве хозяев ищут под навесом?

Эйналуку не понравилась насмешка, но он смолчал.

— Видали такое! — обратился он к подошедшим Аубекиру и Наибхан. — Мы, не щадя своих старых ног, пришли к этому сыну Чокка, а он будто провалился! «Дезертир» — называют подобных. Запиши, Наибхан. Надо его оштрафовать. А зерно пусть притащит потом на своем горбу! — Эйналук пристукнул палкой о землю.

— За что же штрафовать? Сам Чоккаев на колхозной работе, а жена его, наверно, отлучилась ненадолго, — возразила Наибхан. — Да и что у них взять..

— Что взять! — передразнил Эйналук. — Если надеяться только на то, что даст Таусо, колхоз не встанет на ноги! Куда они все разбежались? Этих тоже не видно, — Эйналук указал палкой в сторону соседнего дома, на двери которого также висел замок. — Разве это честные колхозники?!

Наибхан и Аубекир промолчали. «В самом деле, — подумала Наибхан, — отчего они пошрятались? Будто их подучили... Но кто мог сделать такое?..»

Во дворе следующего дома навстречу им вышла старая женщина в длинном черном платке, что-то тихонько напевая себе под нос.

— Добрый день, Кегюрчун! — как можно приветливее обратилась к ней Наибхан.

— Добро пожаловать, дай вам бог счастья! — откликнулась старуха.

— Приходится жаловаться — нет у нас другого выхода, даже если будешь тнать нас палкой, — сокрушенно вздохнул Эйналук.

— Что вы, что вы, не приведи аллах! Проходите в дом, проходите! — Кегюрчун расторопно открыла дверь в комнату.

— Сестра, некогда шам расслаживаться. — Эйналуку не нравилось радушие хозяйки. «Сейчас я остужу твой пыл», — подумал он. — Сестра, боюсь, весть, с которой мы пришли, не окрылит тебя...

— Ну что ты говоришь. Как аул, так и мы, — не смутилась Кегюрчун. — Ладно, не хотите входить в дом — присядьте хоть здесь, — пригласила она, вынеся пеструю кошму и расстелив ее на скамье. — А ты что стесняешь-

си?—обратилась она к Наибхан.— Будет тебе, у нас ведь нет сына, за которого могли бы тебя сосватать! Садись-ка,— старуха коснулась локтя Наибхан.

— Хватит, Кегюрчун, не беспокойся,— сказал Эйналук. Ты знаешь, что заставило нас прийти...— Он прикрыл глаза, словно задумался на миг.— Сегодня мы пришли к тебе как нищие. И не к одной тебе...

— Пусть всевышний не даст вам испытать судьбу нищих!

— Омин... Но такое решение приняло правление колхоза... Да и ты наверняка не будешь против него. Короче, мы собираем зерно для посева, проверяем, нет ли припрятанной скотины, ну, ты знаешь, что я тебе толкую... Сейчас наша помощь колхозу важнее, чем целебное молоко дикой козы для Умара, брата Бийнегера...¹ Ты слышала про Бийнегера?— спросил Эйналук.

— Еще бы не слышала, я ведь горячка!— гордо ответила Кегюрчун и продолжила:— Поверьте, по мне — это решение справедливо. Наш колхоз подобен дому, который только начали строить. А в таком деле без помощи родственников и соседей не обойдешься. Конечно, и мы поможем, в стороне не останемся...

Наибхан заметила, что ответ старухи не понравился Эйналуку.

— Ладно, сестра,— оборвал он,— ты все понимаешь правильно. Но оставь разговоры и дай, что можешь. Нам некогда...— Эйналук повернулся к Наибхан:— Сколько она там должна?

Девушка перевернула страничку самодельной тетради.

— Два пуда.

— Не так уж много,— отозвался Эйналук.

— Что ж, это нам по силам,— видно, знали наши возможности,— согласилась Кегюрчун.— Только...— она замилась,— наш хозяин ведь недавно относил, не знаю, сколько там было... Поверьте, не так уж много осталось... Ну да ладно, поделим пополам, сколько есть. А то погодите малость, наш-то уехал в Шхалуку, менять осла на зерно...

— Ждать нам без пользы, неси, что есть,— приказал Эйналук. Кегюрчун засеменила к кладовке и скрылась в ней.— Не верю я этой карге,— сказал Эйналук, степенно

¹ Умар, Бийнегер — герои нартского эпоса; молоко дикой козы должно было исцелить Умара.

прохаживаясь взад-вперед с заложенными за спину руками.

— Отчего же не верить? Старуха вроде сознательная...— подал голос Аубекир.

— Вот беда, здесь даже меньше, чем я думала,— сказала Кегюрчун, появляясь из дверей кладовой с небольшим мешком.— Ну, воля ваша, решайте, как быть...

— И это ты хотела делить пополам?!— воскликнул Эйпалук. Да здесь самое большое пуд! Как хочешь, сестра, пайди два пуда.

— Пусть твои недуги перейдут ко мне, где мне взять два пуда?

— Так я тебе и поверил! Припрятала зерно? Смотри, закон тебе не простит. «Однако напрасно я так,— подумал тут же Эйпалук.— Надо аккуратнее...»

— Эйпалук, да не сходит с твоих усов блеск жира, клянусь своими сединами — не обманываю вас! Разве тебе отдаю или Наибхан? Для колхоза ничего не жалко. Что ж ты припираешь меня к стене? Ну, ищи сам, что найдешь — не оставляй...— Кегюрчун отвернулась, прикусив губу, глаза ее потускнели.

— Да где ж нам найти. Понятное дело, ты небось упрятала, как кормилица княжну Гошаях в крепости!— Эйпалук заставил себя улыбнуться, снова кстати вспомнив сказание.

— Как же, как же, вош у меня какая крепость!— старуха обвела рукою двор.

«Еще бы не хватало тебе в крепости жить!»— подумал Эйпалук.

— Хватит, сестра, пошутили — и довольно. Не задерживай нас. Добавь еще пуд, остальное — твое. Если любишь колхоз — должна уважать и его законы!— Эйпалук снова пристукнул палкой.

Аубекир понимал, что Эйпалук перегибает. Но удобно ли сейчас заводить спор между членами комиссии? Что скажет та же Кегюрчун? Пойдут по аулу разговоры... Надо будет его, конечно, потом поправить... А пока Аубекир отошел в сторону и играл с детьми Кегюрчун.

Понимала и Наибхан, что творится неладное. Но почему молчит Аубекир?.. Он — глава аула, мужчина... Прилично ли ей, девушке, первой вступать в спор со старшим?..

— Что же мне теперь делать-то?— растерянно гово-

рила между тем Кегюрчун.— И почему это хозяйки не возвращается...— Она взглянула на Наибхан.— Погодите немного, сбегая к соседям, может, дадут в долг...

И тут Наибхан не выдержала:

— Кегюрчун, не надо никуда ходить! Мы не требуем невозможного. Ты отдала все, что могла, мы тебе верим, не беспокойся. Ведь правда же, Эйпалук, Аубекир?— сказала Наибхан, краснея как мак.

Эйпалук поднял голову, метнул на нее суровый взгляд.

— Дочь моя,— заговорил он тихо, с расстановкой,— тебя зачем сюда послали? Нет, ты скажи!— он стукнул палкой о землю.— Ты прислана сюда лишь для того, чтобы записывать, кто сколько дает. Зачем же ты заливаешь пламя, которое только начинает разгораться?! Зачем напрашиваешься на неприятности?.. Да останутся сказанные слова в этом дворе. А то ведь...

— Какие такие слова?— не смутилась Наибхан.— Это я могу повторить где угодно!

— Э, лучшая дочь своей матери, не знаешь ты жизни...— покачал головою Эйпалук.

— Оставь, милая,— старуха незаметно для Эйпалука подмигнула Наибхан.— Эйпалук ведь не желает мне худа. Видно, так надо. Он знает, что делает. Не следует ломать большое дело из-за такой малости. Как-нибудь обойдемся. Схожу к соседям...

— Повремени, сестра,— сказал Эйпалук.— Найдем выход...— Он косо глянул на Наибхан и проговорил тихой скороговоркой:— Ну, милая моя, пусть я непохороненным останусь, если еще пойду с тобой на какое-нибудь дело. Клянусь при Аубекире!.. Сестра!— снова обратился он к Кегюрчун.— Смеряй-ка то, что в мешке...

Старуха вынесла из дому ведро, узорчатую деревянную чашку и запустила ее в мешок... Над ведром поднялась белая пыль— Наибхан почувала запах жареной кукурузной муки.

— Так,— сказал Эйпалук.— А теперь, сестра, чтобы не было никаких кривотолков, добавь еще чего-нибудь...

— Чтоб мне веры лишиться— не знаю, что добавить!

— Сейчас время такое: меньше продуктов— меньше забот...— тихо, чтобы слышала только старуха, сказал Эйпалук и добавил громко:— Проводи-ка меня в кладовую...

Кегюрчун впереди, за нею Эйпалук направились к кладовой.

— Послушай, Аубекир, что же он делает, почему ты молчишь?!— заговорила Наибхан взволнованно.

— Э, Наибхан, сегодня он наш тамада. Сами выбирали... Какая будет вера комиссии, если начнем ссориться между собою?

— А ты подумал, какая вера будет колхозу, если мы станем обирать бедняков?! Не пойдет это впрок колхозу, поверь мне!

— Наибхан, перегибов мы не допустим. Я ему скажу после... Но подумай и вот о чем: если будем верить каждому, кто говорит «нет», то вовсе ничего не соберем.

— Каждому не верь, а эта женщина не обманывает!— не отступала Наибхан.

— Хорошо, хорошо, разберемся,— успокаивал ее Аубекир.

— Не так уж ты плохо живешь, сестра,— говорил между тем Эйналук, оглядываясь в кладовой.— И зачем тебе надо было вступать в этот бедный колхоз, жила бы себе, горя не ведала... Ну, не бойся, не бойся,— зашептал старик,— сделаю так, что не заберут его эти... Так... А вот это давай, что поделаешь...

— Сыр-то зачем забираете? Мужчина и так слаб, как бы не свалился на весенних работах,— зароптала Кегюрчун.

— Ох, принудили, сам-то я даже соломинку не переломил бы в чужом дворе... Ну, ладно, возьми, припрядь этот кусок, чтобы те не заметили. Я прикрою дверь... Вот и хорошо...— Эйналук высунул голову из кладовки.— Эй, царень, где ты там?— крикнул он возчику.

...Когда все, на что указал Эйналук, было погружено, Кегюрчун вслед за ним вышла из кладовой. Наибхан заметила, как билась на ее худой, морщинистой шее темно-голубая жилка... Ей хотелось как-то успокоить старуху, что-то сказать доброе, но слов не находилось...

Эйналук задержался перед хозяйкой на середине двора.

— Ну, спасибо тебе, сестра,— сказал он тихим, соболезнующим голосом.— Понимаю, не особенно-то мы тебя обрадовали... Что делать, не наша вина... Мы ни к кому с удовольствием не заходим. Иного выхода нет, терпи...

— Да сопутствует вам счастье,— еле слышно произнесла пожелание Кегюрчун.

Когда немного отъехали от ее двора, Наибхан опять не сдержалась:

— Что это значит, Эйналук, почему ты ограбил колхозницу?! Говорите, что хотите, я такого не пойму!

— Ну как ты рассуждаешь, девушка?— Эйналук старался говорить спокойно.— Разве я все это возу в свой дом? Ведь для колхоза. Что ты все насакиваешь на меня? Не помогаешь, так хоть не мешала бы. Недаром сказано: от плохого понутчика проку, что от дырявой шубы. Вот раскричалась курица петухом! К добру ли это?.. А может, ты за свою семью беспокоишься? Не бойся, ничего не возьмем, ты ведь тоже как-никак начальство...

Наибхан вспыхнула. Как он мог сказать такое!.. Ну что ж, раз так, то и она не пощадит его седины...

— У вора все воры, Эйналук! Может, ты думаешь, оберешь односельчан — забудут про тебя, не понадобится колхозу твое добро?!

Наибхан и не подозревала, что попала в самое больное место Эйналука, угадала тайную его мысль. «Ах, ты... — думал он, разом как бы ослабев весь и ощутив свинцовую тяжесть тела. — Горе отправившемуся в путь со скверной жепщиной! Если она сейчас разговаривает так, то что же дальше будет, когда станет женой Сафара?! Тогда хоть из аула беги — разве Сафар ее ослушается, поступит по моему совету?.. Ну нет, пташка, не бывать тебе женой председателя! Да падет на твою голову позор, какого еще не знала горянка!»

— Дочь моя,— ласково заговорил старик, замедля шаг.— Я относился к тебе, как к родной, а ты меня обидела.. Язык у тебя, моя маленькая безбожница, подобен ножу, слова твои — стрелы... Но не следует нам ссориться, в большом деле необходимо согласие. Наше дело — нужное народу, государству...

— Эйналук, мы не то делаем,— не отступала Наибхан. — Молла-невежда веру портит — так и у нас получается!

— Оставьте ссору, услышат,— остановил их Аубекир.— О таких вещах есть где поговорить. Не на улице, не на людях же...

— Хорошо, еще поговорим!— оставила за собою последнее слово Наибхан.

В выходной день не надо идти в контору. Наибхан переделала все дела по дому, помогла матери и теперь не находила себе места. Какое-то неясное ей самой беспокойство, какая-то смутная тоска тревожили ее...

Она вышла за аул, остановилась у обрыва над рекой. Отсюда все вокруг видно как на ладони. Вон там был когда-то большой луг. В детстве он казался бескрайним... Теперь это поле. Чернеет свежей пахотой, курится легким сероватым дымком, испаряя влагу. По полю ходят тоже черные, как ночь, грачи, спуют взад-вперед, будто что-то потеряли. Но они-то ничего не теряли и знают, что ищут. А вот детство Наибхан — не на этом ли лугу затерялось?..

Наибхан вспоминала, как бегала сюда каждый день вместе со своими босоногими сверстниками. И Шаруу был с ними... Здесь всегда росла высокая густая трава, было много цветов, дикого укропа, гирхолы¹. Дети любили этот луг. Но их часто прогонял отсюда всадник, — пуще змей боялись они его кнута. Тогда Наибхан не понимала, отчего всадник гоняет их. Теперь-то понимает... Как только он показывался вдали, дети пускались бежать, путаясь ногами в густой траве. По границе луга протекал арык. Тогда он казался рекой: не войти — глубоко, не перепрыгнуть — широко. Но чего не сделаешь, когда за спиной свистит кнут! Наибхан прыгала в арык, и мутная вода уносила согретые на ее груди цветы...

Этот арык и сейчас течет вдоль поля, — Наибхан свободно перешагивает его. И поле теперь дремлет мирно и спокойно, распахнувшись для всех, теплое и огромное, как море. Да, оно теперь принадлежит всем, никто уже не будет лишь издали завидовать его богатству. Плодородна его земля, и жить оно начинает только теперь, — недалеко то время, когда на его просторе зашумит ячмень, заволнуются под легким ветерком тучные колосья...

Наибхан обернулась к реке. Баксан внизу бурлил, бился о камни, вздымая привы волн, будто необъезженный конь, вставший на дыбы. Но странное дело — в грозном его шуме девушке слышалось совсем не то, что так часто слышалось раньше. Наибхан помнит, как маленькой

¹ Гирхола — растение со съедобными корнями.

она нередко просыпалась по ночам от рева разбушевавшейся реки, просыпалась с трепетом в сердце и видела над собою тревожное лицо матери. Девочка протягивала к ней руки, прижималась всем толком... С незапамятных времен протекал Баксан рядом с горскими аулами — и всегда был страшным соседом. Сколико раз выходил он из берегов, сметая бедные сакли... Таким был Баксан, приносивший лишь несчастья. Приходила на его берег опозоренная горянка, садилась на тот вон камень, рыдала, не решаясь отдаться волнам. «Спеш-ши, спеш-ши», — уговаривал ее Баксан, подкатывая волны к самым ногам...

А сейчас совсем иная у него песня! Говорят, скоро он станет зажигать свет на свадьбах тех же девушек! Он бежит, не зная усталости, днем и ночью. Далека его дорога. И пускай не несет он на себе кораблей и лодок: чистота вечных льдов — его подарок морю. Наверно, лишь там, у моря, он разливается спокойно и отдыхает, как нарт после боя... Шуми же, шуми, Баксан, обгладывая серый, как крыло куропатки, камень, на котором в детстве сидели Наибхан и Шарау. Шуми... Пусть лишь твои серебряные брызги, а не слезы горянки орошают этот камень. Пой свою песню. Детям — колыбельную, а девушкам — о любви...

Наибхан взглянула на плывущие по небу облака. Они плыли туда, в сторону Гижги, где пасет овец Шарау. Как давно они не виделись... Поплыла бы и Наибхан туда белым облачком... Нет, не поплывешь... Она запела потихоньку:

Далеко в синем небе стада облаков,
Словно гонит Шарау овец на рассвете...
Облака, облака,
Сердцем правит любовь,
Вами — ветер.

Наибхан осмотрелась украдкой. Никто не слышит ее. Мальчишки, собирающие на пахоте корни тирхолы, не обратили внимания. Она осмелела — шум реки заглушит ее голос, запела громче:

Над пастушьей тропой, уходящей в луга,
Вы, послушные ветру, плывите, плывите...
Не увижу Шарау.
Хоть вы, облака,
На него поглядите.

Похоже, ребята все же услышали: бросили свое занятие, устали на нее. Наибхан допела совсем тихо:

Мне бы облаком стать — я летела бы вслед,
Я росой бы упала на теплые травы...
Облака, облака,
Мой девичий привет
Передайте Шару¹.

Наибхан посмотрела на аул. Там и тут с веселым го-моном вспахивали огороды колхозников. Солнце играло на рогах волов, поблескивало на отполированных углах ярем. Немало еще хозяев ждут, когда дойдет очередь до их огородов. Наибхан не знала, дождутся ли они с матерью: ведь их семья пока что принадлежит к единоличникам, а тягца не хватает... Надо, надо вступить в колхоз. Не ради огорода, конечно. Она — комсомолка, а теперь еще и «начальник», должна пример подавать. И разве вдвоем им выбиться из нужды? Упрямая мать, никак не хочет соглашаться. Неужели не видит, что делается в ауле? Люди словно окрылились... Правда, не все такие. Некоторых не веселит ни весенняя пора, ни радость соседа. Вон они стоят в своих дворах, не в силах оторваться от соседских участков, чернея от злости, словно распаханная земля... Наибхан знает: эти ненавидят и ее. Какими глазами провожают ее, когда она идет по аулу: будь у них вместо глаз пули — убили бы! Шепчутся за ее спиной... О чем шепчутся эти мужчины? Наибхан догадывается: наверняка говорят что-то плохое о ней... Знает она таких, на скакупа их не сажай — дай только посплетничать. Болтливые женщины. Ишь расселись... Вместо того чтобы трудиться в такую пору, скучились, как овцы в жару, бездельники...

15

Весть о том, что Наибхан стала «начальником», принес в кош вернувшийся из аула напарник. Шару сделал вид, что это его нисколько не задело. Кто знает, может, еще неправда, болтают только... А хотя бы правда. Раз уж променяла его на Сафара, нечего о ней и думать. Не хочет Шару знать о ней ни хорошего, ни плохого...

— Напрасно ты, дорогой, подставил подол для бабских сплетен, — оборвал он рассказ вернувшегося чабана. — Не верю я им!

¹ Перевод стихов Л. Дубаева.

Сказав так, Шарау отошел в угол шалаша и улегся на мягкой сенной подстилке. Понятное дело, думал он, не любила бы Сафара — не пошла бы работать туда, где он. Это и дураку ясно... Теперь что же... Оба начальники, целыми днями вместе... Ну и пусть выходит за него!

Так убеждал себя Шарау — и в то же время вспоминал, сколько у него накопилось причин, чтобы немедленно отправиться в аул.

— Напик! — позвал он напарника.

— Что?

Шарау молчал.

— Ну, чего тебе?

— Скажи, огороды все вспахали?

— Да кончают уже.

— А наш как, не видел?

— Ты что же думаешь, твоя старая мать вспашет?..

— А как думаешь, пора уже?

— Еще бы не пора! В самый раз сейчас семенам в земле быть... Может, поедешь?

— Да подожду еще...

Отвечая так, Шарау боялся, как бы напарник не подумал, что он спешит домой из-за Наибхал... Но еле дождался рассвета — и ранним утром уже въезжал в аул.

Эх, Наибхан, думал он, пеужели и выравду променяла его на Сафара... Чем Шарау хуже?! Не начальник, простой парень, но овец-то пасет не какого-нибудь бия, а колхозных! Правда, маловата пока его отара. Ну что ж, вступят еще односельчане в колхоз — и отара увеличится. Нет, ничем он не хуже. А этот Сафар... Да что Сафар? — оборвал он сам себя. Нечего на него обижаться. Если б любила Наибхан его, Шарау, то и Сафар не отбил бы... Зачем принуждать девушку, пусть сама выбирает... И не довольно ли ему косо смотреть на Сафара лишь потому, что когда-то тот ему не нравился. Может, он теперь самый лучший стал, может, выправился, как знать. Недаром она его выбрала, — убеждал себя Шарау.

В ныгыше, у одного из крайних домов аула, как всегда, сидели мужчины. Заметив их, Шарау еще издали спешился и подошел, ведя коня в поводу.

— Салам алейкум!

— Алейкум ассалам! — отвечали сидевшие, привставая.

— Никак с гор, Шарау? Что-то похудел ты, видать, туго приходится?

— Шарау, говорят, овцыдохнут, как от чумы?..
— Ничего подобного, все целы!
— Есть разговоры — чесотка к нашим овцам пристала?..

— Да что вы! Ни одного барашка плешивого! — Шарау едва успевал отвечать.

— Хорошо, дорогой! И отец твой был горазд ухаживать за скотиной...

— Сынок, ты не помнишь моих овец? Все ли здоровы, не похудели?..

— Как же, помню. Все здоровы, потойстели!

— Пошли, аллах, и тебе здоровья!

— Шарау, говорят, многие пришли и забрали своих овец?..

— Кто это наговаривает такое, хотел бы я знать! — возмутился Шарау.

— Фу, Касай, и как тебе в голову пришла такая чушь! — вступил в разговор пожилой мужчина, по прозвищу Кызылкез — Красный глаз.

— Видно, он и в колхоз не вступает из-за того, что верит таким слухам, — добавил Асланток, маленький смуглый старик.

— А ты-то что трещишь, будто хворост в костре?! — разозлился Касай. — Сам-то почему не вступаешь?

— Напрасно так говоришь, я еще позавчера заявление подал! — торжествующе ответил Асланток.

— Посмотрим, долго ли ты там продержишься, — не сдавался Касай. — Не дольше, чем воробей на заборе! Все вы летаете то туда, то сюда. А я подожду...

— Ты, значит, умнее всех, хочешь сказать? Ну, не стоит нам жить на этом свете, если так! — усмехнулся Кызылкез.

— Что ты, Кызылкез, разве можно на него обижаться? — подхватил Асланток. — Он ведь, бедняга, из тех, которые быка к ножу ведут, вместо того чтобы к быку с ножом подойти! — Асланток незаметно коснулся колена Шарау. — Да ведь его, гляди-ка, еще и не примут в колхоз, если даже попросится. Туда ведь только достойных принимают...

— Провалиться моему дому, если я хуже тебя! — вскипел Касай.

— Ага, зацепил я тебя все-таки! — Сидевшие в пыгыше рассмеялись.

— Ладно, смейтесь, радуйтесь своему колхозу. Слышали, у старухи Кегюрчун Эйнарук с Аубекиром даже сыр забрали? Вот! А я такой радости предпочту свою похлебку! — не унимался Касай.

— Посмотрите на него, люди добрые! — снова вступил в разговор Асланток. — Мало ли что говорят... Лучше скажи, давно ли жаловался, что вечно гиспъ на кого то спину, тепла постели не знал... А теперь заговори при нем о колхозе — шарахается, будто чесоточный от лекарства! Не нужен тебе колхоз? Ну, и ты ему не нужен. Пугали кинжал пожны: как ты будешь жить без нас!.. Так и ты. Все равно ведь вступишь, правду говорю, оллахий! — Асланток, ища одобрения, оглядел сидящих.

— По мне, прав Асланток, — поддержал его Кызылкез. — Рано или поздно, все в колхоз пойдут. В одиночку жизнь не наладишь. Не видать едиполичкику белого света...

— Объединили волка с овцой! — прервал его Касай. — Будто мне легче станет, если я соединюсь с Эйналуком! Если колхоз — опора бедняков, зачем же в него принимают таких, которые раньше с нами и разговаривать не хотели?

— Подожди, Касай, не сразу коп ставится. Не спеши! — заметил Асланток. — Вот мне недавно сын прочитал в газете: в четырех больших селениях уже организованы колхозы.

— Это где же?

— Какие селения?

— Гунделен, Верхний Баксан, Ташлы-Тала и еще какое-то, не помню.

— Это хорошо!

— Да будет это правдой!

— Ты слышал, Касай? — сказал Кызылкез. — Не жди, что колхоз развалится, лучше подумай о своей бедности.

— Напрасно ты чистишь шубу, когда весь аул стирает белье! — поддержал Асланток.

— Аул, аул... Надоели вы мне. Разве весь аул вступил? Добрая половина еще не в колхозе. Зачем я буду спешить?

— Куда уж тебе спешить! Видно, и тебя вместе с ними аллах умом обделил! — снова задел его Кызылкез.

Шарау был рад задержаться в ныгыше: пусть никто не подумает, что он стремится поскорее увидеть Наибохан. Однако этих раговоров не переслушаешь...

— Не считите за невежливость, разрешите уйти,— сказал он.

Шарау спустился к реке, чтобы напоить коня. В этом не было надобности, можно было бы напоить и дома. Но Шарау не хотел признаваться себе, какая надежда привела его сюда...

Конь пил воду, а Шарау поглаживал его приву и осматривался по сторонам. Никого... А раньше они всякий раз встречались здесь, когда Шарау возвращался с гор. Копечко, раньше она ждала его... А теперь? Теперь ей все равно,— приехал он, нет ли... Шарау вытащил из сумки желтый каймак — всегдашний гостинец для Наибхан,— повертел его в руках, еще раз посмотрел вокруг — и бросил в реку. Тут же спохватился и побежал ловить: не хотелось, чтобы вода унесла предназначенное Наибхан. Но каймак утонул...

Шарау подошел к коню, обнял его за шею. «Эх, друг мой, хорошо тебе: сыт, напоен — и ладно, никаких забот не ведаешь. Легко тебе нести свою пошу, не то что мне... Мою пошу не оставишь на горной тропе, не сбросишь со скалы, не выкинешь в реку, как этот каймак...»

Конь будто понимает Шарау — стоял смиренно, чуть посапывая, глядя на хозяина блестящими, как омытые росой темные сливы, глазами. «Эх, дружище... Вот бы позвала она сейчас нас с тобой... Ты ведь знаешь ее. Она не раз гладила тебя, говаривала: «Я скучаю даже по твоему копы...» А теперь где она?»

Так растревлял себя Шарау, будто забыв, что Наибхан теперь работает и, значит, некогда ей поджидать его здесь, у реки.

Он направился наконец к дому. Мать во дворе провеивала кукурузное зерно. Шарау спешился, привязал коня и обнял старую.

— Как это ты освободился, сынок? Кто же присматривает за овцами? — забеспокоилась Гелля.

— Я ведь там не один... Молоть хочешь, мука, что ли, кончилась? — спросил Шарау, окидывая взглядом корыто и таз, наполненные зерном.

— Нет, для них готовлю. Скоро подойдут.

— Для кого это?

— Не слышал еще? Для комиссии. Собирают на посев.

— Нельзя разве отдать зерно, не провеив? Что, у Сафара голова распухнет?

— Что ты, сынок, не Сафару, колхозу даем! Мы не хуже других!.. Ну, заходи, заходи в дом, проголодался, наверно.

— Что-то не хочется есть,— сказал Шарау, вслед за матерью переступая порог.— Вот ишимы бы смепить...

Гелля поставила перед сыном свежее масло, айрап, положила чурек, в деревянную чашку налила бузы:

— Попробуй, только вчера процедила.

Но Шарау не приступал к еде.

— Мать,— сказал он,— кажется, огороды у всех вспахали. Почему наш не тронут? Говорят, пахали всем колхозникам. А нас что, позабыли? Ты не напоминала?

— Видит аллах, говорила я сыну Сары, да... Ничего, вспашут, еще не поздно. Дойдет и до нас очередь.

— А почему у соседей вспаханы, а наш остался? Наш да еще рыжебородого Ахмата. Что говорит сын Сары?— Шарау, не замечая, ломал чурек и бросал куски на стол.

— Да он вовсе не отказывал, такой обходительный был. Говорил, как волю освободятся, так и вспашем,— успокаивала сына Гелля.

— Волю не освободились, говорит?— Шарау положил на стол крепко сжатые кулаки.— Если сегодня же не вспашут или я сам не вспашу,— разбиться мне о скалы!

— К чему такая клятва?— перепугалась Гелля.— Ну, не вспашешь сегодня огород — шичего же не случится. Зачем так гневаться...

— Мать, тот, кому выкололи глаза, не станет дрожать за брови!

— Сынок, беда начинается с необдуманного шага... Заклинаю тебя материнским молоком: не горячись! Ну куда идешь? Отдохнул бы с дороги...

Но Шарау не слышал ее последних слов — он был уже за порогом.

Однако, выйдя за ворота, он замедлил шаг. Уже перевалило за полдень, солнце стало клониться к закату, а Шарау не любил начинать что-либо серьезное со второй половины дня. Казалось бы, какая разница, но он помнил пословицу, которую так любил повторять отец: «Дело, не начатое с утра, не завершится». Может, это отрезвило Шарау, может, что другое, но, как только он вышел со двора и глянул на солнце, вся злость его испарилась. Напрасно не послушался матери,— подумал он. Ну, вспашут завтра с утра, а после обеда они посадят все,

что надо... Не надо было горячиться. Теперь придется отказаться от собственных слов — разве это достойно мужчины! Что ж, вот урок ему на будущее... А сейчас — пройтись по селу, встретиться с друзьями, зайти в правление, сказать все-таки, чтобы не забыли про их огород...

— Здравствуй, Шарау! О ком задумался?

Он обернулся — за его спиной, еле удерживаясь от смеха, стояли три девушки, его сверстницы, которых он знал еще с детства.

— Здравствуйте, здравствуйте. О вас думаю — не пригласить ли в гости!

— Спасибо, но лучше пригласи ту, которая тебе нужна. А то смотришь на нее только издали!.. — откликнулась одна из подружек, и все трое снова рассмеялись.

Не найдя, что ответить, даже не попрощавшись, Шарау поспешил прочь. Чтоб им провалиться! Теперь только детям осталось начать дразнить его. Будут скоро потешаться и стар, и млад, хоть из аула беги... Да и теперь, хоть и не говорят в глаза, а про себя что думают?.. Всякий будет судачить о нем! А все Сафар, все он! Шарау быстро шагал в правление. Ну, дорогой, напрасно ты считаешь, что можно играть моей головой. Это тебе так не пройдет. Моя честь — не лоскут для драной шубы!..

В правлении, кроме Шаха, никого не было.

— Куда они запропастились? Повымирали все, что ли?! — сорвал он свое зло.

— Боже, боже, что с тобой приключилось? — всплеснула руками Шаха и покачала своей маленькой головкой. — Ты разве не подумал, что с ними и Наибхан?

— А что мне Наибхан? Сестра, жена? Надоели!..

— Конечно, конечно, она тебе не лодня, — поспешила заверить его Шаха, но Шарау уже вылетел из конторы.

Никто из знакомых и друзей ему не встретился — да и кого можно встретить в такую горячую пору, — и Шарау отправился домой.

Еще издали он увидел у своего двора подводы, и ноги у него вдруг отяжелели, словно он сам целый день был впряжен в эти подводы. Комиссия приехала. И Наибхан с нею. Как он будет смотреть на нее, здороваться... Повернуться бы да уйти, но поздно, уже заметили...

— А, вернулся, дорогой! — приветствовал его Эйна-лук. — А я-то увидел твоего коня и подумал, что сбежал ты от нас...

— Как же бежать от гостей, приходящих с добром, — ответил Шарау, впервые взглянув на Наибхан.

Девушка покраснела, как спелая земляничина, потом побледнела, как платок. Она понимала, что лицо выдает ее, и от этого смущалась еще больше. Куда спрятать лицо? И руки мешают... Да еще в них — карандаш и бумага, совсем непривычные для горячки...

— Поздравляю тебя с должностью! А тебя — с помощницей! — сказал Шарау, здороваясь с нею и Аубекиром.

Наибхан так и не поняла, всерьез он это сказал или с насмешкой.

— Ну тебя, Шарау, вечно ты надо мной шутишь, — наплась она, приходя наконец в себя. Никто не прислушивался к их разговору и наверняка не слышал ее ответа. Ей же показалось, что она ответила громким, смелым голосом. Но тут же Наибхан поняла, что не говорит, а шепчет, и щеки ее снова предательски загорелись. Больше она не осмеливалась сказать что-либо Шарау. Так и стояла, в душе проклиная себя за это молчание.

А Эйналук тем временем напирал на Геллю, требуя еще зерна. Наибхан, и без того растерянная, теперь готова была провалиться сквозь землю. Она понимала, что Эйналук опять перегибает. Но как вступить? Скажут: слишком рано причисляешь себя к этой семье!.. Тот же Эйналук — он ведь не упустит случая опозорить ее!.. И молчать нельзя: если Эйналук и дальше будет позволять себе лишнее — Шарау не стерпит. А стоит ему разойтись — весь аул не удержит, он такой!.. Вон как сидит угрюмо, уронив голову!.. И Аубекир опять молчит, как бык. Что же он?!

— Эйналук, если обманываю вас — пусть Баксан будет мне могилой. Теперь веришь? — сказала Гелля.

Услышав клятву матери, Шарау медленно поднял голову, посмотрел на Эйналука, потом его взгляд нашел Наибхан.

«Похудел как, — подумала девушка. — Совсем щеки впали!.. А шляпу мою носит, вон она лежит. Вот только пожелтела. Не чистит? А ведь так берег мой подарок!.. Отчего так пожелтела шляпа?!» — испугалась вдруг Наибхан какой-то своей смутной мысли и постаралась тут же отогнать ее.

— Гелля, — укорял между тем Эйналук, — мы дума-

ли, ты самая щедрая в ауле, а ты даешь горсточку. Мельнику за труд и то будет мало! Шарау, что же вы?

— Вы, верно, лучше знаете, что у вас в головах, чем я? Ну, и моя мать знает свои закрома лучше меня. Если что есть у нее — пусть дает, я не против, — сказал Шарау сдержанно.

— О аллах! — воздел руки Эйналуку. — Клянусь, мне надоело упрашивать каждого! Слушай, Аубекир, почему мы должны их упрашивать? Нет, чтобы самим принести! Ведь есть на них закон! Так что же мы морочим себе головы? Оллахай, истину говорю!

— Да, да, правда твоя. Такие уж мы, женщины, надо бы по-хорошему, а мы людей только беспокоим... Есть еще немного зерна — берите, — заторопилась Гелля, тоже боявшаяся, как бы не сорвался Шарау.

— Сдается, ты хочешь припугнуть меня законом? — сказал Шарау, поднимаясь и подходя к Эйналуку вплотную. — Пусть закона боятся те, кто творит беззаконие!

— Выходит, колхоз творит беззаконие? Не нравится, значит, тебе колхоз? Не знали мы этого, не знали... — Эйналуку посмотрел на присутствующих, как бы приглашая их в свидетели.

— Ты не толкуй мои слова, как угодно тебе! — не смутился Шарау. — Сам-то с каких пор стал к колхозу ближе, чем мы? Помнится, совсем недавно наскакивал на него — а теперь горой стоишь?

Эйналуку не ожидал такого отпора и теперь был уже не рад, что связался с этим чабаном. Его рука, державшая палку, заметно задрожала...

Гелля же рутала себя за то, что не отдала все сразу. Покарай ее аллах! Высынала бы все до последнего перед этим мулом — и не было бы никакого разговора. А теперь поздно...

— Вот какова мне благодарность! — сказал Эйналуку, опомнившись. — Игла других одевала, а сама голой осталась! Мы по общему делу ходим, даже не успеваем поесть как следует, а что я слышу, люди? Подумать только! Да если ты там посеешь несколько тощих овечек, так это еще не значит, что можешь позволять себе такое!

— Это твои овцы тощие, ты таких колхозу пожертвовал! Не думай, что все остальные — такие же! Или хочешь, чтобы все тощими были?... — кольнул его Шарау.

— А ты хотя бы таких дал! Ну, скажи, сколько овец дал колхозу? А? Только на язык боеж да на готовое горзд!

— А ты, похоже, еще жалешь о своем добре?— наступал Шарау.

Эйналул замолчал, будто поперхнулся. Он злился на себя — за то, что при людях позволил оговорить себя какому-то голодранцу. Злился на Аубекира — за то, что тот не заткнет глотку этому наглецу. Руководитель, называется. Стоит только, пыхтит, как медведь. О чем думает?.. Глядя на Аубекира, Эйналул пытался понять, как относится тот к разговору, на чьей стороне, но лицо Аубекира было невозмутимо... А остальные? Про них и говорить нечего, все на стороне Шарау. Особенно эта, — Эйналул взглянул на Наибхан, — вон как довольна... Э, что говорить, все они — одного пса хвосты! И он среди них — один... Невольный озноб пробежал по спине Эйналука. Бросить бы сейчас все да уйти со двора от греха подальше. Зачем ему и эта комиссия, и зерно, превратись они в пепел! Что этим изменишь?.. Разве этих голодранцев теперь остановишь? Река, разбушевавшаяся река...

— Послушай, Шарау, — заговорил он, преодолев зашатаемость. — И что ты за человек? Такой молодой, а злость на кончике носа висит! К чему эти намеки? Что было, то прошло. Разве я не вступил в колхоз среди первых? Многое я претерпел, однако никому не желаю зла. Стерплю и то, что ты сказал, вынесу, хотя бы ради твоей матери... — говорил Эйналул тихим, кротким голосом, а про себя думал: «Не видеть мне белого света, если не брошу тебя под копыта ишаков!»

— Лживые слова подобны камешной кладке, стоящей на песке! Чтобы ты не затаил зла? Скажи это кому-нибудь другому, только не мне! — Шарау глянул на Аубекира и Наибхан, будто указывая: «Им скажи!»

— Помилуй, Аубекир, ты слышал, что он говорит?! — обратился наконец Эйналул за помощью. — Сколько недостойных слов сказано мне сегодня! Я поставлю в известность правление... Но почему же ты молчишь?

— Жду, пока вы оставите пустой разговор, — ответил Аубекир, который стоял до этого с безучастным видом и пересышал из руки в руку зерно.

— Вот это верно! — подхватил Шарау. — Пустой раз-

говор — он все равно сделает по-своему... Пусть же провалится правление, если сочтет его правым! И колхоз вместе с ним!

— Ага, слышите? Теперь он и до правления дошел! Колхоз охавивает!..— обрадовался Эйналуку неосторожным словам Шарау.

— Шарау, тебе не кажется, что это уж слишком?..— заметил Аубекир.

— Ай, сынок, что ты говоришь, лучше бы огонь в моем очаге погас!— успокоилась Гелли.

— Не беспокойся, мать. Эйналуку привык, чтоб люди перед ним дрожали, и теперь того же ждет. Ему хочется, чтоб я его овец пас, а не колхозных!

— Не вилай, теперь-то мы знаем, кто чего хочет. Слышали твоё пожелание колхозу!— прохрипел Эйналуку сорвавшимся голосом.

— Если б я знал, что и тебя примут в колхоз,— ни за что не вступил бы. Какая может быть справедливость в таком колхозе?!— Шарау уже не помнил себя.

— Шарау, Шарау...— пытался остановить его Аубекир, но Шарау будто не замечал его, видя одного только Эйналука.

— Не сваливай с больной головы на здоровую! Это ты носишь за пазухой камень. Мечтаешь, как бы подняться на гору да обрушить его на наши головы. Только силенок у тебя нет, бедняга. Все ждешь, надеешься — а камень все тяжелеет... Запомни: попытаться поднять — он тебя самого первым уложит! Что качаешь головой?

— Девять несчастий на твою голову!— слова Шарау снова попали в цель, и Эйналуку мгновенно решил поменять тактику:— Не надо нам твоего зерна, даже если бы из него взойли на колхозном поле золотые чурки! Обойдемся без тебя. Чего мы стоим, идемте!— Эйналуку повернулся и пошел было со двора — ему теперь хотелось, чтобы Шарау попал в число тех, кто отказался помочь колхозу. Но, увидев, что Аубекир и Наибхан уже взвешивают зерно, он остановился, не осмелившись настаивать на своем.

Шарау принес еще зерна. Не угрозы Эйналука — глаза Наибхан заставили его сделать это.

— Ага, боишься все-таки,— злорадно проронил Эйналуку, когда Наибхан и Аубекир отошли к подводам.

— Кого, тебя, что ли? Ну-ка, скажи, сколько раз ты меня напугал?..

— Меня бояться нечего. Ты колхоза испугался. Облаял его, а теперь хочешь зерном глаза ему замазать.

— Я колхоз не трогал. Я говорил о том, что ты творишь его именем. Попадётся — ещё скажу, не уйду от правды!

— Помилуй, какая же твоя правда? — изменил тон Эйналуку. — Разве мы для себя собираем? Все на колхозном поле взойдет...

— И сыр тоже? — усмехнулся Шарау. — Что-то я не слышал, чтобы где-нибудь сажали в землю сыр! Или вы с Сафаром первые надумали?..

Эйналука прошиб холодный пот. Он отвернулся.

— Трогай, чего рот разинул! — крикнул он вознице, думая про себя: «Ну, подожди, сбросишь мои усы, если не укорочу тебе рога!»

— И как только вы терпели этого взбесившегося осла? — сказал Эйналуку Аубекиру и Наибхан, когда отъехали немного. Он еще и так и сик пытался вызвать их на разговор о Шарау, услышать от них слова осуждения строптивому чабану, но, убедившись, что его не поддерживают, замолчал.

...Если бы узнал Оразай, как его сын Эйналуку заискивает перед этими безродными, — провалилась бы, наверно, его могила. Лучше бы ему, Эйналуку, в жилах которого течет бийская кровь, лежать сейчас рядом с отцом, чем испытать такой позор... Что может быть общего у него с этими людьми? Испокон веков не смешивались и не знали примирения голубая и черная кровь! Кто видел, чтобы осла и коня впрягали в одну повозку?.. Аллах не делит между людьми землю, скот и воду — он только разделит людей на глупых и умных, одних награждает щедро, а других обошел. Только ум дает человеку богатство и власть. Правда, Советская власть отняла нажитое богатство... Но разве в силах она отнять у Эйналуку данный ему аллахом ум и его благородную кровь? Никогда! И разве мало таких, как он?.. Хотя, конечно, не в том дело, много их или мало. Разве в прежние времена они верховодили потому, что их было больше? И разве все остальные желали работать на них? Нет, всегда безродных голодранцев было больше, чем знатных и богатых. Но они подчинялись, хотели того или нет. Что же изме-

нилось теперь? Если новая власть дала им землю — это еще не значит, что она дала им также ум. Разве они сумеют справиться? Продержатся, пока не прикопчат награбленное, а потом и сядут на пустую сыворотку да черствые корки. Придут еще с поклонами к Эйналуку! Нет, надо крепиться, держаться, тому, кто старается, и аллах помогает. А эти, как нечего жрать станет, сами перегрызутся, начнут рвать друг у друга шерсть, как голодные овцы... Пустые это разговоры — равенство, братство... Аллах с самого начала разделил людей: я — господин, ты — слуга, я — бий, ты — пастух... А у большевиков разве по-иному? Был бедняк — будешь богат, жил богато — теперь бедняк... Просто большевики хотят Эйналука заменить Шару, Аубекиром, Сафаром... вот этой кобылой... Не выйдет по-вашему, нате-ка, попробуйте! Эйналук все сделает, чтобы не было так. Надо бороться, кровавая борьба нужна... Перебить им всем хребты... Дождемся и такого, если будет на то воля всемогущего. Но как жить до этих пор, что делать?.. Конечно, большевики исчезнут с лица земли. Но доживет ли Эйналук до этих дней? Он уж стар, немощен... А как бы хотелось хоть напоследок снова вкусить той жизни, поплясать на своем скакуне в их дворах... Тогда бы и умер со спокойной душой, и пусть бы его не оплакивали...

Эйналук, одолеваемый этими мыслями, шел за подводой, никого и ничего не замечая, и не сразу услышал Аубекира:

— Эйналук, может, зайдем, захватим то, что с тебя причитается?

Эйналук поднял голову, еле разжал кулак, в котором была зажата палка, и пошевелил сведенными судорогой пальцами... Подводы были как раз напротив его двора.

— Прости, дорогой, не слышал тебя, — притворился он.

— Я говорю: может, возьмем сейчас твое? Или на завтра оставим?

— Да, да, конечно... Только, видишь, подводы и так перепружены. Завтра сам отвезу...

«Ждите, как же! Получите вы от меня кое-что — только не больно-то вам понравится, оллахий!»

Когда Шарау вышел из дому, сумерки уже медленно ложились на землю, подобно уставшему на пашне бурому волу. Горы стояли вокруг аула, пакинув черные бурки, словно табунщики, охраняющие косяк. Лишь дальний край неба еще слабо алел, как затухающий пастуший костер. Земля, нагретая за день горячим весенним солнцем, не успела остыть, и от нее веяло теплом. Покой и тишина были кругом, ни один лист не шевелился, и лишь река внизу, будто запоздалый путник, спешащий достичь ночлега, все бежала, все бурлила и билась о камни, не цугаясь ни долгого пути, ни узости берегов.

Не было покоя и на душе у Шарау, все в нем тоже кинело и бурлило: проводив комиссию, он уже не мог дожидаться завтрашнего дня и решил сейчас же отыскать Сафара и поговорить с ним насчет огорода. Он больше не желает ждать!..

У правления толпились люди. Шарау не стал подходить к ним. Некогда ему проводить время в пустых разговорах. Им какие заботы? Огороды всаханы, в горы спешить не надо. А у Шарау дел по горло, и все неладно...

Он решил ждать Сафара на улице — люди сказали, что председатель еще в конторе. Входить туда не хотелось: Наибхан тоже не ушла домой, подумает, что из-за нее пришел...

Шарау присел у забора, прислонившись спиной к еще теплым камням. В освещенном окне конторы виднелись люди. Шарау всматривался: не мелькнет ли Наибхан...

— Шалау! — окликнула его незаметно вышедшая Шаха. — Ты почему тепель так поздно пришел? Наибхан уже ушла.

— Я просто так пришел, — откликнулся Шарау. — А ты почему не уходишь домой?

— Сходила уже и велнулась. Я почую тут, столожу, — отвечала Шаха, подбоченясь.

— Что же, никого больше не нашли сторожить?

— Сказали, только эту ночь. Сегодня в кладовую засыпали много зерна... Да ну тебя, Шалау, не хочу с тобой лазговаливать, ты Наибхан обидел и меня тоже, повымилать нам пожелал...

— Ну что ты, Шаха. Прости, погорячился. Не хотел обидеть.

— Да ладно уж, плочаю. Я вас с Наибхан люблю...

В это время дверь конторы открылась — показался Сафар. Шаха шмыгнула обратно.

— Я жду тебя, — сказал Шарау, подойдя к председателю, когда тот спустился с крыльца.

— Меня? Надо было в правление зайти. Некогда мне на улице разговаривать, — бросил Сафар, обходя Шарау и направляясь к своему фэнтону. Шарау последовал за ним.

— Я пришел по делу, подожди немного, выслушай...

— У всех дела. А ты почему по аулу шатаешься? Кто разрешил тебе бросить колхозных овец? — сказал Сафар, усаживаясь.

— Все, кроме нас, посадили огороды. Дай разрешение взять волов, я вспашу свой и уеду.

Сафар смутился. Пожалуй, напрасно он приказал пахать огород Шарау. Погорячился... А все Наибхан. Из-за этого чабана не пожелала слушать о его сватовстве. Неужто этот Шафар одержал верх над ним, председателем?.. Когда Сафар думал об этом, у него будто разум помрачался. Вот и отыгрался на огороде... Конечно, надо бы вспахать. Однако пусть попросит как следует. Пусть узнает, кто такой председатель... И Сафар сказал:

— Молла свое, а шайтан — свое! Я тебе говорю, ты не о своем огороде должен думать, а быть возле колхозной отары! — Сафар пошевелил вожжками, направляя коня на дорогу.

— Я овец не бросал, договорился с напарником. И уж коли я здесь, то должен позаботиться и об огороде. Почему ты не заметил моего огорода, когда пахали соседям?

«Ну и наглый этот Шарау. За горло берет», — подумал Сафар, а вслух сказал:

— Я никого не выделял, не обходил... Будто у меня, кроме твоего огорода, думать не о чем. Отпусти! — Шарау держал копы за уздечку.

— Ты скажи прямо, дашь волов или нет? Не вилай!

— Ну что тебе дался этот огород! Вспашем, не беспокойся. Отправляйся в горы.

— Когда вспашешь?

— Всему свое время. Сейчас быки заняты...

— Мать у меня одна. Я должен помочь ей посадить огород, — твердо сказал Шарау.

— Правду говорят: не терпится бедняку одолжить у бия! Если так спешишь, вскопай сам, не такой уж ты слабенький.

— Прежде приходилось копать. А теперь...

— Что теперь? — оборвал Сафар.

— Теперь я тоже хочу пользоваться благами, которые дает колхоз. Не у бия прошу — у колхоза. Пусть, как и всем, вспахнет мой огород — вот чего я хочу.

— Ты брось предъявлять колхозу свои требования. Сегодня одно захочешь, завтра другое... Тягло — колхозное, не наследство твоего отца, чтобы ты им распоряжался, — повысил голос Сафар, поглядывая на прислушивающихся к их разговору людей.

— А разве я пасу отару отца? — не отступал Шарау.

— Ты за это получишь, что причитается.

— За работу давали и богачи. Уважения не было...

— Может, ты хочешь, чтобы перед тобой теперь все пашки ломали, на колени падали? Чтобы колхоз в твоём подчинении был?.. — съязвил Сафар, но Шарау будто не заметил его тона.

— Я для себя особого уважения не ищу. Но и тебе от своего долга уйти не позволю, — спокойно сказал он. — Каждый должен оправдывать свой хлеб...

— Ха! — воскликнул Сафар. — Объясни-ка, что это значит: «не позволю», «должен»?.. Уж не считаешь ли ты, что у меня есть господин по имени Шарау? Или картошка на твоём огороде не взойдет, если его не вспахнет сам председатель?.. Нет уж, запомни: я на этой должности не для того, чтобы надо мной были такие «господа», как ты!

— Разве я хочу, чтобы ты пахал мой огород? Да кто бы тебе это доверил? Ты ведь отродясь не пахал, тебе и слово такое неведомо! Но дать тягло ты должен. А насчет господина это зря. Не кичись своей должностью. Сегодня господин тот, кто умеет работать. Ты же, беднята, к труду не приучен. Отбери у тебя должность — опять будешь верховодить бездельниками. А я работы никакой не боюсь. Что ты можешь сделать со мной? Ну, не пашни мой огород, если угодно. Из-за этого моя мать не умрет с голоду. И по миру не пойдет, не надейся. Пока еще у меня есть руки. Сегодня они гладят ягнят — завтра смо-

гут держать молот или косу, бить камень, валить лес... Так что не повышай на меня голос, не пугай. Должность у тебя есть, а уважать тебя не за что — человечности нет в тебе. Так что будь ты хоть самым визирем, — все равно я не ниже тебя.

— Довольно! — крикнул Сафар, соскакивая с фаятона и подступая к Шарау. — Разляяется, как пес! Забыл, с кем говоришь? Смотри, папомшим!

— Пугать ты, Сафар, горазд. Но гляди, тот, кто размахивает горячей головней, может обжечь руки и себе!

— Обожжется неумелый. Знай: Сафар не напрасно носит шапку, он сумеет убрать со своего пути подобных тебе! Не старайся задуть свечу, зажженную народом!

— Народ обходился и обойдется без тебя! Если ты — свеча народа, то пусть эта свеча потухнет!

— А-а — воп ты куда! Оказывается, вот чего ты ждешь... Значит, желаешь, чтобы потухла свеча... Выходит, не по нутру тебе Советская власть?

— Не говори о Советской власти. Я осуждаю лишь тебя.

— А я для тебя кто? Разве не власть? Ну?

— Ты не власть.

— Нет власть!

— Ты — власть только в своем доме. Будь на то моя воля — выгнал бы тебя из народной власти, как бродячую собаку!

— Не выйдет! Вырвем у гадушки жало!

— Делай, что хочешь, но мой огород не останется не-вспаханым! Вот увидишь! — с этими словами Шарау повернулся и пошел прочь.

Шарау всегда знал настоящую цену Сафару. «Подпесли безумцу вина», — подумал он, услышав об избрании его председателем. Так и вышло: народное доверие оказалось для Сафара слишком крепким вином. «Я для тебя власть» — это надо же... Но раньше Шарау успокаивал себя: не может свишня замутить океан. Она способна замутить лишь пруд или родник. Вот и мутит эта свишня его жизнь, охотится за его невестой, портит кровь колхозникам... Однако и в замутненном роднике вода отстаивается. Шарау понимал это и ждал, что Сафара вот-вот уберут. Во главе колхоза должны стоять достойные люди. Почему же Сафара избрали председателем, почему

мирятся с его беззакониями?—спрашивал он себя и не находил ответа. Все для него сейчас перешуталось, слилось воедино: и Сафар, и закон, который тот нарушал, и власть. Шарау казалось, что у него теперь лишь одна возможность бороться с Сафаром, отстоять свое достоинство: он сам возьмет то, что ему причитается.

...Где-то далеко прокричала почшая птица. «Сгинь!»—промолвил Шарау, которому не понравился этот злоедающий крик. Потом птица пролетела над самой головой. Или только показалось?.. Сердце у Шарау дрогнуло. Не к добру это... Но не возвращаться же с полпути! Да это просто «пастуший орел»,—успокаивал себя Шарау. Вернешься — Сафар подумает, испугался его. А чего бояться Шарау? Не грабить идет — взять свое. Ведь когда начали организовывать колхоз, он первым привел своего коня... Теперь не прежние времена... Что он, не по закону требовал, что ли? Просил, чтобы всахали его огород, как и другим. Ах ты, Сафар, собачий хвост! Наверно, того и добивался, чтобы Шарау смиренно повернулся и ушел: мол, нечего делать, подожду, может, не оставишь меня своей милостью... Как бы не так! Не сломать тебе Шарау. Ты меня не уважил — и я с тобой не посчитаюсь! Недаром сказано: робкий да скромный без ужица остается...

Расставшись с Шарау, Сафар отправился к себе домой. Как всегда, его серый конь, лишь только почувал дорогу, рванулся вперед. Но Сафар натянул вожжи: ему не хотелось торошиться, надо было кое-что обдумать.

Фаэтон шел, покачиваясь, и в такт ему покачивалась голова Сафара, словно не могла удержаться на длинной топкой шее. Председатель переживал свой разговор с Шарау. Он был недоволен собой: не мог заткнуть ему глотку, не сумел поставить на место. А люди слышали. Теперь будут судачить... Верно, Сафар тоже не совсем прав: приказал не пахать его огород, не дал быков. Но как мог какой-то чабан говорить с самим председателем так дерзко?! Это непорядок. Испокон веков жизнь строилась так, что одни подчинялись, а другие верховодили. Без этого люди бы перегрызлились или, надеясь друг на друга, пустили бы жизнь колесом с горы... Когда слишком много пастухов — овцы гибнут. Но и осел без хозяина становится добычей волка... Конечно, Советская власть

дала людям свободу. Но всему же есть граница! Перейдешь эту границу — поднимешь руку на власть. А когда, какая власть допускала, чтобы каждый, кому вздумается, поднимал руку на управляющих народом?.. Каждый должен знать свое место, и мешалка его должна гулять лишь в том чугуне, где варится его мамалыга! Что будет, если Сафар пойдет и станет повышать голос на Камилля?.. Ясно, тот не даст ему спуску! Да Сафару и не нужны такие права, чтобы повышать голос на начальство. Но он не допустит и того, чтобы какие-то чабаны давили на него, председателя. Власть есть власть...

Серый жеребец, гривы удила, медленно шел по привычной уже дороге. Нарушившие тишину собаки, погнавшиеся было за фаэтоном, видя, что их лай никого не тревожит, постепенно отстали. Ничто не мешало размышлениям председателя.

Перед ним замаячил темный силуэт старой крепости, стоявшей в верхнем конце аула. Вокруг нее там и сям мерцали слабые огоньки, пробивавшиеся из окон пиззельких глинобитных домов. Крепость в темноте была похожа на опромняющую скалу, отколовшуюся от гор. Насколько же выше она этих домишек, думал Сафар. Не должен ли и руководитель так же возвышаться над всеми прочими, как эта крепость над аулом?.. Да, да, ты, Сафар, должен быть примером высоты и твердости для людей аула. Пусть толпятся вокруг тебя, как эти домишки вокруг крепости, пусть глядят издали, не в силах достичь! Крепость возвышается гордо над всем вокруг, ее взору доступны и холмы, и долины, и дома, расположенные в них. Те, кто вблизи, видит только ее, а она видит всех...

На что же посяпнул сегодня Шарау?! Нельзя так оставить это. Может, Сафар и простил бы ему, если б оскорбил только его лично. Пусть бы себе бесился, — не всякий рад очагу, разгоревшемуся в чужом доме, всегда слабые и бесталанные завидовали сильным и удачливым. За это не следует мстить, можно было бы только покалеть беднягу... Но тот, кто дерзко разговаривает с председателем, — тот поднимает руку и на власть. На Советскую власть! И если сегодня он еще не враг, то завтра обязательно станет им... Нет уж, никто не упрекнет Сафара в том, что он не борется с подобными людьми. Надо проучить Шарау так, чтобы неповадно было другим. Не ударить ты — ударит он...

Сафар вскочил на ноги и хлестнул жеребца, тот рванулся вперед, и стук его копыт разнесся далеко по округе. Чтобы не упасть, Сафар стоял, широко расставив ноги. От встречного ветра на глаза набегали слезы, свистела, надувшись парусом, рубашка. Колеса фэтона, казалось, не касались земли, из-под копыт жеребца летели искры... Пусть все слышат и видят, что проезжает председатель! Крепость и домишки — не одно и то же!.. Ух ты, кляча перасторопная! — председатель снова рассек кнутом воздух, искры под копытами жеребца стали еще гуще. Пусть слышат и знают!.. Жеребец его — быстрее орла! А сам он — главное лицо в колхозе, в ауле! Он может и прощать, и делать добро, но недругов — загонит под землю! Он все, все может!.. Эгей!

Шарау пошел прямо к колхозной конюшне и, никого там не встретив, вынул двух лучших коней: востов не оказалось, видимо, были в бригадах.

Он уже выводил коней, когда из темноты конюшни раздалось ворчание:

— Эй, ты что тут распорядкаешься? Хозяина какой нашелся! Пришел среди ночи, втихомолку... Думаешь, все тут вымерли или звезды считают? Что это значит?

Шарау обернулся на голос:

— Не бойся, Омар, я не вор.

— Кто знает... Поступаешь ты как вор!

— Омар, что бы ты ни сказал — не обижусь. Прости, что без спросу взял, думал, тут никого нет. Я их верну. Вспаху огород — и тут же приведу.

— Где это видано — нахать среди ночи? — заметил сторож.

— Что делать...

— Разрешение есть? Давай сюда бумагу. — Омар протянул руку из-под бурки.

— Нет у меня бумаги... Послушай, мы ведь односельчане... Будь горцем! И не беспокойся: я имел дело с лошадьми, знаю, как с ними обращаться.

— Не могу я давать лошадей всякому, — упорствовал Омар.

— Да разве я «всякий»? Я — колхозник! — сказал Шарау, начиная злиться.

— Если б ты был достойным колхозником, вспахали бы твой огород...

— А твой вспахали?

— Давно.

— А чем ты лучше меня? Ну, скажи. Молчишь? Тогда не препятствуй мне!

— Не вспахали твой огород — не мое дело. Видно, начальство знает, что делает, — нашелся Омар.

— Послушай, будь мужчиной, я не виноват...

— Виноват — не виноват... Не мое это дело, говорю. Ты вот сейчас уведешь лошадей, а завтра мне отвечать...

— Да что с тобой сделают?! Поста визиря лишат? Или косяк жеребцов отнимут? Ну, поругают, — зато по совести поступишь, человеком останешься!

— Каждый для себя человеком хочет быть! Это разве по совести — забирать коней без спроса? Верни сейчас же! — уже начал наступать Омар.

— Так вот ты каков... Я-то думал, в тебе хоть капля настоящего горда есть. Бедняга, видно, наказал тебя аллах малодушием... — Шарау помолчал. — Что ж, не хотел я обходить тебя, думал, поймешь меня. Не захотел понять... Видно, недалеко ушел от Сафара... Ну, и оставайся с этим!.. — и Шарау двинулся из конюшни, ведя за собой лошадей.

— А ну, стой! — крикнул Омар, забежав перед Шарау. — Не удалось взять по-хорошему — по-плохому и подавно не выйдет!

— Отойди, не буди мой гнев! — Шарау все еще сдерживал себя. — Кто ты такой, чтобы не давать мне лошадей? Даже Сафар не имел такого права! Я — колхозник и отвечаю перед колхозом. Ни от кого не скрою, что нынче ночью увел лошадей, чтобы вспахать свой огород. Отойди, прошу тебя, не толкай меня на яехорощее дело...

— Не отойду. Верни лошадей! — крикнул сторож.

— Отойдешь, дорогой, еще как отойдешь — и сам не заметишь! — Шарау легонько, одной рукой, толкнул Омара, и пока тот поднимался на ноги, вскочил на одну из лошадей и, уводя другую, скрылся в темноте.

Когда Шарау ввел лошадей в свой двор, аул уже спал. Нигде не видно было огонька. Только в их окошке трепетал слабый красноватый язычок. «Видно, керосин кончился, держится на одном фитиле», — подумал Шарау.

— Сынок, не по душе мне твоя затея,— заметила Гелля.— Поздно уже, не лучше ли оставить на утро? И как это дали тебе лошадей в такое время...— Гелля вышла во двор в чувяках на босу ногу, едва услышав топот лошадей.

— Ничего, мать. Тепло, тихо. Вспашу. Иди спать,— успокоил ее Шарау.

— Сынок, что-то не так ты делаешь. Неспроста наша рябая курица вечером обернулась к порогу и прокричала петухом...

— На себя беду накликала! Зарежу ее утром, а ты сварьшь для меня в дорогу.— Сказав это, Шарау хлестнул лошадей и дважды коротко свистнул, нарушив тишину. Встрепенулась птица, сидевшая на дереве, залаяли собаки в соседних дворах, «ойгыу-уй!»— прокричала где-то сова...

...Плуг легко воцарился в землю. Там, где он проходил, из сероватой она становилась черной, будто кто отворачивал поля старой овчинной шубы. Шарау обдало теплом нагретой за день земли, он почувствовал запах свежей пахоты, ноги его нащупали влажноватую борозду — и сразу как будто что-то отпустило его, стало легко, радостно, исчезла злость. Хорошо! Если уж размахнулся — бей, доводи дело до конца, думал он. Конечно, с лошадьми получилось не очень-то ладно. Но последние слова, сказанные им Сафару, слышали и другие. Сказал — будь хозяином своих слов, иначе уподобишься псу, лающему на ветер...

Проведя борозду вокруг всего огорода, Шарау остановил коней: пусть отдохнут немного, первая борозда всегда труднее следующих. Теперь не страшно — дело пачато, а коль так, то и завершится... Шарау поочередно огладил коней. Отчего это вы так тяжело дышите, и бока ходят, словно кузнечные мехи? Ведь работа только началась... А, понимаю, нелегко вам далась эта борозда: весь день трудились, а теперь еще ночью приходится... Устали. Простите, поспешил я. Да вы, наверно, и голодны к тому же, вряд ли этот Омар накормил вас досыта. Ну, подождите.

Шарау отправился в дом, отсыпал зерна из того пемногого, что осталось после посещения Эйналука, принес корыто, поставил его перед лошадьми. Они разом нагнули головы.

Ешьте, милые, ешьте. Жаль мне вас, нарушил я ваш отдых. Винават человек, а страдаете вы... Но что было делать? Разве я ради желудка своего взялся пахать ночью? Зазеленют огороды у соседей, а у моей матери зарастет бурьяном — надо мной же смеяться станут! Ведь каждому не объяснишь. Подумают: поленился или не смог постоять за себя. Одни постыдят, другие пожалеют... А скажите мне, разве не лучше человеку лишиться головы, чем уважения и чести? Так что потрудитесь еще, прошу вас...

Шарау отодвинул опустевшее корыто, взялся за поводя и коротко свистнул. Утихшие были собаки залились с новой силой. Напрягая постромки, лошади потянули плуг.

Да, думал Шарау, огород, конечно, нулеп, это им с матерью большое подспорье. Однако не для того только он взялся пахать ночью, чтобы осенью быть сытым. Он сохранит этим свою честь — вот ради чего. Он не хуже других! А Сафар разве способен понять это? Не уважает он людей. Нет, не будет от такого добра ни колхозу, ни колхозникам...

И тут Шарау вспомнился непаханный огород рыжего Ахмата. Видно, тоже чем-то не угодил председателю... Асто, как это он забыл?! Не посади он свой огород — они с матерью с голоду не умерли бы, как-нибудь перебились бы. А у Ахмата ведь куча детей... Да, надо было сначала вспахать его землю, а потом уж приниматься за свою. Поторопился, не по-соседски поступил... Ну, ничего, есть еще время исправить ошибку.

Шарау стал потарапливать лошадей. Вскоре он вышлямяился и осмотрелся: кажется, дело идет к концу. Пусть теперь этот «глава колхоза» придет и посмотрит, сумел ли чабан вспахать свой огород! Что говорить, к плугу он привычный, бывало, целыми днями ходил за ним без отдыха. А пищей были черствая корка да вода. Но и тогда Шарау не хныкал, не жаловался. И работал на совесть. Не потому, что боялся гнева хозяина. Нельзя пахать, сеять плохо — земля проклянет. Да Шарау просто и не умеет делать что-нибудь плохо...

Вдруг Шарау ощутил солоноватый вкус пота, стекавшего по щекам. Только теперь он почувствовал, как сильно устал. «Наверно, и кони устали», — подумалось ему. Шарау остановил их и провел рукой по бокам — тотчас ру-

на стала влажной. «Ну, отдохните, отдохните». Помакивая холку коня, Шарау глядел на небо: на востоке уже заметны были признаки раннего весеннего рассвета. А впереди еще участок Ахмата — надо торопиться.

17

— Дочь моя, не хотела рассказывать, да чувствую — не могу, душа болит, — сказала Зурум, спуская ноги с кушетки и надевая чувяки, — и замолчала.

— Что за секреты у тебя, мать? — спросила Наибхан, заплетавшая у окна косу.

— Товба, дочь моя, приснился мне ночью сон, не нравится он мне...

— Пусть к добру будет! Про сны нельзя говорить — недобрые, сама же мне наказывала.

— Никогда не думала... Приснился мне Шарау...

— Шарау? — Наибхан вздрогнула и обернулась к матери. Зурум заметила, как побледнело ее лицо. Но тут же, застеснявшись, Наибхан опустила голову и продолжала заплетать косу ставшими вдруг непослушными пальцами.

— Доченька, дай-ка мне что-нибудь перекусить. Не хорошо рассказывать сон патоцак... Наверно, после твоих рассказов приснился... Да, не надо ему было ссориться с Эйналужком и Сафаром. — Зурум отломил кусочек от поданного дочерью чурека и пожевала передними, еще сохранившимися зубами. — Недаром говорится: не думай, что сыт навсегда и нет вокруг тебя врагов... Ты меня слушаешь? Ну вот, вроде пошла я в такое место... в наших краях нет таких красивых мест! Поляна, словно зеленым ковром вся застелена. А посередине река, такая большая-большая, и бушует, как сам Баксан... Не помню уж, почему, но все жители аула, и стар и млад, собрались на этой поляне, будто на великое угощение. И все такие веселые, радостные, ровно и бед никаких больше нету. Парни, все стройные, красивые, состязались в метании камней, потом начали бороться, и никто не уступал, такие все молодцы... И вдруг откуда-то донеслась мелодия — до того приятная, задушевная, она и сейчас мне слышится... Перед нами, старухами, сидевшими в ряд, танцевали девушки. Какие были девушки! И танцевали так плавно, красиво — словно лебеди по небу плыли. А неподалеку от нас висели девять огром-

ных казанов. Говорили, что в каждом казане варилось по девять барашков! А старики, дочь моя, делали жерме¹, такие толстые, как столбы в нашем доме,— будь к добру!— Зурум прервала рассказ и замолчала, поглаживая рукой свои седины.

— Напрасно не хотела рассказывать, ведь совсем не плохой сон!— сказала внимательно слушавшая ее Наибхан.

— Да обернется явью рассказанное, а то, что расскажу, пусть будет к добру!— воскликнула Зурум.— Слушай, дочь. Во время веселья и ты была там. И вдруг река грозно завывала, помутнела... Смотрим, посреди реки— и откуда она взялась?—огромная льдина. Пусть будет к добру— с наш двор льдина. А на ней какое-то животное. Сначала никто не мог разглядеть, какое. Никто. Но вдруг кто-то крикнул: «Ланенок, ланенок!» Мы все так и ахнули. Стали его жалеть, думать, как помочь,— ничего не могли придумать. А льдина все быстрее и быстрее несется... И вдруг, откуда ни возьмись, Шарау! Прыгнул на льдину, схватил ланенка, прижал его к груди, словно дитя. Нам хорошо было видно... Шарау хотел прыгнуть обратно, но льдина вдруг раскололась на две части. Одна голова перевернулась, утонула, а другая, с Шарау, понеслась по реке дальше. Мы все бежали вслед, да что толку, никто не мог протянуть ему руку... И всем было страшно, только Шарау не испугался, стоял на льду гордый такой... Ему крикнули: «Брось, сам утонешь!» А он только головой покачал и улыбнулся, грустно так... Еще крепче к себе ланенка прижал. «Ый, веревку надо, веревку!»— кричали старики. Парни помчались в аул. Да слишком поздно догадались: как ни быстро мы бежали, Шарау все удалялся от нас, все меньше, меньше становился... И вдруг видим: впереди, далеко-далеко, река раздваивается, и— то ли скала раскололась, то ли еще что— огромная черная дыра там... Туда Шарау и занесло...

Зурум замолчала. Молчала и Наибхан. Наконец она нарушила тишину:

— Мать, и мне нехороший сон приснился.

— Какой же?

— Будто Сафар сбил с Шарау шапку ударом кнута...

Зурум промолчала, только еще крепче сжала губы.

¹ Жерме — балкарская домашняя колбаса.

И старая, и молодая боялись накликать беду и потому долго еще сидели, не проишлося ни слова. Наибхан, как и мать, верила спам, и ей казалось, что ночью с Шарау что-то случилось... Но не слышно было плача Гелли, не спешила она поделиться горем с соседками, и это немного успокаивало девушку, хотя тревожные думы не оставляли ее. Наибхан не терпелось узнать о Шарау. Но как пойдешь к ним? Никакой причины нет. Если бы мать догадалась, что у нее на душе, сама бы послала зачем-нибудь, — тогда отчего бы не пойти...

— Мама, я опаздываю на работу. Пойду, — сказала наконец Наибхан.

— Иди, иди... — Зурум посмотрела дочери в глаза. — Погоди! Сходи-ка прежде к Гелле, попроси ее чесалку. У нашей один зуб погнулся, цепляет за палец. Или нашу отнеси — пусть ее Шарау выправит, — наплась старуха.

Едва Наибхан вышла на улицу, как тут же узнала о том, какой разговор был вчера у Шарау с Сафаром и что произошло ночью, — весь аул уже шумел об этом.

Шарау в нижней рубахе сидел во дворе и чинил чабуры.

— Шарау, Гелля дома? Моя мать... чесалку... — растерянно залепетала вдруг Наибхан. «Точно ребенок, только что научившийся говорить», — выругала она себя и еще больше смутилась.

— Чего ты смущаешься, будто девочка, укравшая яйцо? Добро пожаловать! — Шарау встал и пошел навстречу Наибхан. Он заметно осунулся лицом, потемнел, глаза были красные...

— Заходи в дом, не бойся, не следят тебя тут без Гелли! — пошутил Шарау.

— Ничего я не боюсь, просто на работу спешу, — сказала Наибхан, приходя в себя. — Ты уже вспахал огород?

— Ночью успел, — ответил Шарау горделиво. Но о том, что вспахал и огород Ахмата, говорить не стал — зачем хвастать.

— Значит, правда то, что говорят?

— Что же говорят? Мне дела нет, что там говорят! А что ночью вспахал — это правда.

— Неужели нельзя было по-иному? Не самовольничать, подождать до утра...

— Зачем же оставлять на утро то, что можно сделать с вечера? Говорят, работа утром спорится, а вечером ей подремать хочется,— Шарау улыбнулся.

Оба замолчали. Шарау присел на седло под навесом, Наибхан — на краешек высокого стула.

— Напрасно я усаживаюсь. Надо идти,— спохватилась она.— Не найдешь ли чесалку, наша погнулась...— Наибхан стеснялась: вдруг кто-нибудь заметит ее наедине с парнем. К тому же она не знала, как вести себя с ним. Все, что намеревалась ему сказать, вылетело из головы. А уходить тоже не хотелось.

— Несчастье на наш дом, если я неправа, но напрасно ты так поступил, Шарау,— снова заговорила она, не дав ему ответить на просьбу.

— Как?

— Да так — увел ночью лошадей без спроса... Если все начнут так самовольничать, во что превратится колхоз?

— Э-э, вон что... Я-то думал, ты, как раньше, зашла по-соседски. А ты, оказывается, политику пришла мне разъяснять. Конечно, ты теперь начальник, разве можешь зайти так просто, чтобы не поучать...— Шарау резко поднялся, едва не задев затылком крышу навеса.

— Напрасно ты сравнил меня с провинившейся девочкой. Ты сам сейчас похож на мальчишку, который пашкодил и пытается улизнуть,— строго сказала Наибхан.— Сядь, иначе я уйду.

— Что делать. До сих пор у нас была одна дорога, а теперь, видно, она расходится... Что ж, каждый думает о себе. Я не осуждаю тебя. Понятно, почему ты не желаешь, чтобы кто-нибудь плохо отзывался о Сафаре, хочешь, чтобы он преуспевал на своей работе...

— Шарау, ну что ты говоришь! И люди живут не так, как ты думаешь, не только о своей шкуре заботятся. И Сафара ты напрасно сюда приплетаешь. Захотела бы выйти за него — никто бы не удержал.— Наибхан хотелось сказать: «Я за тебя беспокоюсь», но она удержалась и продолжала: — Некстати сказанное слово ранит сердце. Слова твои оскорбили меня. А ведь ты сам виноват. Согласен ты или нет, но вчера ты совершил плохое дело.

— Допустим, что так. А как со мной поступили? — вскинулся Шарау.— Почему никто из вас этого не заметил? Теперь вы все можете говорить. Люди мастера ви-

доть в чужом глазу соринку... Ну, ладно — Сафар. Но почему и ты перестала меня понимать? Раньше, помнит-ся, сразу меня понимала...

— Шарау, разве в Сафаре дело? Как говорится, пули его будут целы, и пороховница в сохранности. Ничего он не потеряет, поверь мне. Потеряешь ты. И не один ты. Поругавшись с Сафаром, ты чуть не стал зачинщиком большой беды. Некоторые могли пустить панику: мол, люди скот обратно забтирают. Слышала я, что говорят на улице... Сафар — Сафаром, а колхоз — колхозом. И напрасно ты из-за Сафара хулишь колхоз! — Щеки Наибхан разгорелись, как от костра, смущение ее как рукой сняло.

— Ты все стараешься обелить Сафара... — обронил Шарау.

— Опять ты об этом? Что мне сделать, чтобы ты поверил?! Пусть не увижу я больше лица своей матери, если... Ой, да оставь, почему я должна клясться! Ведь ты знаешь... — Глаза девушки наполнились слезами, она отвернулась, чтобы скрыть их.

— Не обижайся, говорю то, что думаю. — Шарау опустил голову, помолчал немного и продолжал: — Ты говоришь, из-за Сафара я хую колхоз... Правильно я понял? Но послушай, Наибхан, ведь и о человеке порой судят по шапке. Ну, словом, по тому, какая у него голова... Сафар — глава колхоза, он угоден колхозу — значит, и колхоз таков. Нельзя их отделять! Если колхоз его поддерживает, а меня — нет, не будет проку ни колхозу от меня, ни мне от него...

— Горе мое, ты, кажется, потерял рассудок! — воскликнула Наибхан, чуть не плача. — Шарау, ошибиться — не позор, но ты не хочешь понять ошибку! Как ты можешь ругать колхоз из-за Сафара? Сегодня он председатель — завтра его не будет... А колхоз — это ведь весь парод!

— Завтра не будет, говоришь... Когда не будет, тогда и посмотрим. Знаешь, говорят, если вожаком у птиц станет ворона, она приведет их к навозной куче. Я не хочу уткнуться носом в эту кучу!

— Ты, Шарау, как Диммо-дурачок, перестал отличать белое от черного, — сказала в сердцах девушка и спохватилась, заметив как изменился в лице Шарау, побледнел, оставил свои чабуры и повернулся в сторону

гор, вершины которых заливало яркое солнце. «Обиделся», — подумала она.

...Зачем он, глупец, спешил спуститься с гор, думал Шарау. Чем выслушивать недостойные слова, не лучше ли ему было остаться там навсегда, даже погибнуть, застряв где-нибудь между скалами... О немые голые скалы, немые безобидные овцы, вы никогда не обидите Шарау недостойными его чести словами. И он, как и вы, никому больше не доверит свою печаль, свои заветные думы. Зачем, все равно никто не поймет, никто... Шарау казалось сейчас, что он ненавистен всем и сам всех ненавидит. Только мать, да, одна только мать... А разве жалел он для этой вот девушки жар своего сердца?.. Шарау посмотрел на Наибхан, — та стояла, будто надмогильный столб. Красивая ты... Но сердце подарила другому. Пусть теперь Сафар радуется твоей красоте. Если считаешь, что счастлива, — будь счастливой! А Шарау — что ему остается! — как-нибудь переживет...

— Да, Наибхан, теперь я для тебя не более чем дурачок, — сказал Шарау, натягивая чабуры. Что ж, природа не всех одинаково одарила умом. Видно, меня как раз обошла. Награди она меня умом — стал бы пачальником.

— Напрасно ты так толкуешь мои слова. Я не враг тебе... Соседка... Я говорю: и слабый ветерок пламя раздувает...

— Не надо, Наибхан, меня предостерегать. Мужчина должен испытать то, что предназначено судьбой. Я не испугаюсь, ни перед кем не уроню своей чести...

— Честные и мужественные не одному тебе правятся... Но вчера ты, замахнувшись на Сафара, ударил себя. Только поэтому я сюда пришла, — говорила девушка, наматывая на палец бахрому своего белого платка.

— Наибхан, когда я вступил в колхоз, намерения мои были чисты, как утренний снег, совесть бела, как молоко. А теперь, мне кажется, душа моя черна, как вспаханный огород... Но я не пойду против колхоза, не нанесу вреда людям. Буду пасти овец в горах, ничего худого не сделаю. Пусть меня покарает память предков, если теперь буду трудиться не так, как прежде. Не дойду до такого позора, не стану и прештствовать Сафару... Я знаю, он готов причинить зло не только тебе — всем. Но не хочу быть помехой в твоей судьбе...

Наибхан встала, прежде чем Шарау кончил говорить, она больше не слышала его.

Знаю, нет у сердца ушей, думала она. Но ведь мы всегда понимали друг друга. В чем же дело? Или хочет, чтобы я сама открылась ему?.. Если так — напрасно. Пусть всю жизнь гложет меня тоска — не выдам свое чувство. Ты горд? Ну и хорошо. Пусть живут без гордости наши враги!..

— Шарау, — сказала Наибхан после недолгого молчания. — Для Сафара найдется девушка не хуже меня. Я в нем не нуждаюсь. Не думай, что если не выйду за него, то останусь в старых девах! — Сказав это, Наибхан убежала со двора, едва удерживая слезы.

А через короткое время покинул свой дом и Шарау — путь его лежал в горы.

18

На сегодня Сафар намечал много неотложных дел. Надо было побывать на скотных дворах, объехать участки, где еще не закончилась пахота, накрутить хвосты тем, кто не выполнил заданий по сдаче зерна. Последнее председатель считал самым важным и потому направил коня в первую очередь к дому Эйналука. Кто, как не он, лучше всех знает, на кого еще следует нажать?..

— Заходи, заходи, дорогой, добро пожаловать! — встретил его Эйналук. — Клянусь всеми святыми, обрадовал ты старика своим посещением. Пусть же и люди тебя всегда так радуют!

Сафар, не привыкший, чтобы его встречали подобным образом, до того расчувствовался, что, соскочив с фартука, крепко обнял старика. «Назови щенка собакой — он тебе и щеки оближет», — подумал Эйналук.

— Спасибо тебе, Эйналук, — растроганно говорил Сафар. — Вот когда выясняется, кто настоящий друг. Да, именно в такие дни... Ты ведь слышал уже, как оскорбил меня этот чабан? Не посчитался с моим авторитетом... Что скажут теперь люди? И так-то меня не любят...

— Ох, не любят тебя, — подхватил Эйналук. — Недаром говорится: быстроногому скакуну и лисица завидует. Мало найдется желающих тебе добра... Но ты не беспокойся. Что люди? Пусть чешут языки, не обращай

внимания. Ты занят государственным делом, стало быть, только власть может тебя оценить и возвысить, клянусь именем Магомета! Разве кто в ауле сказал тебе спасибо за твои труды? Как же, дожدهшься от этих. Вот и подумай теперь, как тебе поступать...

— Эйналук, прости,— прервал его Сафар,— не совсем понимаю твои намеки. Что ты хочешь сказать?

— Сейчас, сейчас, не торопись... Эй, женщина, подай-ка нам чего-нибудь!— окликнул Эйналук жену.

Мисирхан ввела в комнату солонину — голову и легкие барашка, поставила бузу.

— Вот, отведайте. Я думала, вы торопитесь, не стала готовить горячее...

— Ладно, иди,— выпроводил ее Эйналук и обратился к Сафару, положив руку ему на колено:— Как сыну тебе скажу. Много у тебя врагов. Не пощадят при случае... Значит, тебе сила нужна. Должен так себя поставить, чтобы дрожали перед тобой... В жизни ведь как? Не будешь топтать — самого затопчут. Я-то знаю, повидал такое... А ты, я гляжу, слишком добренький. Это тебя на верный путь не выведет. Добротой-то никого на место не поставишь. И не ищи поддержки у этих... У них только горла широкие да ложки большие. Ты не жалея сил, делай так, как начальству нравится,— тогда тебе никто не страшен. Оллахий!— Эйналук замолчал, перевел дух и отпил большой глоток бузы.

— Спасибо за наставление,— сказал Сафар, последовав его примеру.— Ты правду сказал. Цель начальства и моя цель — одно. Зачем мне противиться их воле? Буду стараться делать то, что велят. Да они ведь и не потребуют плохого...

Оба замолчали, принявшись закусывать. Сафар словно забыл, зачем пришел к Эйналуку.

— Скажи мне,— спросил он,— ты по моему делу ходил еще раз? Говорил с ними?

— Как же, ходили, говорили. Однако ничего определенного не могу тебе сказать. Потому и молчал...

— Как это?

— Да не могу понять их. Петляют, как собака вокруг мечети... Девушка и слышать не хочет, а мать то вроде согласна, то упирается...

— Что девушка говорит?— Сафар перестал жевать.

— Говорит, чтоб не утруждали ни ее, ни себя. Никогда,

мол, не согласится, лучше, говорит, умереть, чем за Сафара выйти...

— Так и сказала? — упавшим голосом произнес Сафар.

— Послушай, хватит тянуть с этим делом, — решительно заговорил Эйналук. — Напрасно, конечно, мы посчитали ее самой красивой. Разве мало девушек? Есть и получше ее в сто раз! Но раз дело начато, надо довести его до конца. Пусть не шутят с твоим авторитетом, с твоей честью! («Ха-ха, много у тебя чести!») Но ты и сам виноват...

— Как это? — насторожился Сафар.

— Она ведь любит Шарау... Сделай так, чтобы не могла и мечтать о нем!

— Любит Шарау, говоришь?.. — Сафар вскочил и стал прохаживаться по комнате. — Опять этот Шарау! Да я...

— Что ты? Он сам вымаливает у аллаха болезнь — неужто ты дашь ему лекарство?! Оскорбил тебя, председателя, издевался над скотиной — почью заставил трудиться...

— Говорят, он не пощадил и лошадь, на которой ездит, всю спину ей стер, — вставил Сафар.

— Вот, вот, чего ему щадить, это ж колхозное добро... — Эйналук покачал головой, словно от души жалел колхозную лошадь. — Неужели так и оставишь это? Говорю тебе: не будь мягкосердечным! Он — враг колхоза и твой тоже. Оллахий, как сейчас помню, еще отец Шарау и твой отец — да будет его место в раю, любил я его — никогда не мирились. А на кого залает собака, на того и щенок должен рычать! Да что я говорю, ты сам знаешь, как поступить...

— Да, да, видно, придется сделать так, чтобы он не мог рычать, — промолвил Сафар как бы про себя. — А с ней я сам поговорю. Посмотрим...

— Да сопутствует нам удача! — пожелал ему на прощание Эйналук.

Подогретый разговором и выпитой бузой, Сафар, отъезжая от дома Эйналука, забыл обо всем, кроме одного: сейчас же следует поговорить с Наибхан. Он добьется ее согласия! Если надо — вырвет! Она не посмеет... Откапать ему, главе колхоза? Да кто она такая? Кто они все в сравнении с ним?! В глаза ему снова бросилась старая крепость, которая прошлой ночью показалась такой высокой. Оказывается, обманулся он в темноте. Вовсе она не

такая недоступная, немногим отличается от окружающих домов... Если уж говорить о высоте, то вот пример — горы! Вот как высятся их вершины...

С этими мыслями он и переступил порог конторы.

Как парочко, Наибхан сидела в комнате одна, видимо, Аубекир где-то задержался. Но Сафар не успел раскрыть рта, — Наибхан опередила его.

— Послунай, Сафар, зачем ты толкнул Шарау на такой поступок? Почему ты не дал ему лошадей?

— И ты еще обвиняешь меня? Валинь с больной головы на здоровую! — возмутился Сафар, оправившись после минутного замешательства. — Разве не мог он подождать до утра? Попросил бы по-человечески... А теперь что? Украл колхозных лошадей, избил сторожа... Он поступил, как враг, и отвечать будет по закону. Не защищай его.

— Что ты задумал, Сафар? Хочешь, чтобы пострадал невижный? Какими глазами ты помотришь на людей? — в волнении Наибхан встала из-за стола и не отрываясь смотрела Сафара в глаза.

— Он не смел брать колхозных лошадей самовольно! — твердил Сафар, отводя свой взгляд.

— Сафар, неужели, чтобы заставить человека спать шанку, надо отсечь ему голову?

— Кто дорожит своей головой, пусть придерживает язык!

— При чем тут язык? И какой же Шарау враг? У него душа как у ребенка. Его унизили, и он поступил так, как велело сердце, ни о чем не мог думать. Я его не виню...

— Он показал дурной пример! Нарушил закон! Разве закон подчиняется велению сердца? У него нет сердца!

— Бессердечным закон делают такие, как ты! Ты, защищающий закон, можешь ли сказать, что все у нас делается справедливо? Разве закон позволяет нам творить то, что вздумается? Разве он велит не прислушиваться к голосу людей, забыть совесть? Закон справедлив, если не нарушать его — ни один невижный не пострадает. Нечего прикрывать законом несправое дело!

— Мое дело — угодное народу! А ты хочешь, чтобы я уподобился мотыльку, которому всякий волен оборвать крылья. Мой долг...

— Нац долг — видеть лишь то, что есть на самом деле, правду видеть! Пусть станут ядом хлеб и вода для того, кто забудет об этом! Пусть у того, кто несет беду в дом невинного, двор зарастет крапивой, а у порога гнезвятся змеи, — вот чего я пожелаю таким людям! Эх, Сафар, да мужчина ли ты?..

— Говори, говори, я не сержусь. Шараяу для тебя не чужой. Ради него ты на все можешь пойти... Но лучше бы тебе все же помолчать: не забывай, ты как-никак девушкака...

Наибхан словно ударили. Опять ей напомнили об этом... Вот и Аубекир говорил: «Откуда ты только взялась такая! Наши горянки всегда были стыдливые, скромные. Глаз не поднимают от посков своих туфель. Лишнего слова не скажут. Знали совесть».

В чем же совесть и честь горянки?! В ее платке? Или в молчании? Если в этом дело, то и Наибхан может помолчать, опустив на лоб платок. Дело нехитрое, тут она никому не уступила бы. Но плохо же вы, мужчины, знаете своих матерей, жен и сестер! Знает ли Аубекир о жепцинах что-нибудь иное, кроме того, что знает о своей жене? Да разве он один? Горянки рожали и растили детей, хлопотали по дому, ткали ковры и кошмы — и ни о чем ином не мечтали. И мужчины знали лишь таких горянок, с покорностью глядевших им в глаза, послушных малейшему их вздоху... Конечно, женщина остается жепциной в том, что положено природой. И она, Наибхан, ничем не хотела бы отличаться от подруг... Не думает она брать на себя и мужские обязанности, нет. Но ведь сказать, что черное есть черное, а белое — это белое, легче, чем надеть платок! Кто помешает ей сказать так?! Хоть она и девушкака, но не из тех, кто видит лишь носки своих туфель. Она — комсомолка. Может ли она молчать, видя, как клянутся законом, замахиваясь на невинного? Закон — не башлык, чтобы завязать его как угодно и прикрыть им грязное лицо, не ветка, которую можно согнуть в дугу! Что же, выходит, она бессовестная, если не молчит, видя такое? Нет, Аубекир, нет, Сафар, вы неправы. Вашими устами говорит уходящая старина!

Пока Наибхан молчала, уйдя в себя, Сафар невольно залюбовался ею. Он не мог оторвать взгляда от ее лица, от длинных черных ресниц, темных бровей, подобных крыльям ласточки, от точеного, с горбинкой, носа, неж-

ной смуглоты щек... Кто не польстится на такую красавицу! Наверняка ее многие любят, не один Шарау. Как бы не проморгать. В аule с ним, конечно, никто не сравнится, тут бояться нечего. Однако нередко начальники паезжают — что, если приглянется кому-нибудь? О чем же он с ней говорит?! Ни к чему терять время в пустых спорах. То, что решил, он все равно сделает, Шарау от своей судьбы не уйдет... А с ней надо поговорить сейчас же, решить окончательно...

Сафар закурил папиросу, прокашлялся.

— Ты меня слышишь, Наибхан? — позвал он заискивающе.

— Лучше бы мне не слышать такого, — откликнулась она.

— Оставим это, я не о Шарау хотел бы поговорить... — Наибхан молчала. — Ну, не сердись же. Оба мы погорячились — так что ж из того? Не бывает гора без камней, луг без травы — так и работающие вместе не могут избежать разных споров... Но я на тебя вот ни на столько не обижаюсь, — Сафар указал на кончик мизинца. — Не обижайся и ты. Если что и сказал лишнего, так ведь без задних мыслей...

— Что ж, в это я верю, — отозвалась Наибхан, немного отходя. — Я бы тоже ничего не стала говорить, если бы что затаила.

— Я это знаю и тебе верю, — оживился Сафар. — Наибхан... Мы давно знаем друг друга... Ну, ты понимаешь... Короче, хочу услышать твое слово от тебя самой. Других уже посылал к тебе... Знаю, не так уж я хорош, но тоже ведь шанку ношу... — Сафар проглотил слюну, чтобы смочить пересохшее горло. В душе он проклинал себя за то, что не может объясниться с девушкой так складно и красиво, как следовало бы. До сих пор он не сомневался в своем успехе, а теперь вдруг уверенность покинула его...

— О чем ты? — Наибхан покраснела. — Я думала, мы больше не вернемся к этому разговору. Какой толк — пережевывать одно и то же? Не обижайся, но я свое слово сказала и обратно взять не могу. Да и вообще не готова я к такому делу...

— Ох, алмахом клянусь, зачем тебе готовиться? — подхватил Сафар. Он не вник в слова девушки, и надежда его вспыхнула с новой силой, словно искорка в потухшем

очаге, от которой он может разгореться снова.— Прида-
ное, что ли, готовить? Да разве в нем дело? Подожди,
будет у нас все, ни в чем пуждаться не будешь, на руках
стапу посить...— торопливо говорил Сафар, пытаюсь затя-
нуться погасшей папирсой.— И мать моя сказала: дру-
гую, мол, и во двор не пущу...

Наибхан улыбнулась.

— Сафар, ты меня не понял,— с сожалением произ-
несла она.— Я говорю: никогда этому не бывать.

Вспыхнувшая было искорка потухла, Сафар почув-
ствовал, как ослабели вдруг его ноги.

— Если не нравится — даже масло с медом есть не
будешь,— заговорил он убитым голосом.— Но почему, На-
ибхан? Я ведь не под забором родился...

— Поверь, Сафар... Может, я сама плохая... Да разве
в этом дело? Душа не лежит... Ах, да что тут говорить,
сколько ни повторяй «вода» — мельница не начнет мо-
лоть!

— И это твое последнее слово? — спросил Сафар, от-
брасывая погасшую папиросу и закуривая другую.

— Слово мое одно. Я его давно сказала, сейчас толь-
ко повторила. Не обижайся: лучше правду в глаза...

Кровь бросилась в голову Сафара.

— Оллахий, если ты так — свершу по пословице: «по-
ка один раздумывал, другой сделал!» Поступлю с тобой
по нашим обычаям, не я буду первый!

— Зачем тебе это, Сафар? Дело, которое вершится
раз в жизни, надо хорошо обдумать,— спокойно и твердо
заговорила Наибхан.— Знаю, ты способен на насилие...
Но помни: никогда из моих рук не выпьешь воды, к твое-
му приходу не согреется постель, будем жить, как волк
с собакой... Выйти замуж или жениться без любви — все
равно что наткнуться на слепого быка! Пусть мипует
меня такое счастье, да и тебя пускай обойдет.

Сафар молчал. Он понял, что надеяться не на что.
«Шарау! — вспыхнуло у него в мозгу.— Проклятый Ша-
рау! Это все из-за него!» И Сафар окончательно потерял
голову.

— Я знаю, кто виноват, кто стоит между нами! — крик-
нул он.

— Никто не виноват.

— Молчи! Я его проучу! Он у меня притихнет, как
барашек под ножницами!

— Что ты раскричался? Кто тебя испугается, ляжет под твои ножницы, как барашек? Хочешь воспользоваться своей властью? Смотри, завтра у тебя ее не будет!.. — Наибхан, не желая больше продолжать этот разговор, пошла к выходу.

— Подожди! — Сафар загородил ей дорогу.

Ему многое хотелось сказать ей. Но надо, чтобы она поняла одно, самое главное: она ему вовсе не пужна, она не лучше других, наоборот, это он лучше многих, они и в подметки ему не годятся, и откуда у нее такая смесь, за кого она выйдет, если пренебрегает им, председателем, — за Шарау? «Твой Шарау воду пить не достоин рядом со мной, его голова осквернила бы место, где стояли ноги Сафара! Разве можно меня сравнить с ним, на кого ты меня променяла?!» — вот что хотелось крикнуть Сафару. Но вместо этого он, совсем потеряв голову, стал выкрикивать:

— Вы... вы все хотите отомстить мне, унижить! Я знаю! Да, это правда. Я — из бедняков, все мое богатство — облака в небе! Как же могут полюбить меня такие, как ты?! Я ведь не грабил никого, не обирал, не заставлял работать на себя! — кричал Сафар, не переводя дыхания. — А вы, богатеи, знатные, вы и за человека не считаете того, у кого ничего нет, кто не конит богатства в своей норе, словно полевая мышь! Да, да! Но теперь я стою над вами, вы теперь в моих руках, вот! — Сафар потряс кулаком — и умолк.

— Что ты говоришь? Какое у нас было богатство? Какие мы знатные? Кого заставляли работать на себя? — только и смогла произнести изумленная Наибхан.

— Я знаю, что говорю! — крикнул Сафар, повернулся и выбежал из комнаты. Не заметив подходившего к конторе Аубекира, вскочил в свой фазтон, ударил плутом жеребца... Куда направить его, он не думал. Скакать куда глаза глядят! Никого он не хотел сейчас видеть, все были ему неаппетитны. Шарау, Наибхан... Пусть расколется череп Сафара и побелеют на ветру его кости, если не сумеет отомстить им!..

— Э, Наибхан, что это Сафар выскочил как бешеный? Я уж подумал: не наша ли овечка волка наугала... — сказал Аубекир, входя в комнату.

— Овечка! Барашек! Вам бы только... Все вы!.. — напустилась на него Наибхан, не в силах высказаться связно.

— Послушай, сестра, что с тобою? — оторопел Аубекир. — Уж и попутить нельзя.

— Прости меня, Аубекир, — опомнилась Наибхан. — Со мной ничего... А вот Шарау грозит беда.

— Не преувеличиваешь ли ты, сестра? Недаром сказано: у кого что болит... — снова начал шутить Аубекир. Наибхан на этот раз не смутилась.

— Не я преувеличиваю, а Сафар. — И она рассказывала о том, что произошло здесь, умолчав лишь о сватовстве Сафара.

— Да-а, — протянул Аубекир, выслушав ее. — Похоже, дело серьезное. Конечно, Шарау поступил нехорошо. Я думал, обсудим это на правлении. Но и Сафар тоже... Какой же Шарау враг, зачем прозвать ему законом? Советская власть не для того дала нам свои законы, чтобы превращать их в палку...

— Аубекир, наконец-то я слышу слова, достойные мужчины... Ой, что я говорю, прости. Ты ведь защитил Ахмата, поступил, как мужчина. Защити же Шарау!

— Э, Наибхан, не так все просто, как ты думаешь. Ты вот на меня шумела, паскакивала тогда, с Ахматом, а мне разобраться надо было. Мы с тобой Советской власти служим, не подобает нам ошибаться, потороплившись...

— Но сейчас надо торопиться, чтобы пресечь зло!

— Ты права, права, сестра. Только сомневаюсь, в силах ли я... Сафара сам Камиль поддерживает... — Аубекир задумался, помолчал немного. — Меня Край, когда уезжал, тоже просил поддержать председателя, говорил, помочь, мол, ему надо. Я и помогал, поддерживал председательскую честь. Однако вижу теперь: перегибает Сафар... — Аубекир говорил, как бы раздумывая вслух. — И вообще, неладные у нас дела. С этим зерном тоже... Все я заметил, сестра...

— Аубекир, надо же что-то делать, — настаивала Наибхан.

Аубекир молчал.

— Послушай, — оживился он вдруг. — А не поехать ли тебе в Нальчик? Отыщешь Края, он там в Ленинском

городке живет, пойдете с ним в округом, расскажете все, кому следует... А? Да ты не сомневайся, я тебя одну не пошлю, дам в провожатые своего родственника. Надежный человек. А Сафару и всем скажем, что поехала по нашим делам... Ну, как?

— Я и не сомневаюсь. Раз надо — поеду, — без записки ответила Наибхан, хотя в душе дрогнула: ей еще ни разу не выпадало случая покинуть пределы родного аула, а о том, чтобы пускаться в такую даль, и думать не приходилось.

...На следующее утро они с провожатым были уже в пути.

Не напрасно спешила Наибхан: в тот же день ушло в город и письмо Сафара, обвинявшее Шарау во «вражеской вылазке».

19

Миром и покоем объят аул перед заходом солнца. Из широких труб над домами, словно папереголки друг с другом, поднимаются в небо кольца голубоватого дыма, — и вот уже повсюду распространяется дразнящий запах свежеепеченного чурека; неторопливым, степенным шагом входят в аул коровы, — у каждой вымя туго наполнено молоком; вместе с ними идут и ослы, навьюченные сушняком, — но они, едва завидев дома, пускаются вскачь.

В этот час людей на улицах мало: женщины готовят ужин; дети с нетерпением ожидают, когда им достанется кусочек еще пышущего жаром очага чурека; вернувшиеся с работы девушки помогают матерям, прихорашиваются для вечернего гулянья; мужчины же, если не заняты каким-нибудь делом, выходят в пыгыш.

Здесь, в пыгыше, и встретились единоличник Касай с колхозником Курманом, которого недавно поставили объездчиком: следить за сенокосом, за уже налившимся ячменным голом.

— Дружище, я только сегодня вернулся с пастбища... Мать моих детей рассказала: вам выдавали вещи и продукты в счет ваших трудодней. Ты все время пропадаешь на колхозной работе... Что же получил? — спросил у своего собеседника Касай.

— Спрашиваешь, что давали на трудодни? Много давали! Сыр, обувь, материю, кровати железные... Зачем мне нужен был сыр — своего хватает. Взял материю и железную кровать. Кажется, и хозяйка моя выбрала кое-какую посуду...

— Не морочь мне голову, Курман, — промолвил Касай, махнув рукой.

— С места мне не сойти — правду говорю! Ты Мусу ведь знаешь? Вот он тоже всякой всячины набрал на шестьсот рублей. А поздней осенью еще больше получим!

— Пай, пай, и не жалко государству столько добра отдавать одному человеку?! И кому — Мусе!..

— Если заработал, почему не дать?

— Слушай, выходит, могли бы и мне дать?

— Ясное дело, и спрашивать нечего!

— Ну, это ты брось, — снова отмахнулся Касай, а под нос себе чуть слышно пробурчал: «Да лишатся они покровительства аллаха!»

— Кому это ты желаешь, на кого злишься? — спросил Курман.

— На кого же еще... Заморочили мне голову, не решился вступить в колхоз... Слушай, — промолвил он после недолгого молчания, — если сейчас заявление подать, примут меня?

— А почему нет? Что ты такие пустяковые вопросы задаешь? Ребенку, и то ясно!

— Да, говорят, теперь в колхозе нет ни работы, ни земли. Говорят, у вновь вступающих заберут коров, еще кое-что, а работы никакой не дадут. А как жить, если не работать? Так ли это?..

— Да кто это сказал?! Опять морочат тебе голову! — и Курман залился смехом.

— Да нет, я слышал от знакомого человека...

Курман рассердился.

— Ты не слушай всякую болтовню! Отглянись кругом — сам увидишь! Что у тебя, глаз нету? Подставляй-ка уши... — И Курман рассказал, что колхозу отвели новый участок для летних пастбищ, осенью дадут еще участок под посевы, выделили восемь плугов; был слух, скоро получат даже трактор...

— Курман, говорят, этот трактор может за день вспахать столько, сколько десять быков, — правда ли?

— Еще бы!

— Хорошая штука. Эх, как бы оп мой огород быстро вспахал...

— Что говорить!.. Послушай, Касай. Сегодня объезжают колхозных коней — пойдем посмотрим.

Чуть ли не весь аул собрался неподалеку от колхозного двора, возле старой копышны и длинного навеса над коновязью. Мальчишки облепили ветхий плетень. Пришли освободившиеся от работ мужчины. Девушки, словно робея подойти поближе, уселись на низких каменных заборах, на крышах соседних домов. Одни пряли, другие вышивали платочки... Но хотя руки их были заняты работой, глаза украдкой устремлялись на парней: где и когда еще можно встретить столько смелых, отчаянных джигитов, таких завидных женихов, если не здесь и не сейчас!..

Курман и Касай присоединились к мужчинам.

— И чего собрались... Не видели, как лошадей объезжают, что ли, — пробурчал Касай, но ему никто не ответил: все взгляды были направлены во двор копышны, где смельчаки укрощали жеребцов.

— Поймайте жеребца Таусо! Жеребца Таусо! — крикнул кто-то.

Таусо и так стоял сам не свой, а когда услышал этот выкрик, почернел, как сковорода. В колхозной упряжке уже ходят две его лошади... Всякий раз, когда Таусо видит их, ему делается дурно. Если б мог, не пощадил бы того, кто запрягает их!.. А жеребца колхозу отдал разве по своей воле? На что только не толкнет человека страх!.. Но жеребца он отдал необъезженным, и до сих пор таил в душе надежду: скоро растащат колхоз, и жеребчик достанется ему неиспорченным! Таусо был уверен, что колхоз развалится. И что же тогда он заберет обратно? Двух изнуренных работой кляч? Нет, жеребчика он мечтал объездить сам.

Стоявший возле Таусо Эйналук тяжело вздохнул и пробормотал: «Вот и до наших очередь дошла...» Он посмотрел на окружающих. Все колхозники приделались: у кого новая рубаха, у кого — ботинки... Даже Муса, Якуб, Таукес в обновах. У голодранцев — и такие ботики!.. Эйналук глянул на свои ноги. Его обшитые кожей бурки и галоши изрядно подносились. Правда, и он

получил пару ботинок, материю. Но разве он падепет то, что дали эти? Никогда!.. Как пож острый было Эйналуку то, что люди пришли сюда, словно на праздник, шутили, смеялись. Он злился на них, но больше всего — на самого себя, на куски был готов разорвать себя за то, что не смог помешать правлению раздать без остатка все привезенное «оттуда»...

Из конюшни тем временем вывели уштанного четырехлетнего гнедого жеребца.

— Люди добрые, до чего похож на самого Таусо! Такой же гладкий!

— Недаром говорят: если скотина не похожа на хозяина, ее задерет волк! Гляньте: точь-в-точь Таусо, будто и костей у него нету!

У Таусо словно что-то застряло в горле. Он ничего не мог ответить на шутки, летевшие в его адрес. Если бы попытался, голос бы его выдал: Таусо готов был заплакать. Поэтому он только посмотрел на Эйналука, — кто-кто, а они-то понимали друг друга без слов. Да, совсем еще недавно казалось: вот-вот развалится этот колхоз, но не прошло и трех месяцев, а как все изменилось...

— Паршивые чабуры, — проициал наконец Таусо, — будто вы ездили когда-нибудь на таких конях! — Но никто не услышал его.

Один из парней схватил жеребца под уздцы, другой начал седлать. Жеребец вырывался, перебирал ногами, бил копытами землю, но боль в губах, схваченных удилами, заставляла его утихать, и он только сопел, раздувая ноздри.

— Кто же сядет на скакуна? — громко спросил оседлавший, хотя знал, что наездник стоит рядом, — молодой парень лет двадцати, худощавый, с тонкими черными усами, в парадной, хотя и выгоревшей атласной рубашке...

— Пусть Таусо сам сядет!

— Что ему, трудно дать колхозу обьезженного коня?

— Куда ему!

— Да что вы к нему пристали? Это ж все равно, что медведя посадить на кол!

— Не бойся, жеребец-то не чужой тебе, может, не сбросит, уважит хозяина! — подначил кто-то.

— Кругом твои недруги, будь мужчиной, не сраись, — Эйналук коснулся локтя Таусо.

Таусо нерешительно подошел, осторожно погладил тя-

желую гриву гнедого, почесал своими толстыми короткими пальцами его шею. «Ну что, миленький, чего глаза пляшишь, не узнаешь меня? Я же твой хозяин», — про себя уговаривал жеребца Таусо. Как хотелось ему, чтобы копь узнал его и подчинился!.. «Сколько хлеба поел с моих рук, неужто позабыл?..» Таусо показалось, что жеребец совсем присмирел, и он наконец осмелился:

— Ну, держите!

Как только Таусо вложил ноги в стремяна, гнедой прыгнул в сторону, но парни удержали его. Он снова притих. То ли наездник оказался ему слишком тяжелым, то ли испугался чего-то, но копь стоял как вкопанный, зло кося глазами и прижав уши. Таусо же казалось, что жеребец гнется под ним все ниже и ниже...

— Хи, сидит, будто цыпленок под буркой! — заметил кто-то.

— Оппусти-ка, — попросил Таусо, внутренне содрогнувшись, и притронулся носками к бокам гнедого.

Жеребец заржал, встал на дыбы — и тут же упал на колени!

...Мелькнул голубой кусочек неба, зарыбили заборы, плетень... Таусо осознал, что падает. Но где земля, почему он так долго летит?.. «Дурак... все пропало... погуб... девушки смотрят...» — Таусо упал лицом вниз на что-то мягкое, перевернулся и, открыв глаза, увидел небо. Он лежал на куче навоза — падение не причинило ему вреда.

Подбежали, подняли его, надели на голову шапку.

— Не ушибся?

— Нет, ничего, — Таусо отплеывался.

— Посмотрите на него, как вороша, на навозную кучу сел! — притихших было людей снова разобрал смех.

«Чтоб тебя волки разорвали!» — пожелал Таусо жеребцу.

А в это время тонкоусый парень в атласной рубашке, краешком глаза глянув на девушак, подтянул стремяна и влетел на коня. Таусо сжал кулаки. «Хоть бы упал, хоть бы упал!» — повторял он про себя. Но как ни старался бешеный жеребец, парень держался крепко.

— Прирос, будто скала к земле, — заметил Курман.

И вот уже скакун, потемневший от пота, пролетел перед девушками... «Чтоб ты на кол наткнулся! Чтобы не было от тебя пользы колхозу!» — шептал Таусо. Сей-

час он ненавидел своего жеребца, словно кровника. И он заодно с этими! С этими нищими, ублюдками!.. Таусо его выхаживал и подошел к нему с лаской, падеялся, а он... Ах, этот мир, где скотина не узнает хомьяна и люди не узнают друг друга...

— Настанут ли дни, когда мы снова вздохнем свободно?! — вырвалось у Таусо.

— Это ты меня спрашиваешь? — откликнулся Эйналук, не отрывая взгляда от бывшего своего жеребца, которому уже падали удила. — Даст аллах... Мир не может оставаться перевернутым вниз головой. Недолго осталось ждать...

— Когда же покончат с ними?!

— Терпеливому прудинка достается.

— Эх, Эйналук, пока мы делаем сабли из бурьяна, мечтая о будущем, лавина обрушится на нас и сметет вместе с нашими мечтами... — сказал Таусо, сам того не ведая, какую соль высypал на рану Эйналука. Но тому было не до ответа: из конюшни выводили его пегого стройного, высокого скакуна.

Люди оживились, загудели.

— Ого, с такой высоты слетишь — вспомнишь маму родную!

— Оллахий, строеп, как девушка на выданье!

— Будто к скачкам готовили!

— Что ты говоришь, разве необъезженного готовят к скачкам? Так уж сложнее копь.

— Мапшалла! Не сглазить бы!

— Эх, вы, были бы настоящими мужчинами — сами вырастили бы для колхоза такого красавца! — бодро сказал Эйналук.

— Ха, по доброй воле отдал колхозу, что ли?

— Знаем мы, для кого ты его растил! — раздались возгласы.

Эйналук не стал отвечать: он не Таусо, а собаки одинаково рычат и на почтенных, и на недостойных...

Неподалеку от навеса под парнями уже плясало несколько кошей, заарканенных одновременно с пегим, но его красавец до сих пор не дал взнуздать себя. Эйналук несколько улыбался. Куда этим щенкам тягаться с его жеребцом! Но, поймав себя на этой мысли, он опять разозлился. Чему он радуется, чем так доволен? Не обидит сегодня — усмирят завтра. Нечему радоваться. На-

до было вовремя принять меры — не присутствовал бы сейчас на собственных похоронах. Все надеялся, вернется прошлое, пойдет жизнь по-прежнему — вот и дождался черных дней. Надо было, как только пошли слухи про колхоз, припрятать, продать... Пожалею, пожалел. Думал, это все так, ненадолго. А теперь вот... Сердце разрывается — смотреть на это...

Тем временем один из парней ввнуздal жеребца, другой заседлал, — Эйналук показалось, что оседлали его самого. Молодой джигит вскочил на пегого, — будто на плечи Эйналuku... «Ы-ы, мой непокорный, мой умница, не для того я тебя растил, кормил, выхаживал, чтобы на твоей спине красовался опирьок безродного. Попеси его, свали... Вот так!» — но не успел Эйналук обрадоваться, как парень уже снова сидел на жеребце. О, горе! Крепость, которую он сооружал так долго и старательно, рухнула за считанные минуты!.. Все, все рухнуло. Развеиваются, тают его мечты, как снег, напрасны все усилия... Как изменились эти, с тех пор как получили свою подачку. Ходят с поднятыми головами. А ему, сыну Оразая, уже никто не верит... Что же делать, куда бежать? Нет, от этого не убежишь, все подобные ему в том же положении. Что толку рубить воду топором? Всех их постигла судьба его жеребца... Да, где он? Нет, не свалился этот. И жеребец ему уже подчинился, идет послушно, то пританцовывая, то шускаясь в галоп... Эх, лошады, лошады, не в силах вы сбросить груз, только и остается вам, что грызть железные удила. Так и мы... Но нет, нет, не покорится вам сын Оразая так просто...

— Видали? А говорили, не удастся объездить пегого! — произнес кто-то рядом, и Эйналук отшатнулся, как от пощечины. Пегий жеребец, хотя уже не понять было какой, — весь в мыле, медленно, раздувая ноздри, приближался к конюшне.

— Куда ему деваться. Небось понимает, что лучше поддаться по-хорошему! — раздался другой голос.

Эйналук был весь в холодном поту, будто не жеребца объезжали, а скакали на нем самом. Он чувствовал, какими ватными стали ноги, как взмокли руки и шея и прилипла к спине рубашка.

— Чего мы здесь стоим, Таусо? Уйдем, — сказал он и, не дожидаясь ответа, поплелся прочь, едва волоча ноги.

— Неэдорвится тебе? — спросил его догнавший Таусо.

— Здоров, хвала аллаху. Почему ты спрашиваешь?

— На тебе лица нет.

— А ты, думаешь, лучше?— огрызнулся Эйшалук.

В этот момент, перерезав им дорогу, к правлению колхоза проехала легковая машина. Они успели разглядеть в ней Края, Наибхан и Камиля.

— Ах, дочь шайтана, ты посмотри на пес, разезжает с мужчинами! Да еще на легкой!..— со злостью и плохо скрытой завистью выкрикнул Таусо вслед машине.

Но Эйшалук думал не о Наибхан. Сердце его тревожно заколотилось. Начальство приехало... Лучше, конечно, быть от него подальше... Хотя, как сказать...

— Приходи сегодня попозже ко мне, гости будут,— сказал он.

— Эти, что ли?— спросил Таусо.— Еще не хватало, угощать их!

— Эти, еще кое-кто... Собаки не любят двор, в котором не выставляют похлебку, понял?— ответил Эйшалук и пошел к правлению.

26

В доме Эйшалука готовились к приему гостей.

Мисирхан созвала на помощь доверенных родственниц. Все лучшие вещи убрали подальше, чтобы не бросались в глаза. Спрятали даже лишние матрасы, одеяла и подушки. В комнатах стало просторнее, шире. Потом перечистили неском посуду и принялись за стирку. Женщины, расставив испачканные тестом руки, словно намеревались ловить кур, бегали из кладовой в кухню, из кухни в комнаты и обратно.

К тому времени, как стемнело, во дворе разгорелся костер из березовых дров. Пламя его высветило все вокруг, пакнуло алые рубашонки на ребятешек, привлеченных к костру заманчивыми запахами хичинов¹. Мисирхан дала детям по четверти хичина и выпроводила: «Идите, идите».

Первыми из приглашенных пришли жена Таусо Атча с дочерью. Мисирхан и Атча, встретившись на пороге, обнялись, поочередно приложившись щеками.

¹ Хичин — пшеничная лепешка с мясом и сыром.

— Ах, сестра, живем по соседству, а почти не видим друг друга,— вздохнула Атча.

— Правда твоя. Все заботы да хлопоты, повидаться некогда,— поддакнула ей Мисирхан.— И тебя рада видеть, дочь моя,— она обняла низенькую толстуху, дочь Атчи.

— Я не радость твою пришла разделить,— продолжала Атча.— Какие уж наши радости... Пришла погоревать с тобой. Проклятые, суют ноги туда, где даже голова не должна быть...— Она высморкала свой длинный нос, издав такой звук, будто на раскаленную сковородку плеснули воды, и приложила к глазам копец платка.— Мой сегодня пришел и разрыдался, как ребенок. Я его утешаю, мол, на все воля аллаха, от судьбы, пачертанной им, не уйдешь. А сама...

— Ох, не говори, у моего тоже голова на подушке не держится. Места себе не найдет... Проходите, проходите, чего стоять-то.

Постепенно комната наполнялась женщинами. Тут были и беззубые старухи — среди них сестра Эйналука, высокая, сухая, с огромным носом, особенно выделявшемся среди запавших щек, и гости помоложе, на чьих лицах еще заметны были признаки былой красоты. Но всех их объединяло одно: они причисляли себя к «знатым» и поносили «безродных». Мастерницы почесать языки, сочинительницы всевозможных силетов и пелыниц, перебросив через плечо концы своих цветастых, на черной основе платков, приступили к своему любимому занятию. Шепот, вопросы о здоровье, хихиканье — все смешалось в сплошной шелест и гудение, из которого до слуха пробежавших мимо стряпух доносились отдельные обрывки:

— Оставь, оставь, эта бесплодная довела...

— Во времена Миколая...

— ...говорят, гулящая.

А во дворе тем временем, заткнув за пояс голы черкески, Таусо длинной большой поварешкой снимал мясную пену в пачинавшем закипать котле. Двое парней, моргая слезившимися от дыма глазами, прикрываясь от жара костра, смолили барашьи ноги и голову.

Камиль появился, когда уже подошли несколько мужчин из аула. Камиль не знал никого из них, кроме Сафара. Рядом с председателем сидел какой-то худощавый мужчина в черной войлочной шляпе и латавой рубахе.

Сафар что-то толковал ему, но тот, завидев приезжего из округа, обратился к нему:

— Говорят, кто не вступит в колхоз — попадет в «черный список»... Так ли это?

— Это ты меня? — переспросил Камиль, словно хотел выпрять время. — Как тебе сказать... Путь бедняков — это дорога в колхозы. Вы же сами видите, на глазах растет достояние колхозников. Колхоза сторонятся только враги Советской власти, кулаки и обманутые ими...

— Обманутые тоже, значит, враги?

— Ну, всех считать врагами нельзя... Но, если хотите знать правду, рано или поздно таких...

— Но, Камиль, ведь в газете не раз писали: кто не желает вступать в колхоз, того нельзя тянуть насильно...

— Правильно пишут. С собакой, которую ведешь на привязи, не поохотишься. Но мы знаем, как поставить таких на место! — встрял Сафар. Камиль бросил на него косо взгляд, но ничего не сказал, и разговор на этом прекратился.

Сафар то и дело поворачивал голову в сторону входящих, — Наибхан все не было. А ведь обещала прийти... Сегодня вечером он добьется ее согласия, или...

Наконец три девушки внесли и поставили на стол хичины, выстроили перед гостями черные деревянные чашки. Сам Эйналук принес объемистый кумган.

— Из ячменя... Специально для вас приберег... Асхат, неси-ка и второй сразу, — обратился он к племяннику, единственному сыну своей сестры.

Асхат, парень лет двадцати пяти, принес другой такой же кумган и не торопился уходить. Но сидевший рядом с Камилем мужчина в серой бухарской папке — его отец, как узнал потом Камиль, — нахмурил брови, и Асхат вышел.

Выпив по две чаши напиток, гости заметно повеселели. Перед взглядом Камиля поплыли лица — красные, как калина, носатые, стриженые, усатые, заросшие; замелькали руки, хлопающие по плечам и коленям... А Сафару казалось, что все заволжло голубоватым туманом. Люди не ходили, не сидели, а плавали в нем, и все как будто улыбались. Сафару захотелось встать и обнять всех — мужчин, женщин, девушек. Девушки не обидятся — они любят Сафара. И Наибхан лобит. Напрасно обижается на нее Сафар... Но где же опа?

— Эйпалук! — позвал он. Эйпалук почтительно склонился к председателю.

— Все еще не пришла? Пошли людей в третий раз! — Эйпалук понимающе кивнул.

— А где же гармонистка? Музыка! — крикнул кто-то.

И тут же некрасивая конопчатая девушка — первая гармонистка в ауле — рванула мехи гармоники. Притихли женщины в соседней комнате. Может, напомнила им веселая гармонь о прошедшей молодости, о тех днях, когда и они могли танцевать без усталы, обо всем, что ушло от них безвозвратно... И мужчины на время забыли, что их ждут жены, что уже не могут они больше, как прежде, шутить, заирывать с девушками...

— Уй-маржа, хлопайте, хлопайте!

Вышел Сафар, раскинув руки в стороны, словно готовясь взмахнуть ими, как крыльями. Не даст прохода танцующей девушке, крутится, вертится вокруг нее. Девушка поплыла туда, порхнула сюда — Сафар не пустил, загнал ее в угол. Э-гей, гармонистка, играй веселей! Не видишь — Сафар танцует! Веселей хлопайте, веселей! Э-гей, девушка уже устала, а у председателя еще много сил!..

Сотрясались в доме Эйпалука окна, скрипели двери, сыпалась глина с потолка, шулись доски в полу, из щелей летела пыль, дрожали стены, дрожал весь дом! «Хлопайте веселей, веселей! Э-гей, сам Сафар летит по кругу на посках, как шайтан, едва касаясь пола!»

Не выдержал Эйпалук, вышел во двор. Отчего так сдавило сердце? Сам пригласил гостей, никто не насилывал... Он облокотился о плетень и глухо зарыдал. Чего же ты хотел, гордый сын Оразая? Чтобы гости твои кланялись перед тобой, помня, в чей дом пришли? Как бы не так! Вот ты сотрясаешь тут старый плетень, а они трясут твой дом...

Эйпалук почувствовал на своем плече чью-то руку и обернулся.

— Это ты, Асхат?

— Я. Что же покинул гостей?.. Сам виловат! Зачем тебе нужно было это бесчестье?

Старик помолчал, потом выдал:

— Я бы их всех, всех... Растоптали меня...

— Послушай, — снова тронул его за плечо Асхат, — может, приколчим сейчас этого... усатого? Удобней слушая не найдешь. На нас и не подумают, у нас же гости.

— Да, да, прикончим Края! — обрадовался Эйналук. — Но тут же спохватился: — Нет, нет, что ты говоришь! Безумный, найдут нас... Пусть его кровь прольется в другой день. Не хочу, чтобы на мою голову свалилось новое несчастье.

— Да есть ли несчастье большее, чем постигло нас?

— Прекрати, Асхат. Убийство — что оно даст? Убьешь его — будет другой. Бурьян не переводится... Оставь эту затею и займись делом. Опозорить врага — это хуже смерти. Послушай-ка, что скажу тебе... — Эйналук приблизил к себе голову Асхата и зашептал что-то ему в ухо...

Наибхан, войдя в дом и заметив в первой комнате лишь старух — родственниц Эйналука и Миснархан, — пожалела, что согласилась прийти сюда.

...Эйналук возник перед ними, когда они уже выходили из конторы, где Край, Сафар и Камиль договорились провести завтра заседание правления. Тут-то Эйналук и пригласил их всех к себе в гости. Край отказался решительно, сославшись на то, что так долго не был дома и в первый вечер ему не до гулянья... Не думала принимать приглашение и Наибхан. Что она не видела у Эйналука, ни к чему ей эта компания. Но тут вмешался Камиль: «Не съедим же мы тебя, сестра! И я там буду. Неужели не уважишь нас?» Наибхан смутилась. Неудобным в тот момент показалось обидеть представителя из округа...

К тому же у нее было такое хорошее настроение! Праздник был в ее душе. Наконец-то она вернулась домой из далекого города, где пробыла почти два месяца. Она не зря провела их. Окончила краткосрочные курсы советских работников, на которые устроил ее Край. А главное — взяла на себя мужское дело — хотя какая разница, мужчина, женщина ли, когда речь идет о справедливости, — и выполнила его! Защитила Шарау. Неведомо было ему, что беда уже следует за ним по пятам, подкрадывается тихо, как барс к ягнленку. Беда уже уселась было, как черный ворон на колу у него во дворе, вытянулась змеей у порога... Но в дом не влетела, не вползла! Кто отпугнул ворона, обезглавил змею?! Пусть Шарау не знает об этом. Но разве Наибхан ищет похвал? Разве

добро, содеянное тобой, нуждается в оглашении? Может, кто-то скажет, что она себя пожалела, свою любовь оберегла? Но что постыдного в том, что она боролась за свою любовь?! А главное — она защитила невинного и, значит, оберегла многих. Ведь когда страдает невинный — крылья подрезаются у многих... Ее поступок был одобрен и в Нальчике. «Такой девушке нельзя не верить!» — пошутил выслушавший их с Краем человек. «Не тревожься, — сказал он. — Мы не придадим значения сигналу вашего председателя. Пусть твой Шарау насет себе спокойно колхозных овец».

Она рассказала Краю и потом повторила в окружке о том, что творил Эйналука, — и в окружке приняли решение послать в аул Кургак продукты и товары, чтобы раздать их колхозникам в счет трудодней, возместить взятое незаконно...

Конечно, главное сделал Край. Но все равно, никогда еще Наибхан не была так счастлива, как там, в Нальчике, и по дороге домой, куда она возвращалась, закончив учебу одновременно с Краем, и тогда, когда только завидела родной аул.

Вот почему она не подумала хорошенько, принимая приглашение Эйналука, да еще под нажимом Камиля. Дома, правда, спохватилась. Дважды пришлось посланцам Эйналука напоминать ей, и лишь после третьего раза она наконец решилась пойти, захватив на всякий случай то, что могло, как ей казалось, пригодиться...

...А теперь вот снова пожалела.

Но, пройдя в следующую комнату и заглянув в третью, Наибхан ободрилась: тут были и ее подруги, и хорошие, уважительные парни, колхозники.

Танцы были в разгаре.

— Сейчас сделаю вам простор, — сказал Асхат и открыл до сих пор запертую дверь в четвертую не то комнату, не то чулан, — оттуда дохнуло сыростью и плесенью.

Заиграли абзех¹, и парни с девушками плавно пошли по кругу. Сафар оказался рядом с Наибхан, в последней паре. Пот лил с него градом: он никак не мог найти подходящие слова, чтобы начать объяснение. С завистью глядел Сафар на других парней: как свободно они держатся, перебрасываются шутками...

¹ Абзех — национальный танец.

Танцующие проходили через все комнаты и возвращались обратно. Четвертая комната совсем небольшая. Здесь стоят лишь кровать и сундук. Окна нет — вместо него выступ стены с маленьким глазком в ней. На выступе — свеча. Когда танцующие входят в комнату, пламя ее колеблется и по стенам мечутся тени, словно хотят припугнуть танцующих...

Прошли четыре или пять кругов, снова Наибхан с Сафаром оказались здесь, — и вдруг в соседней комнате погасла лампа, и Наибхан увидела, что дверь закрылась... Она бросилась к выходу, Сафар загородил ей дорогу, тяжело дыша, уперся спиной в дверь.

В соседней комнате раздались возгласы: «Зажигайте быстрее!», «Гармоника, играй!» Лихорадочно заиграла гармонь. «Танцуйте, танцуйте! Хлопайте!» — усиленно приглашал Асхат. За дверью снова зажглась лампа, слабый свет пробился в комнату.

— Что это значит? Отойди, дай мне выйти! — потребовала Наибхан.

— Подожди, выслушай... Хочу кое-что сказать тебе, — прерывающимся голосом заговорил Сафар.

— Чего ты хочешь?

— Я жду твоего ответа!

— Ах, вот что! Если по-хорошему не получил от меня желанного, то так — и подавно! Не думала, что ты такой подлец. Открой дверь! — Девушка шагнула вперед.

— Подожди, не бойся... Ты знаешь... Мое отношение... — говорил Сафар умоляюще.

— Лучше мне гореть в аду, чем жить с тобой!

— И это все, что ты ответишь мне?

— Вот именно. Дай выйти!

— Ну, нет, дочь Агеевых, так просто ты отсюда не выйдешь. Не выпущу, даже если весь аул сбежится!

— Осел ослом и останется. Не подходи! — Наибхан вытащила из рукава острый балкарский нож.

Сафар попятился, открыл дверь.

21

— Скотина, что плетется за стадом, довольствуется помятой травой, да и кнут чаще гуляет по ее спине! — Сафар перевел дыхание.

— А забегающая вперед — может свалиться в про-
шасть! — воспользовавшись его заминкой, спокойно вста-
вил Край и подкрутил свои усы.

— Подожди, дорогой, слышал я такие слова, — снова
вступил Сафар. — Не понимаю, почему некоторые тянут
колхоз назад. Если слушать всех несознательных — ни
налогов не соберешь, ни зерна, ни скота у нас не будет.
Я знаю, чего они хотят... И пусть меня никто не учит! —
Председатель многозначительно посмотрел на Края, На-
ибхан, потом — на Камилля.

Тот сидел чуть отделившись от членов правления, по-
ложив ногу на ногу, и курил. Наибхан только сейчас
бросилось в глаза, как он располнел за это время: во-
ротник суконной гимнастерки, плотно обтягивающий его
короткую, толстую шею, был ему явно тесен. Видно, до-
волен своей жизнью, и ничто его не волнует...

Правление вместе с активом собралось по инициативе
Края. Необходимо, считал он, сделать выводы из всего
происшедшего... Но сначала выступил Камиль — поста-
вил новые задачи, рассказал о налоге — и теперь слушал
других. А спор разгорелся нешуточный. Камиль пока не
принимал в нем участия, и нельзя было понять по его
виду, чьи мысли он считает правильными, а с кем не
согласен. Лишь когда говорил Сафар, он слегка одобри-
тельно кивал головой, возможно, сам того не замечая.

За длинным столом сидели, кроме того, Лубекир, Эй-
налул, Курман, Асланток и еще несколько человек.

— Правду говорил Камиль, — продолжал Сафар. — по-
ка не уничтожишь волчью стаю — не будет покоя в коше.
А вы, Наибхан, Край, не слишком ли рано успокоились?
Или волки какжутся вам ягпятами? — Сафар не отрывал
взгляда от лица Наибхан. — Но я не поддамся вашему бла-
годушию. Нельзя щадить кулаков и их сторонников. Они
не смиряются так просто, не откажутся от своих черных
замыслов. От таких добра не жди!

— Но нельзя путать с ними честных людей, — перебил
его Край.

— Оставь, Край, всем уже давно известно, кого сле-
дует лишить чести, а кому ее оставить. Некоторые счи-
тают, будто их сам аллах собственноручно с неба спустил,
а другие, мол, произошли от ослон... Таких в землю надо
загнать! Да что там, есть даже колхозники, которые то-
чат зубы на колхоз...

— Оллахий, Сафар, истинную правду говоришь! — вставил Эйналулук.

— Мы должны отчетить колхоз от таких людей, — Сафар пристукнул по столу рукой. — Комиссия обошла все дворы и обнаружила еще девять кулацких семей. Установлено, что семнадцать семей прячут лишнюю скотину... Их надо исключить из колхоза! Вот, послушайте, — Сафар взял со стола листок: — Гидаев Касым, Чоккаев Махмут, Тегнев Шарау... — Председатель краем глаза взглянул на Наибхан, но она ничем не выдала себя. — ...Ачеев Масхут, — закончил Сафар и снова посмотрел на Наибхан, которая на этот раз вскинула голову, но тут же снова опустила ее.

В комнате воцарилась тишина.

— Оллахий! Все, кто назвал Сафар, люто ненавидят колхоз, — подал наконец голос Эйналулук. — Вот этот Шарау... Тот, кто не бережет колхозную скотину, будет ли беречь колхозный строй или же поддерживать Советскую власть?.. — Он потряс головой и глянул на Камилля. — Кто скажет, что Шарау не умеет ухаживать за скотиной? А поди ж ты, какого колхозного коня угробил!..

— Как это угробил? — перебил его Край.

— Всю синю изуродовал, живого места нет, — вот как. Если каждый так будет относиться к колхозному добру, то от колхоза ничего не останется! Да этот Шарау и сам открыто говорил, что ненавидит и колхоз, и Советскую власть.

— Оставь Шарау в покое, не толкуй всякое слово превратно! И про коня я что-то не слышал, — оборвал его Край. — Мы знаем, кто на самом деле зажиточный и кто как относится к колхозу и Советской власти.

— Ну, скажи, скажи прямо, — не вытерпел Эйналулук.

— И скажу! У нас было семь кулацких семей. Откуда девять взялось? Кто называет Ачеева Масхута кулаком или скажет, что он против Советской власти?!

— Я назову, это я его вписал! — выкрикнул Сафар.

— А почему ты его вписал, на каком основании? Думаешь, Советская власть скажет нам «спасибо», если мы бедняка причислим к кулакам и пустим его детей по миру? Если нам кто-то не нравится, это еще не значит, что надо его зачислить в кулаки!

— Какой же Масхут кулак? — не вытерпела и Наибхан. Все колхозные дела стали теперь еще ближе ее серд-

цу: наконец-то удалось уговорить мать вступить в колхоз.

— Наибхан, понимаю тебя, ведь Масхут — твой родственник, — вроде бы сочувственно сказал Сафар. — Но ведь все жители аула доводятся сидящим здесь какими-нибудь родственниками... Что же это будет, если каждый из нас станет опекать своих родственников, если даже они — враги колхозов? Товарищи, я не примирюсь с этим! Будь он даже сын моего отца — если враг, пусть займет соответствующее место!

— Сафар прав, надо нам отвыкать от этой горской круговой поруки, — поддержал Камиль.

— А по-моему, нам предлагают отвыкать не от этого, — вмешался Край. — При чем тут родственные связи? Дело в правде. Не думайте, что чем больше мы будем наказывать людей, тем больше принесем пользы Советской власти. Помнить надо, Советская власть не для того, чтобы приносить людям горе!

— Чтобы одному жилось счастливо, другой должен пострадать, — изрек Сафар.

— Вот это неправда! За счастье не страдать, а бороться надо.

— Э, Край, будто никто, кроме тебя, не думает о справедливости! — Сафар снова взглядом искал поддержки у Камиля. — Я тоже думаю... Пока мы здесь будем разбираться, кто из них враг, а кто нет, они сделают свое грязное дело — и прощай!

— Что ты говоришь, что мы, Атеева или Тегисва не знаем?!

— Хорошо, — перебил Камиль Край. — Ты можешь утверждать, что те семь семей — кулаки и их имущество следует конфисковать?

— Могу, — ответил Край.

— Почему же, если ты берешь на себя ответственность за семь семей, Сафар не может ответить за эти две? Я верю ему!

— Потому, что он делает, что ему в голову взбредет. А ты не знаешь этих людей...

— А что это за семнадцать семей, о которых говорил товарищ Сарыев? — продолжал Край. — И кто им дал такое задание? Нет лучших колхозников, чем Тегиев и Гидаев. И если мы угоним у Шарау единственную остав-

шуюся корову — что он о нас подумает? Да и все остальные?

Сафар вскочил со своего места.

— Мы будем бороться с врагами колхоза, или... Или вы... Аубекир, и ты так думаешь? — обратился он к молчавшему все это время председателю аулсовета.

— Да что я... Что ты пристал к ним? Ачеев, Тегиев... Может, оставим их? Как вы думаете?.. — Аубекир помолчал, поочередно глядя на собравшихся. — А скота в колхозе мало, меньше, чем у единоличников, я это и раньше говорил, — и он снова замолчал.

— Не обессудьте, если я скажу несколько слов. Может, мне, как девушке, не пристало вмешиваться... — Наибхан покраснела, но продолжала все смелее и тверже: — Я думаю, прав Край. Если я что-то понимаю, то мы, пойдя за Сафаром, лишь поможем врагам Советской власти! Ведь враг сегодня как нес, — ему на хвост наступают, а он даже не рычит из-за трусости...

— Ого, у тебя ясные мысли, сестра. — Камиль насто-рожился.

— Но зато он поровнит укусить исподтишка, — продолжала Наибхан, словно не услышав сказанное Камилем. — Враг старается отшуметь людей от колхоза нашими же руками. Что ему еще остается?.. Вот... И если мы причиним зло ни в чем не повинным семьям, — только обрадуем врагов... И когда мы перестанем не доверять честным людям? — Наибхан посмотрела на Эйналука.

— Аллах, нет у тебя веры! Нечего устремлять на меня свои глаза! — Эйналук повернулся в сторону Камилия.

— ...Ты, Сафар, не враг, — продолжала девушка.

— Неужели? А может, враг? Не знал этого, вот не знал! — съязвил председатель.

— Не враг, знаем. Но ты не любишь людей. Никого, кроме себя, ты не любишь! Хочешь, чтоб у тебя был авторитет, уважение, да не знаешь, как их добыть. Тебе хочется, чтобы все дрожали перед тобой. Ты — трус! А трусы ненавидят смелых, честных...

— Хватит! — Сафар снова стукнул по столу. — Я ненавижу всех, зато ты своих родственников чересчур любишь! — Сафар хотел сказать и о Шару, но промолчал. Лучшее его слово впереди, и ему не хотелось, чтобы прошел слух, будто Наибхан любила Шару, а ее насильно взял за себя он, Сафар...

— Так что же, — Камиль поднялся, одергивая гимнастерку, — по-вашему, в ауле нет ни кулаков, ни притаившихся врагов? Волки в ваших краях не трогают скотину, не едят мяса?.. Так ли? — Камиль, заложив руки за широкий пояс, прохаживался по комнате взад-вперед. — Но вы же сами говорите: врага сейчас распознать трудно... И вы не должны ждать, пока враг сделает свое черное дело, разрушит ваш дом. Врага можно победить только твердостью, а жалеючи — никогда! Так-то, девушка. Для того чтобы узнать, тухлое ли яйцо, не обязательно его разбивать...

— Выходит, надо арестовать всех, кто не по душе Сарыову? — не сдавалась Наибхай.

— Ну, давайте обижим их сердца и посмотрим!

— Разве человек не должен хоть немного доверять тому, что он знает?

— Верим. Именно поэтому мы должны быть осторожными — учитывая наш горький опыт. По вине таких вот добреньких, как вы, нам уже не однажды пришлось хлебнуть горячего... — Камиль помолчал немного и продолжал, глядя на Сафара:

— Необходимо отметить, что очистка колхозов от социально чуждых элементов идет недостаточно успешно... По вине некоторых председателей и активистов в колхозы проникли чуждые элементы. И если мы не уничтожим их, то они уничтожат нас...

— А правду говорят, — перебила Наибхай, — будто в некоторых аулах вместе с кулаками исключили из колхозов и некоторых бедняков, даже партийных?

— Вот что, девушка, — произнес Камиль сурово, — я не привык, чтобы меня перебивали...

— Позволь все-таки мне сказать, — решительно вмешался Край. — Надо бороться с чуждыми элементами, надо требовать выполнения плана. Но нельзя всех подряд относить к врагам, — не этого требует от нас партия. Что говорил великий Ленин? Отмежевать кулаков от середняков! Средняк — не враг. А чего требует Сафар? — Сафар вскочил с места. — Сядь! — властно сказал ему Край. — Нет человека, который не ошибается. Но некоторые не хотят учиться на своих ошибках, не желают их признавать. Да и не только в этом дело. Нет у нас в правлении согласия, единства. Сафар — туда, мы — сюда, Аубекир — посередине... Похоже, Сафара кто-то тянет не туда, куда следо-

вало бы. А он хочет и нас всех за собою потянуть... Сам он, может, неплох, но, как говорится, стал бы моллой, да шайтаны мешают...

— Это какие же такие шайтаны, зачем оскорбляешь нашего председателя?— не выдержал Эйналук, до сих пор молчавший.

— Ты — главный из них!— Край выбросил руку в его сторону.— Это ты и тебе подобные пытаетесь подорвать колхозное дело! Думаешь, забыли, как ты, пользуясь нашим доверием и бесхребетностью Аубекира, отнимал у колхозников последнюю чашку зерна и даже сыр?! С Аубекиром мы еще поговорим на ячейке, сейчас о тебе речь, Эйналук. Мы не забыли этот позор, его не смоешь, хотя мы постарались загладить общую вину... Думали, это последняя «ошибка» Эйналука. Ан, нет...

— Оллахий!— Эйналук воздел руки к потолку.— Я тогда непростительно ошибался. Но ошибались и Аубекир, и дочь моя Наибхан... Разве у нас есть опыт в таких делах...

— Нет, Эйналук знал, что делает,— возразила Наибхан.

— А теперь, когда требует раскулачить семь бедняков,— тоже ошибается?— вставил Асланток.

— Довольно этих ошибок!— отрубил Край.— Я предлагаю сейчас же пересмотреть состав комиссии, снять Эйналука с председателей, вывести из правления. Надо пересмотреть также состав правления, избрать новых людей, надежных товарищей. А о Сафаре тоже поговорим особо.— Сказав так, Край вытер вспотевший лоб и сел. В комнате опять установилась тишина.

Все время, пока говорил Край, Камиль сидел с таким видом, будто это не касалось его. Теперь он поднялся.

— Я думаю, секретарь ячейки прав. Решайте, товарищи...— и снова как бы отстранился от всего происходящего...

22

Сколько ни бывал Шарау в горах, но такого тихого, славного денюка не припомнит. Небо чистое, голубое-голубое. Горы за ближним ущельем словно опоясаны белым облаком, а на вершинах голубоватый снег. Все вокруг притихло, дремлет, наслаждаясь покоем и теплом.

Дремлют горы, и травы, и деревья, и, кажется, даже черные орлы над горами, что лениво парят в вышине, едва шевеля крыльями.

Но нет покоя в душе Шарау. Мысли его все время возвращаются к тому, что свершилось здесь только что.

Шарау не раз приходилось слышать, что на соседние копы нападали скрывающиеся в горах враги Советской власти, угоняли колхозный скот. Он верил и не верил этим слухам. Но теперь довелось столкнуться самому...

К счастью, их было всего двое. Может, выследили, что он один, — папарышки как раз отлучились косить сено. Будто ждали этого момента — подскочили на конях и, ни слова не говоря, начали отбивать овец от отары.

— Ой-хой, как понять, что вы делаете?! — вскричал Шарау, вмиг оказавшись возле непрощенных гостей.

— Не видишь, что ли, глаза повылазили? — шагнул бросил один из них. И только тут Шарау узнал в нем Асхата, племянника Эйналаука. Он не поверил своим глазам. Всмотрелся — он!

Тут и спрашивать нечего, понятно, что они задумали. Шарау мигом вспомнились рассказы о тех, кто, мстя за свое утраченное богатство, угоняют колхозную скотину и где-то сбывают ее или же попросту уничтожают...

— Остановитесь, не пугайте овец! — Шарау повернул уже отбитых от отары. — Зачем вы гоняете их туда-сюда, будто волки? — сказал он, стараясь быть спокойным.

— Сын Хасау, не твоего отца отару угоняем. Мы хотим уgnать то, что насильно было отнято у нас. Ни аллах, ни люди нас за это не осудят. А ты не мешай. — Это сказал второй, мужчина средних лет, опознать которого Шарау не мог. «Похоже, нездешний, и дома давно не бывал — вон как оборвался», — подумал Шарау. А вслух сказал все так же спокойно:

— Кто вам сказал, что я позволю уgnать колхозных овец? Кто? — Они уже съехались вплотную, так что головы лошадей соприкасались.

— Не позволишь по-хорошему — угоним по-плохому! — выкрикнул Асхат, хватаясь за кинжал.

— Сын Хасау, зачем тебе страдать за колхозную отару? Ты ведь, если не ошибаюсь, не очень-то ладишь с колхозом... Мы рассчитывали и на твою помощь. А не хочешь быть с нами — отойди прочь! — отрубил неизвестный.

— Пока я жив, ни одна колхозная овца не станет вашей! — Шарау сжал в руке ярлыгу, глянул на Асхата. — А за кинжал не хватайся, мой-то поострее твоего...

— Упнать овец труднее, чем лишить тебя жизни. Но жизнь твоя нам не нужна, пужны овцы. — Племянник Эйналука круто повернул лошадь и вновь поскакал к отаре, которая уже успела успокоиться. Неизвестный последовал за ним.

— Стойте, я вам говорю!..

Услышав приближающийся тонот, двое оглянулись и развернули лошадей: слов больше не требовалось, все должна была решить схватка.

Всадники летели к нему с выхваченными кинжалами. Шарау выбросил вперед ярлыгу и изо всей мочи хватил ею поперек шеи Асхата. Тот, охнув, мешком свалился на землю. Неизвестный, увидев поверженного товарища, натянул поводья, подхватил Асхата в седло и, уводя его коня, поскакал прочь. Кого не отрезвит страх перед сильным?..

...Теперь Шарау, оставив коня на поляне, шел по тропе и радовался, что не дал отбить овец. Как бы он посмотрел в глаза людям, если б не сумел защитить их добро?.. Вот так племянник Эйналука! Теперь ясно, какими делишками он занимается... Надо бы попросить винтовку... «Сена будет много, — радовался Шарау высокой траве, — как вот только спустят его с гор...»

Слева от тропы — поляна, справа — высокие скалы. Если посмотреть отсюда вниз — закружится голова. Речушка, которую всегда переезжает Шарау, направляясь в кош, блестит едва заметно. Огромные камни, всадники, овцы — все кажется отсюда крохотным.

Шарау шел к Чертовой пещере. Его давно интересовало, что там такое все время свистит и почему. Снаружи ничего не видно, пещера как пещера — из плитообразных камней. По краям свисает длинной зеленой косой густая трава, на вершине выстроились березки, словно девушки, танцующие абзех... С виду ничего особенного. Но, какая бы ни стояла погода, здесь никогда не бывает тихо и безветренно. Свист и вой возникают внезапно из-за поворота, захватывая путника врасплох. Видно, недаром прозвали пещеру Чертовой...

Вот и сейчас Шарау со свистом обступили шайтаны, забили дыхание, начали обшаривать карманы, полезли

за пазуху, за голенища... Шарау вспомнил: рассказывают, если шайтаны не найдут у путника ничего подходящего — могут забрать шапку... Вспомнил — и потянулся за своей шляпой. Но поздно: на голове ничего не было. Он всмотрелся вниз — шляпа, уносимая ветром, была уже далеко. Вот она зацепилась за что-то, но тут же оторвалась и покатила дальше. Шляпа, подаренная Наибхан, не в силах уцепиться за камни и кусты, катилась вниз, таяла на глазах и наконец исчезла!.. Как ни старался разглядеть Шарау — на землю она упала, унесло ли ее в речку, — не смог.

Ему вспомнилось почему-то, как весной бросил в реку гостинец, который вез Наибхан. Теперь он не привозит ей с гор гостинцев... И шляпу, подарок Наибхан, которым так дорожил, упустил в пропасть. Какая разница, ветер ли унес, шайтаны ли забрали...

Зная, что здесь нет спуска, Шарау все же долго искал путь, который мог бы привести к месту, куда упала шляпа. Но так и не нашел. Пропасть кончалась у самого аула, где начиналось ущелье. Добраться до аула и вернуться обратно? Это долго, не успеть до темноты. Остаться в ауле... Что делать, найдет, когда будет возвращаться в кош. Лишь бы никто не забрал или речка не унесла. Но как войти в аул без шляпы? Стыдно ведь. Еще и Наибхан встретится...

Когда Шарау приближался к аулу, солнце уже садилось. Западная часть неба, горы, дома — все стало красным. Даже горная речушка окрасилась в тот же цвет...

Шарау решил заглянуть на мельницу, стоявшую на краю аула. Неудобно проходить мимо, не поздоровавшись со стариком Болатом...

— Пусть спорится твоя работа, Болат! — приветствовал он мельника.

— Спасибо, Шарау! Что это ты без шапки? — удивился добродушный Болат, поднимая к Шарау белое от муки лицо, белую бороду и сверкая своим единственным глазом. Шарау заметил рядом с мельницей навьюченного осла. Принесло кого-то...

— Болат, ты, кажется, не один?

— Э, когда мельник бывает один?

И тут только Шарау заметил в дверях мельницы свою

соседку Буккаш, — она насыпала муку в мешок, который держал ее сынишка.

— С гор, что ли, сосед? — обратилась она к нему, убивая со лба прядь волос испачканной в муке рукою.

— Откуда же ему быть? — проворчал Болат, мешая для Шарау жареную муку с айраном. — Что скажешь, Шарау? Как овцы? Каков там сенокос будет нынче? Хороши ли травы?

— Овцы поправились. Трава отменная. Не пойму только, почему медлят с косьбой...

— Скосят, дойдут и до вас. Сейчас косят Калиновую поляну... Попробуй, здесь, кроме этого, угощать нечем, — старик протянул Шарау черную деревянную чашку, гладкую, словно обточенный водой камень. — Говорят, и ячмень начнут косить не сегодня завтра.

— Какие еще новости? Спокойно ли в ауле? — спросил Шарау.

— Не знаю, как и сказать тебе... Камиль приезжал. Край вернулся...

— Говорят, вчера Эйналук устроил большой той, — вспоминалась молчаливая до сих пор Буккаш. Старик понял, куда она клонит, и строго посмотрел на нее. Но Буккаш, не обратив внимания, продолжала: — Дочь моя рассказывала, как красиво танцевала Наибхан с Сафаром...

— Что ж тут такого? — поторопился перебить старый Болат. — Всегда на вечеринках парни танцевали с девушками, чего об этом рассказывать?

— Ха, так их же заперли в комнате одних!..

Шарау полерхнулся. Он хотел отставить чашку, но руки его не послушались. Его обдало жаром, загорелись уши...

— Сочиняют небылицы, — отмахнулся старик, заметив, как изменился в лице Шарау.

— Да что ты, Шарау? — гнула свое Буккаш. — Не переживай. Она ведь не луна. А звезд много — найдется и для тебя девушка! — Буккаш была довольна, что задела парня за живое: она никак не могла простить Шарау, что пренебрег ее дочерью.

— Разрешите мне покинуть вас. Спасибо, Болат, — распрощался и поблагодарил Шарау.

...Растоптала мою любовь, — думал он, быстро шагая к дому. Ну что ж, у него осталась месть. Месть так же священна, как и любовь. Он отомстит Сафару! Так уж

повелось издавна, так велит честь балжарца,— горы свидетели, эти долины, родной аул. Они отвергли бы человека с растоптанной честью... Не раз они были свидетелями мести — открытой и тайной. Но нет, Шарау не станет мстить тайно. Подожди, Наибхан, ты скоро увидишь... В ауле скажут: достойный мужчина, сумел постоять за свою честь. А там — будь что будет...

— Сынок, или беда какая приключилась?! — всплеснула руками Гелля, когда он переступил порог.

— Не бойся, мать. Шляпу мою унес ветер Чертовой пещеры...

— Что ж ты не подобрал ее?

Шарау стоял перед матерью, вглядываясь в ее лицо, с которого еще не сошел испуг. Тоже, паверно, переживает из-за этих сплетен,— подумал он и пожалел мать. Одна она, днем и ночью одна в доме. Ждет, наверно, не дождется, когда он приведет ей невестку. А он... Похудела как будто, состарилась еще больше,— что-то в прошлый раз он не замечал этих двух морщинок...

— Не мог, нельзя было добраться,— ответил наконец Шарау.

— Нехорошо входить в аул с непокрытой головой,— наставительно сказала Гелля, усаживаясь рядом с сыном и кладя на колени свои темные, землистые руки с голубыми жилками вздувшихся вен.— Ох, что же я усаживаюсь! — спохватилась она.— Ты ведь, паверно, голоден. Чего бы ты съел?

— Да нет, не голоден. Разве только от свежего айрана не отказался бы...

Гелля медлила. Сказать ему, что не квасила сегодня? Он, конечно, поверит. Но обманет она его сегодня — а завтра? послезавтра?..

— Сынок, не переживай, не будет у нас пока айрана...

— Как это? Или корова пала? — Шарау вопросительно поднял свои густые черные брови.

— Забрали у нас вчера корову. Сафар приказал... Даже Края не послушался. Ну, что делать... Может, и к лучшему. Тебе и сена трудно было бы заготовить... Вон и Масхут Ачеев отдал... Лишь бы здоровье у тебя было,— разве в корове дело? Лишь бы у нас все было благополучно, а корову можно завести. Наша-то неважная была. В последнее время даже лягаться стала. Недавно так меня ударила, до сих пор еле ногой шевелю...

Шарау понимал, почему мать хулит корову. Он уже не слышал ее, видел только, как шевелятся губы. Гнев, охвативший его, будто заложил ему уши. Наконец снова прорвались слова матери:

— ...Край сегодня приходил, сказал: не беспокойтесь, завтра же вернут, это, мол, Сафар самовольничает. И Эйналука наказали...

— Да разве в корове дело, мать? Что корова!..

— А в чем же?

Шарау не ответил.

— Сын, наверно, лучше нам в другой аул переехать, — вздохнула Гелля. — Если двое враждуют, один должен оказаться побежденным. А Сафар, как ни говори, все же начальник...

— Мать, о чем ты говоришь?! Как я могу покинуть родной аул? Пусть в нем будет хоть сотня таких, как Сафар! Пойду. Я им все, все выскажу!..

— Куда ты идешь? Пусть аллах покарает меня, если ты поругаешься с кем-то! — крикнула Гелля уже уходящему сыну и пожалела, что крикнула вслед: не к добру это...

Шарау успел немного остыть, пока шел до конторы. Теперь он намеревался поговорить спокойно. Но, едва открыв дверь, позабыл об этом намерении.

Первым делом он увидел Наибхан.

«Бедняжка, — ударило ему в голову, — как поздно задерживается. Позабыла и мать-старуху, и дом — Сафара поджидает, пока он пойдет. Если не так — зачем бы задерживаться здесь девушке так поздно?.. Ясно, из-за него позабыла дорогу домой... Вот каковы девушки: давно ли сама смеялась над Сафаром, а теперь...»

Шарау невольно всматривался в Наибхан, словно стараясь увидеть признаки ее бесчестья. И даже смущение, охватившее девушку, когда та увидела его, он толковал по-своему: «Глаза мне старается отвести». Все были сейчас для Шарау одинаковы — и Наибхан, и Сафар, и сидевший тут же Аубекир.

— Кажется, мы тебя не звали, зачем пришел? — спросил наконец Сафар, не выдержав взгляда Шарау. — А раз уж пришел — выкладывай причину и уходи!

— Когда хозяева не спрашивают, и гость не торопит-

ся сказать о причине своего появления... А не сделав то, что задумал,— не уйду!

Шарау ответил спокойно, но Наибхан хорошо поняла смысл его слов, и в душу ее прокрался страх... Сафар тоже чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и старался не подать вида. Один лишь Аубекир был спокоен.

— Мы здесь сидим не для того, чтобы расспрашивать каждого. Выслушиваем дело, жалобу — и отпускаем,— сказал Сафар, зачем-то перекладывая бумаги на столе.

— Я пришел сюда не для того, чтобы изливать свои жалобы. Не шубу у вас просить! Я пришел, чтобы выказать тебе свое проклятие! Не могу понять,— Шарау повернулся к Аубекиру,— если вы служите Советской власти, то почему не можете разобраться, где правда, а где кривда?! Или вы потеряли честь? Если так — скажите, и дело с концом!

— Шарау, послушай,— заговорил Аубекир успокаивающе.— Твой гнев справедлив, но не следует сразу рвать удила... Откуда тебе известно, что все будет так, как хочет Сафар? Не спеши...

— Шарау, успокойся,— поддержала его Наибхан, вся вспыхнув.

— Оставь, Наибхан! — бросил ей Шарау.— Я знаю: ты и Сафар — одно! Ясно, ты будешь его защищать.

— Уважаемый, ты не в доме отца, знай, что говоришь,— вступил наконец Сафар.— На власть не замахвайся! Это я до сих пор обижал, обманывал ее, доверяя тебе колхозное добро. Теперь — точка! Будет по-моему, мое слово — закон! — Губы Сафара кривились, прыгали, но он сумел все-таки справиться с собой и заходил, как обычно, по комнате, засунув руки в карманы галифе.— Мне не раз приходилось слышать от тебя хулу. Терпел... Но знай: у колхоза нет любимчика по имени Шарау! Ему нужны честные, работающие люди, а не такие, которые губят общественный скот! Ты пришел жаловаться — угнали твою корову, спрятанную от колхоза... А вспомни погубленную тобой лошадь! Край и еще кое-кто прикрывают твоё вредительство, но их настоянию вернем завтра корову... Но пусть радуется и пьет молоко твоя мать. Твоему же вредительству я положу конец!

— О чем ты говоришь? — спросил терпеливо слушающий все это Шарау.— С моей лошадью ничего худого не приключилось...

— С каких это пор она стала твоей?!

— Говорю тебе — ничего с ней не приключилось. Шерсть только на спине вытерлась, кружочек с пятаяк. И от колхоза я ничего не скрывал. Люди знают: не было у меня лишней скотины..

— Была!

— Не было. Оставалась одна корова...

— А теперь и она тебе не нужна. Не все же тебе отрывивать маслом, можешь и водой!

— Сафар, — сказал Шарау, стиснув зубы, — ты всегда не отличался умом, а теперь и вовсе стал подобен ослу, обьевшемуся корнями! Тот, кто топчет справедливость, — затопчет и свою честь. Ты всем несешь только горе, радость — никому. Не страшно тебе?..

— Нет! Меня беспокоит другое: некоторые забывают, кто они такие!

— Тогда ты — отец бедствий, жалкий ты человек, — сказал Шарау. «Чего же я медлю?» — подумал он.

— Говори, говори все, что хочешь. Может, больше такого случая не будет. Об этом станет известно, где следует...

— Эй, сын Сары! Заниматься допосами — удел трусов и подлецов, проливать кровь подлецов — дело мужчин! — с этими словами Шарау, выхватив из пожен кипжал, бросился на Сафара.

— Шарау, опомнись! — Наибхан вмиг оказалась между ним и председателем. — Пожалей свою мать!

Давно уже Шарау не видел ее лицо так близко... «За чью жизнь ты так перепугалась?» — подумал он. Но ясные глаза Наибхан были молны такой мольбы, что он вдруг обмяк, повернулся и выбежал из конторы.

Той же ночью, втайне от всех членов правления, Аубекира и партийной ячейки, Сафар направил в город нарочного с письмом, в котором сообщал о покушении Тегиева Шарау на его жизнь, а заодно и о других «преступлениях» чабана.

Избиение племянника Эйналука, — пока еще разберутся, при каких обстоятельствах он был «избит»; покуше-

ние на председателя колхоза,—этого не могли бы отрицать даже Наибхан с Аубекиром; все старые «грехи»— и «недовольство Советской властью», и «агитация против колхоза», и самовольный увод колхозных лошадей, и «расправа» со сторожем Омаром, и сбитая конская холка— все было сплетено в этом письме и тяжким грузом ложилось на плечи Шарау.

А через день утром Шарау увозили из аула.

Солнце уже начинало палить. Кругом стояла тишина. Молчали горы, и река, и деревья, словно горцы, которых постигло горе. Слышался только скрип повозки да стук копыт.

За повозкой, стараясь не отставать, семенила Гелля с белым узелком в руке,— что-то собрала сыну в дальнюю дорогу.

Как хотелось и Наибхан побежать за повозкой. Но она не могла сойти с места, будто приросла к земле...

У поворота на большую дорогу копей подхлестнули, и повозка скрылась из виду. Выбившаяся из сил Гелля так и осталась стоять, держа свой узелок в протянутой вперед руке. И тут, забыв обо всем, никого больше не стесняясь, Наибхан бросилась вперед. Добежала до Гелли, выхватила у нее узелок и пустилась по большой дороге. Ветер сорвал с ее головы легкий шелковый платок, взлохматил волосы, забивал дыхание.

Но повозка была уже далеко, и, как ни бежала Наибхан, расстояние между ними все увеличивалось... «Не догнать»,— поняла она, и ей перехватило горло. Ах, почему она сразу не побежала за ним, постеснялась людей, стояла, будто к ногам ей привязали мельничные жернова!..

Она свернула с дороги и побежала к возвышавшемуся далеко за аулом крутояру, под которым как раз проходила большая дорога. Пока повозка будет объезжать его, она успеет взобраться наверх...

Колючки шиповника и терна царапали ей лицо, руки, ноги— Наибхан не замечала их. Склон был крут и каменист, она карабкалась на него, хватаясь руками то за ветки, то за сухие корни, то за камни, которые с грохотом падали вниз. Наибхан казалось, что она совсем не продвигается вверх. Солнце палило ей прямо в затылок; ветра, которым задохнулась она на большой дороге, не было; камни и щебенка дышали жаром.

«Зачем я бегу? — думала она. — Чем я смогу помочь? Разве станет ему легче от того, что покажусь на вершине? Зачем же бегу? Может, искать прощения своей вины? Шарау простит... но простишь ли себя ты? В последнее время он был как необузданный скакун. Ты видела это, но не пришла к нему на помощь, пока он не ушел в пропасть. А теперь напрасно бежишь, напрасно... Не туда ты должна бежать, а к тем, кто будет решать его судьбу. Не верю, не верю... Справедливость — не старая кошма, чтобы оказаться под ногами Сафар! Бывает, что тучи закрывают своей черной тенью и луну, и солнце, но луна остается луной, и солнце — солнцем!..»

И вдруг в лицо Наибхан повеял ветерок — она оказалась на вершине. Наибхан глянула вниз — повозка была уже гораздо дальше, чем она ожидала. Слезы брызнули у нее из глаз.

— Шарау! — крикнула она, но голос ей изменил, сорвался.

— Шарау! — крикнула она снова, собрав все силы.

...Неужели Наибхан? Она! Шарау на миг прикрыл глаза. Спасибо тебе, Наибхан, спасибо... Вернусь — буду просить у тебя прощения. Отныне моя душа будет чиста перед тобой, как материнское молоко. Прости меня... Пусть мать мою и тебя сохранит аллах, сберегут эти горы...

Душа моя чиста и перед вами, горы... Может, и я в чем-то неправ. Да, да, не все я делал, как надо. Но я знаю, вы не простили бы меня, если бы я склонился перед Сафаром. Вы отвергаете трусов. Недаром овевают ваши вершины буйные ветры — не дают им запылиться, недаром воды, выбегающие из ваших пещер, уносят со своего пути всю грязь... Несмываем только позор, наступающий человека, — он живет долго, дольше черного ворона, живет, когда прах человеческий уже смешается с землей... Но я чист перед вами, горы, как снега на ваших вершинах, как ваши родниковые воды. Не мог бы я ходить без шапки, которую сбил Сафар.

Я чист и перед вами, земляки, — вы знаете меня... Я не забуду, не предаю вас, родные горы, аул, земляки мои! Не задалась здесь моя жизнь — что ж, бывает и так. Но человек — не журавль, чтобы прилетать весной и улетать осенью. Любишь весну родины — должен терпеть и холод ее зимы...

Повозка уже отъехала далеко. Наибхан на вершине становилась все меньше и меньше и наконец исчезла совсем. Но она все так и стояла в глазах Шарау...

А дорога все отдаляла его от родного аула.

Вдруг вспомнился ему конь, на котором он ездил; ягненок, который сломал себе ножку в тот день, когда хотели угнать овец. Он появился на свет позже всех своих собратьев, далеко от коша, в пасмурный дождливый день. Шарау, обмотав его своим башлыком, целый день носил на руках, согревая теплом своей груди. Ягненок был слабенький — Шарау поддуskal его сразу к двум овечкам. Потом он стал быстро набирать вес и догнал тех, кто был старше его на целый месяц. А в тот день, когда пришли те пакалы, застрял между камнями и сломал себе ногу. Шарау наложил ему дощечки, перевязал. Как бы теперь не прирезали его, поленятся ухаживать.

Шарау поднял голову и посмотрел по сторонам. Рдеют, как огонь, кизил и рябина. И в березовых косах уже наметилась желтизна... А вон, далеко, жители аула косят широкую поляну. Двигаются друг за другом медленно, плавно, словно облака в небе... Вот остановились — отбивают косы. Горы отразили звук и донесли его до Шарау...

Слева — высокие горы, голые скалы — шриют облаков, горных орлов да туров. Лишь кое-где видны на них одинокие карликовые дубы и сосны — словно путники, отбившиеся от товарищей. Можно ли завидовать этим деревьям, что пробили грудь скалам и пьют из них сок, необходимый для жизни?.. Они пробили скалы, но никто не слышит, как шелестят на ветру их ветви, — одиноки они. Оттого печален и грустен их шелест. Ведь если переломит им ствол сорвавшийся сверху обломок скалы или почернеют они от удара молнии, — никто не поспежит им на помощь, не разделит их горе, не придет оплакать, как приходят к человеку, которого постигла беда...

С высоких скал сбегают вниз тропинки, такие узкие, что не разойтись двоим. Как ручейки вливаются в большую дорогу. Отсюда, издалека, кажется, что они непреступно круты и там не за что даже зацепиться. Но если там не ходят ни люди, ни животные, то кто же проложил эти тропинки? Шайтаны, что ли? Падают прямо вниз, тянутся через скалы наискось... Ведут на ластбища, на обильные сенокосные поляны, а оттуда — к турам, к орлиным гнездам, на самые высокие вершины... Узки,

опасны эти тропы — но приводят на широкие поляны. И Шарау много раз косил сено на лугах, лежащих над скалами. Но ни разу он не поднимался к ним по таким тропам. Вернется — обязательно попробует подняться. Обязательно! Они приведут его на просторные горные пастбища. Эх, как хотелось бы ему пасти там овец!

24

Наибхан возвращалась, чувствуя бесконечную усталость и боль в расцарапанных до крови руках.

Сафар то ли встретился случайно, то ли поджидал ее.

— Советская власть почитала тебя за человека, посадила на почетное место. А ты побежала за ее врагом... Пожалела вредителя! — сказал он, останавливая свой фаэтон поперек ее дороги.

Наибхан молчала.

— С места мне не сойти, если ты теперь проработаешь там хоть один день!

— Я сама не стану сидеть с тобой рядом, хоть зарежь меня! — ответила девушка.

— Тебе нет места и в колхозе, помни!

Наибхан, не говоря ни слова, обошла фаэтон и направилась к дому.

...Вечером к ней пришел Край. Молча сел на поданный ему стул и сидел так, не зная, что говорить. Утешать ее? Но найдутся ли такие слова?.. Ему хотелось подойти к Наибхан, обнять ее, вытереть слезы... Но Край боялся, что это получится у него неуклюже, — не умел он проявлять своих чувств, — и потому оставался на месте. Никогда, кажется, Наибхан, плачущая сейчас о другом, не была ему так дорога. На миг он даже почувствовал зависть к Шарау... И боль оттого, что должен таить свое чувство, прятать его не только от Наибхан, но даже от самого себя. Да, она никогда не должна узнать о его любви. Только бы не выдать себя сейчас каким-нибудь неосторожным словом, движением, голосом...

Край наконец подошел к ней и по-братски положил руку на плечо:

— Плакать-то зачем... Успокойся. Сегодня собиралась партячейка... Мы не оставим Шарау в беде. Вот увидишь, он скоро вернется... И Сафар будет наказан. Ну, ободрись же, я еду в Нальчик, поняла?..

...После ухода Края Наибхан овладели противоречивые чувства. Ей так хотелось верить, что Шарау вернется! Верилось — и не верилось... Помнилась и угроза Сафара. Вдруг все так и будет, как говорит Сафар, вдруг поддержат его, а не Края? И ее выгонят из колхоза... Что она может сделать? Не замахнешься же на Сафара кивжалом... И слезы снова невольно подступили к глазам.

Наибхан сидела в комнате одна. На столе перед ней горела свеча. Девушка смотрела на нее, не отрываясь... «Вот и ты сгорасишь, тасешь, проливая горячие слезы, подобно мне. Но ты приносишь хоть малую пользу — освещаешь комнату, изгоняешь из нее мрак, тебе нечего лить слезы... А мне надо ли плакать? Почему я думаю, что беспомощна? Разве аул отверг меня, или честь моя растоптана? Или Сафара так испугалась? — Наибхан даже улыбнулась этой мысли. — Пусть жалеют бессильных, а я... Жить одними радостями — легко, попробуй жить, когда трудно!»

Собираясь в дорогу, Край думал обо всем, что происходило в ауле за последнее время, о том, что скажет он в Нальчике.

Он упреждал себя за то, что не сумел вовремя активизировать ячейку и все здоровые силы колхоза. Не принял меры, чтобы очистить колхоз от таких, как Эйпалук, Таусо, укрепить правление. Но главная его ошибка — Сафар! Эйпалука, Таусо — не перевоспитаешь, это ясно, и печего было тянуть. А вот Сафар... Он, секретарь партийной ячейки, понимал, что надо растить активистов на местах, из горской среды. Сама жизнь настойчиво требовала этого, выдвигала вчера еще неграмотных парней на руководящую работу, делала из них организаторов его интересов, а не руководствовались личными симпатиями или неприязнью. Все это так.

Но он, Край, ошибся, надеясь воспитать Сафара. Не всем дано выдержать испытание полученной над людьми властью. Власть вскружила Сафару и без того слабую голову, и он зарвался. Надо было давно поставить вопрос о смене председателя.

А в том, что произошло с Шарау, разве нет и его вины? Вовремя не одернул Сафара — это одно. Но и на

Шарау надо было как-то повлиять, разъяснить ему, чтоб не путал Сафара с Советской властью. Эх, горячая голова, что же он патворил...

Виноват Край, виновата ячейка... Правда, их, партийцев, всего трое. Мало! И Аубекир к тому же оказался не на высоте... Теперь лишь спохватился, но сколько зла было сделано при его попустительстве... Надо расширять партийную ячейку, есть достойные люди! И комсомольскую тоже. Комсомольцев всего пятеро. А разве нет больше в ауле таких парней и девушек, как Наибхан?

Все эти вопросы следует решать не откладывая. Но прежде всего — с Шарау. Не будет им ни оправдания, ни прощения, если пострадает Шарау, горячий, несдержанный, но честный парень, — отвернется от них народ.

...Утром Край был уже в пути.

25

Обходивший дворы бригадир еще не добрался до конца аула, а народ уже шел на жатву. Никто не хотел сегодня остаться дома. Шли с косами мужчины и подростки, женщины с младенцами, которых не с кем было оставить дома, шли девушки на выданье и старухи, женихи и мальчишки, карманы которых еще протирали альчики.

Передние уже достигли склона и начали взбираться. Голоса людей, топот множества ног прервали утреннюю дрему природы. Всполошились птицы. Пухлые, как бочонки, перепелки вспархивали с троп и падали в густую высокую траву. Дикие голуби, воркуя, перелетали с одной рябины на другую. Они и раньше видели здесь людей, — но никогда их не было так много разом.

Чуть в стороне от тропы на большом камне устроился старый орел. Только что он закогтил голубя и собирался позавтракать, когда послышался этот шум... Многого повидал на своем веку орел и потому не торопился взлетать. В этих местах издавна паслись стада, а скотины он не боялся... Не обращая внимания на невиданную толпу людей, которую он принял за отару, орел поискал глазами пастуха, — вот кого следует опасаться... Но что за диво: это вовсе не овцы, а, кажется, коровы. И где же пастух? Это как будто и не коровы, все похожи на пастухов! Орлу не понравилось это. Он качнулся, вытянул шею, чуть склонив голову. Но крылья расправлять не

стал — остался сидеть. Он привык к этому камню, не просто согнать его отсюда... Идущие по тропе скрылись за выступом горы, голоса их почти затлохли. Орел обратил свой взор на лежащего перед ним на камне голубя... Но тут голоса послышались с новой силой, хотя никого еще не было видно. Орел опять зашевелился: он не любил терять врага из вида. Раздался детский плач, и орел, приняв его за бляенье ягненка, снова успокоился. И вдруг голоса, слившиеся в единый гул, раздались прямо под его камнем, показались головы людей, — и орел, уже не раздумывая, взлетел. Держа голубя в когтях, он поднялся высоко, сделал плавный широкий круг — искал на склоне камень, где можно было бы покопчтить с завтраком. Но везде были люди.

Выкатилось из-за горы солнце — и все вокруг мигом преобразилось, заиграло самоцветами. Еще больше покраснели ягоды рябины, радужными бусинами вспыхнула роса на траве, молниями засверкали косы на плечах мужчин и парней, засеребрились серпы в руках женщин и девушек, зарозовели их косынки. А тем, кто шел позади, показалось, будто опередившие их взбираются вверх, держась за тонкие золотые косы солнца...

Достигли вершины и остановились: перед ними золотой стеной стояло ячменное поле.

— А говорили, не будет здесь урожая!

— Тьфу, чтоб не сглазить!

— Сроду не видал такого!

Ветра почти не было, но поле шумело — «ш-ш-ш», — словно текла глубокая и плавная река. А иногда казалось, будто кто-то встряхивает бескрайний отрез желтого атласа: по полю бежали волны, уходя далеко-далеко, туда, где сходились земля и небо. Потом они возвращались, поле затихло на мгновение — и снова покачивалось плавно, как горячка, плывущая в танце, постоянно меняя при этом свой цвет: то золотистый, то зеленоватый, то медно-красный...

Якуб вошел в ячмень, который был ему выше пояса.

— Якуб, не заходи далеко, заблудишься! — крикнул ему кто-то.

Якуб стоял, глядя вдаль. Ему не хотелось возвращаться. Слезы выступили у него на глазах. Отчего бы это?.. всю жизнь он косил здесь сено. Но кому?.. С великим трудом наскребал потом на прокорм своей корове с ос-

лом... А когда решили запахать этот луг, он поверил тем, кто утверждал, что и сенокос погубят и урожая тут не будет. Тяжко ему было глядеть, как ворошат, вздымают обильное сенокосное угодье... А теперь!.. Якуб осторожно провел рукой по колосьям — ладонь почувствовала теплые бугорки налившихся зерен.

— Люди добрые! Чего же мы стоим?! Давайте начнем работу, пока солнце не припекло! — сказал кто-то.

...Наибхан и еще несколько женщин и девушек, которых она созвала, обходя дворы вместе с бригадиром, подошли, когда жатва уже началась.

Край поля оставили женщинам. Мужчины же начали с середины. Среди высокого ячменя виднелись лишь их белые рубахи и шляпы. Следом за мужчинами шли вязальщицы, — по их становилось видно, только когда они изредка разгибали спины.

Наибхан осматривалась — где бы встать вновь пришедшим.

— Рановато пришли! — поддела их одна из жниц: женщины, захватив полширины поля, уже заметно продвинулись от края навстречу мужчинам.

...Эйналул стоял в стороне, в тени сложенных снопов. Его не позвали косить, попросили только помочь забить барашков да приготовить обед. Но скотину еще не привели. Двое парней собирали дрова и готовили костер. А Эйналул стоял и смотрел на дружную работу.

Надо было сжечь этот ячмень — не глядели бы теперь глаза на такое! Сплоховали... Все собирались, тянули — не сегодня, завтра. А теперь что ж... Вон как они орудут, будто саранча, — думал Эйналул, глядя на жниц. — Оказывается, для себя и они могут работать... — Взгляд его упал на Наибхан. А эта что пришла сюда? Разве не слышала, что сказал ей Сафар?.. И еще этих сорок притащила. Даже тех привела, которые, кроме своего двора, ничего и не знали... Будто сукно ткут в отчем доме! Эх, взять бы их за косы да срезать, как режут они ячмень! Не из ячменя бы он сложил стога, а из этих проклятых жниц! И детей приволокли с собой, вон бегают, как муравьи, тянут снопы к стогам... — Эйналул с трудом удержался, чтобы не пихнуть проходившую мимо дочурку Мусы. — Небось, когда косили здесь сево для него, никто не приводил детей. А разве чурек у Эйналука не настоящий или айран его был хуже, чем у них?!

— Осторожно, сестры, порежетесь, — сказал Эйналуку, которому захотелось хоть немного сбить работу. Слышали его или нет, но никто не ответил. Эйналуку сказал еще что-то, но Наибхан не разобрала: неподалеку от них косцы, выстроившись в ряд, дружно начали отбивать косы, заглушив бормотание старика. Звон резанул Эйналуку, и он пошел прочь. Вспомнилось, какой музыкой раздавался этот звон, когда косили его сено. А теперь — будто все сороки мира уселись на его плечах и орут в уши...

Эйналуку уселся поодаль на траве. Всем аулом приваляли, — думал он. — Что же привело сюда тех, кто всю жизнь провел за своим забором?.. Провалиться ему на этом месте, разве притащилась бы сюда эта старуха Кегюрчун, будь это его поле? Старая кобылица!.. А этой косноязычной Шахе что тут надо? Ишь, как стрижет... Или их привела боязнь, приказ? Кого не подчинит себе сила! Разве я сам по доброй воле пришел сюда и буду готовить им еду?.. Ничего, потерчим — потом вспомним вам все это. Не совсем же отвернулся от нас аллах... Все еще переменится, встанет на место. Тогда-то вы узнаете Эйналуку... Ждите, косите — пошлет аллах, сварим из этого ячменя пиво на поминки по вашей власти!

И тут он увидел на краю поля Сафара. Ему не хотелось, чтобы тот застал его сидящим без дела. Эйналуку поднялся и снова подошел к жницам.

— Дружнее, милые! — начал подбадривать он.

...Сафар, сменявшись, долго всматривался в ровные ряды косарей и жниц. «А все же умею я заставить людей поработать! — радовался он. — И ячмень уродился отменный. Встает колхоз на ноги. Пусть теперь попробуют потягаться со мной! Эх, надо было бы связаться с Камилем — сейчас бы фотографа сюда!»

— Бог в помощь, сестры! — весело приветствовал наконец Сафар женщин.

Двое или трое, разогнувшись, ответили на его приветствие. Остальные продолжали работать, будто его здесь и не было. Это покорило Сафара. Работа работой, но должны же они считаться с ним, главой колхоза!.. Взгляд его скользнул по лицам женщин и остановился на Наибхан. Сафар не мог оторваться от нее: атласное платье девушки четко обрисовывало очертания ее фигуры... Нет, нет, — подумал Сафар, — даже если переведутся все деву-

шки, кроме нее, он больше не станет унижаться перед ней. Еще посмотрим, чей очаг погаснет... Наибхан не замечала его упорного взгляда, продолжая жать теплый, золотистый ячмень.

— Эй, дочь Ачевых, посмотри-ка сюда!— позвал председатель.

Наибхан разогнула спину, вытерла бусинки пота на лбу.

— Что я тебе говорил? Кто тебя сюда звал? Ну?— Сафар нетерпеливо застучал по седлу кнутовищем.

— Не по твоему зову пришла — не по твоему указанию и уйду!— ответила Наибхан.

— Что?! Еще как уйдешь! Глаза не будут видеть, куда ноги ступают. Отправляйся по той дороге, по какой пришла! Ну!

— Прогонишь, когда буду жать поле твоего отца!— Наибхан побледнела, но даже не думала трогаться с места.

— Что это ты кричишь так на девушку?— вмешалась старая Кегюрчун, ставоваясь рядом с Наибхан.— Силу свою показываешь? В этом ли твое мужское достоинство? Кто видел, чтобы мужчина повышал голос на женщину!

— У меня хватит силы, чтобы справиться с врагом!— Сафар опять застучал кнутом по седлу.— Если б не было — не назначили бы председателем!

— Много же у Советской власти будет врагов, если счесть ими всех девушек, которые не захотят выйти за тебя замуж!

— Пусть тогда всех нас голят!— раздались голоса.

— Знайте, что говорите!— Сафар зашарил взглядом, лица тех, кто распустил язык.— Как бы не пришлось раскаяться!..

— Не пугай нас, Сафар. И оставь в покое, только работать мешаешь,— сказала одна из девушек и склонилась к ячменю. Все последовали ее примеру.

— Что же ты? Не стой!— дернула Наибхан за руку та же девушка.— Давай теперь ты жни, а я буду вязать.

— Слышишь, Ачева, что я сказал?— все еще пытался спасти лицо Сафар.

И вдруг кто-то из жниц запел сильным низким грудным голосом «Эрирей»¹:

¹ «Эрирей» — народная песня, славящая труд.

Ленивую девушку настоящий мужчина замуж не возьмет,
А если и возьмет — будут жить не в ладах.

Женщины подхватили песню, словно ждали, и она по-неслась как на крыльях.

Не стало слышно звона серпов и кос, затлохли и слова Сафара, — только видно было, как шевелятся его губы, как белеют лицо и пальцы, сжимающие кнут. А песня, подобно жаворонку, взвилась высоко в небо, полетела над полем, опустилась к горной речке.

Сафар хотел перекричать песню — не получилось. Стал ждать, пока утихнет, — она не затихала: жницы, подмигивая друг дружке, подхватывали ее снова и снова, все дружнее и дружнее. Сафар вскочил в седло и, хлестнув жеребца, помчался к косцам. Он скакал, словно хотел убежать от песни, скрыться. Но она догоняла, опережала, толкала в спину — все гнала и гнала его.

— Э-гей, сын Сары, не по ровному месту скачешь, тропы крутые — упадешь! — крикнул кто-то из косарей.

А над полем все летела песня.

26

Старая Наибхан очнулась от своих воспоминаний, так живо наломпивших ей всего лишь три месяца ее жизни. Да, три месяца — по каких!..

Неужто это сын Шарау сидел сейчас перед нею? Да, да, как будто сам Шарау! Благодарю тебе, судьба за эту встречу.

Дочери с тревогой смотрели на старую, но она слабо улыбнулась им, и они облегченно вздохнули, отошли от кровати. А в памяти Наибхан снова побежала, замелькала торопливо вся ее дальнейшая жизнь.

Не суждено было больше им встретиться.

Край добился, чтобы дело Шарау в короткое время было пересмотрено. Его полностью оправдали и освободили. А незадолго до этого ушла к нему черная весть: умерла его мать Гелля.

...Отчего же он все-таки не вернулся? Может, там, вдалеке от нее, снова пришло к нему сомнение в ее любви? Думал, что не к кому возвращаться после смерти матери? Или так болело сердце, и нужно было время, что-

бы затянулась рана, чтобы, вернувшись, спокойно смотреть па Сафара, ходить по тем же дорогам, что и он, дышать с ним одним воздухом? А может, причина была и в том, и в другом? Кто знает. Наибхан так и не суждено было понять это.

А жизнь между тем шла вперед.

Через короткое время в колхозе состоялось общее собрание. Исключили Эйналука и Таусо. Сафара сняли с должности, председателем стал Край. Не выбрали в аулсовет на следующий срок и Аубекира. Большое доверие оказали земляки Наибхан: избрали председателем аулсовета ее. С тех пор бесшестно оставалась она на этом посту...

Было ли известно обо всем этом Шарау?.. Он писал родственникам, и Наибхан знала о его жизни все. Узнала и о его женитьбе, о которой он сообщил через три года. Не поверила, пересилила свою гордость, попросила письмо, чтобы прочитав своими глазами. Не дочитав, убежала, спряталась в саду и плакала долго, безудержно. Неужели он вырвал ее из своего сердца?..

В тот же день она впервые решилась написать ему.

«Ты сообщаешь, что женился,—начала она.— Хорошо сделал. Будь счастлив». В глазах потемнело, строчки слились, но она справилась с собой и продолжала: «У каждого свое счастье. Одни приходят к нему трудно и поздно, другим удается достичь его легко и рано. Эти набрасываются на свое счастье очертя голову, дрожат, как бы не упустить, торопятся... Поверь, я бы отвергла счастье, которое достается легко, без труда. Хотела бы я знать, счастлив ли ты теперь, забыв дружку... Тебе, конечно, видней. Но вернее всего покажет время. Да, только время проверяет наши чувства и поступки... Ты не думай, я хочу, чтобы ты был счастлив. Не сомневаюсь, ты из тех, кто может отличить настоящее счастье от поддельного. Но не считал ли ты, что счастье можно поймать так же легко, как зацепить ярлыгой овцу в отаре? Ты хотел счастья, а бороться за него не умел. Слишком был нетерпелив, не умел смотреть вперед, отличить главное от преходящего. Но ведь даже для того, чтобы цыпленок вылупился из яйца, требуется время. А мы выращиваем новую жизнь для всех! Ты же не умел ждать. Ждать — не значит выжидать. Бороться надо за свою мечту. Ты же хотел, чтобы новая жизнь вошла в село сразу, немедленно, как только ты спу-

тишься с гор! Для тебя весь свет сошелся на Сафаре. Ты думал, он — это власть. А кто он теперь?.. Увидел бы ты сейчас наш аул, наш колхоз... Надеюсь, что хотя ты сейчас и вдали от них, по будешь с нами. Постарайся!

Как я живу, работаю? Зачем тебе это знать? Но не могу не сказать, что любила и люблю тебя, — зачем мне теперь гадать свои чувства, да ты и сам знаешь о них... Но не думай, не хочу казаться несчастной, — смотрите, мол, какая забытая, недолюбленная... Удар, нанесенный тобой, меня не свалит, не убьет. У меня будут дети, но отцом их станешь не ты, другой. Может, горько, но это так. Я уже счастлива — тем, что живу и тружусь вместе с родным аулом. Буду еще более счастливой счастьем моих детей. Любовь же наша, раненная тобой, — на твоей совести, не я ее осквернила...»

Наибхан до сих пор помнит, как писала это письмо, помнит каждую строчку в нем.

Она так и не отправила его: слишком много было в нем упреков, и что в них толку...

А через год она вышла замуж за Края. Наверное, сам Край никогда бы не осмелился предложить Наибхан стать его женой. Постарались Якуб и другие близкие, желая ему добра. Сватали ее упорно, но Наибхан жила мыслями о Шарау. Не могла и думать, что невестой переступит чей-то другой порог. И лишь получив весть о его женитьбе, она решилась...

В свадебном торжестве принимал участие весь аул. Вот как оборачивается жизнь: не раз преграждавший ей дорогу серый жеребец, на котором когда-то красовался Сафар, теперь, впряженный в тот же фаэтон, воз Наибхан к дому ее мужа, хорошего человека, которого она так и не смогла полюбить... А Сафар лишь провожал фаэтон печальным и завистливым взглядом...

Наибхан до сих пор благодарна землякам, которые почти все пришли тогда на свадьбу, думая, что делают ее радость. Но она не могла скрыть печали... Когда Край вошел к ней в комнату в первую ночь, она смотрела на него, как на чужого, незнакомого, неотступно думая о Шарау. Она видела руки, глаза, губы человека, который сейчас станет ее мужем, и думала: почему перед нею он, а не Шарау...

Через год у них родилась дочь, Жаннет. Перед самой войной — вторая, Фаризат. Отец не успел увидеть ее пер-

ные шаги — ушел в партизаны и не вернулся, погиб командиром отряда.

Перед самой войной прошел слух, что в аул возвращается наконец Шарау с семьей. Не успел вернуться Шарау: воевал и погиб на Втором Украинском фронте...

Встреча с сыном Шарау, воспоминания словно влили в Наибхан новые силы. Несмотря на уговоры дочерей, она поднялась.

Нечего ее уговаривать, ей гораздо лучше. Да и не хочет она цепляться за жизнь, угасать в постели, словно прихваченная морозом осенняя трава... Вот если бы стать ровесницей нынешним девушкам-горянкам — другое дело! Но к чему желать невозможного. Да она и не завидует нынешним девушкам, нет. Нечего ей жалеть о прошедшем времени, вздыхать о молодости. Все идет своим чередом. Дочери ее живут доброй, счастливой жизнью, сын Шарау Азамат стал врачом — разве это не достаточное вознаграждение за все пережитое, испытанное?.. Нет, не нужна ей жалость. Пусть впереди у нее ничего нет, пусть ноги ее перестанут двигаться — она будет жить, пока не прервется дыхание, радуясь счастьем дочерей, Азамата, соседей...

Наибхан снова подошла к окну и стала смотреть на улицу. Теперь не то, что утром. Нет больше тишины и безлюдья. Снег весь истоптан, на дороге пробита тропа, беспрестанно снуют по ней вверх и вниз жители аула. Как и много лет назад, от реки идут девушки, пригибаясь под тяжестью ведер. Ребятинки гонят скот на водной. Там они остаются гонять по льду юлы, кататься на коньках, забыв обо всем. Лишившись погонщиков, скотина возвращается вразброд, медленными тяжелыми шагами, останавливаясь у больших камней и заборов почесаться или просто постоять, прислушиваясь к теплу...

Вон и Сафар гонит на водной корову — туда, куда некогда ходила по воду и Наибхан, где встречалась с Шарау...

Сафар... Время — как река, и люди — пловцы в ней. Но одних река плавно несет на своих волнах, а других выбрасывает на берег, словно вырванные с корнем деревья. Так случилось с Сафаром. Но разве не сам он виноват в этом?

Наибхан вспомнился ее спор с Фаризат.

— Ты, мать, никак не можешь простить Сафару, до сих пор его ненавидишь,— сказала как-то Фаризат, когда зашла речь о Сафаре.

Наибхан ответила не сразу, раздумывая о ее словах.

— Нет, дочь моя, ты не права,— ответила она наконец.— Нет у меня к нему никакой ненависти. Я готова была бы забыть зло, которое он причинил мне. Одну-две ошибки можно простить каждому... Но Сафар принес зло многим людям, а такое не забывается.

— Эх, мама,— возразила Фаризат,— говорил котел котлу: у тебя дно черное! Так и ты. Сейчас всем легко замечать ошибки, совершенные в прошлом, но что же вы тогда молчали, почему не пресекли его подлость? Теперь уж нечего показывать на него пальцами. Время такое было...

— Да разве мы молчали? Откуда ты взяла?!— возмутилась Наибхан.

Дочь ушла в школу, а горький осадок в душе, оставленный ее словами, не проходил. Как она рассуждает! Что, если бы случилось ей оказаться тогда на месте Сафара? Похлеще него, пожалуй, была бы! Такие, как Сафар, и начинаются с подобных рассуждений. Если все зависит от времени, то можно ли осуждать Сафара? Так, мол, требовало время, и он следовал его велению... Послушать некоторых — нету виноватых. Что поделать, оправдываются, такое время было... Нет уж, время временем, а человек — человеком! Не бывает такого, чтобы человек совершал подлость и не осознавал ее. Неправда! Гнутья в дугу, извиваться лозой только потому, что так удобнее, а потом вишнить время, — нечестно!

...Наибхан еще немного постояла у окна, потом потихоньку вышла на улицу.

Выпавший за ночь снег уже почти растаял, клочки его белели лишь под заборами да в щелях плетней. От нагретой солнцем земли поднимался пар. На улицах, во дворах — никого. Счастливые, подумала Наибхан, все каким-нибудь делом заняты. Говорят, человек тоскует по жизни... Так ли? Тоска по тому, чтобы свободно двигаться, подчинять тело своим желаниям?.. Нет, нет, это совсем не то. Наверно, жизнь человека кончается не тогда, когда он умирает, а раньше — когда он не может уже трудиться, быть вместе со всеми... Вот она всей душой с

людьми. Да что толку?.. Хоть кричи: люди, мол, я с вами, люблю вас, — что из того? Без тебя живет аул, без твоего участия сеют и жнут хлеб, косят сено...

Наибхан медленно подошла к плетню, взяла лопату. Неужто окончательно одолела ее немощь? «Ну-ка, старая, схватись с болезнью!.. Эх, ты...» — Наибхан хотела проделывать в снегу русло для стока талой воды, но едва она магнулась, в глазах потемнело, лопата выпала из рук, а поднять ее — не позволила поясница...

Наибхан облокотилась о плетень, постояла немного и подошла к воротам: пора бы Фаризат возвращаться из школы. Но дочери пока не было. А улица ожила, наполнилась звонкими голосами. За малышами степенно шли старшеклассники. Наибхан знает их всех, помнит даже, когда кто родился. И когда только выросли, кажется, вчера еще бегали в коротких штанишках...

— Добрый день вам, Наибхан! — раздалось рядом.

— Здравствуй, Фатимат. В школу? Ну, иди, иди, дочь моя.

Наибхан посмотрела девушке вслед. Темно-коричневая школьная форма ладно облетала ее фигурку, в каждом движении чувствовалась упругость молодого тела... Ах, давно ли и она шагала вот так легко и гордо, как Фатимат! Много ли времени прошло с тех пор, как узнала она, что такое любовь, когда она готова была обнять весь мир и думала, что молодость никогда не покинет ее и что парни в ауле не смогут жить без того, чтобы не сказать ей ласкового слова!..

Мысли ее были прерваны чьими-то шагами: шел с водопоя Сафар, ведя корову. Вот он уже рядом...

— Добрый день, Наибхан. — Сафар решительно подошел, положив руку на перекладину ворот. Глаза его смотрели куда-то в сторону...

— День добрый, Сафар. Давно мы не встречались с тобой вот так, лицом к лицу, много воды с тех пор утекло...

Сафар согласился: его лохматая шапка чуть заметно задвигалась вверх-вниз.

— Ты права. Когда-то работали вместе, помотало нас время... А теперь вот на разных берегах... — Сафар замолчал.

Он давно понял, как виноват перед этой женщиной, перед многими земляками. Но искупить вину не оста-

лось времени. Прошлое не вернуть. Не будет у него больше ни серого жеребца, ни фэтона. Никто уже не доверит ему руководство, чтобы он смог оправдаться перед односельчанами. Не всплыть камню со дна реки... Что теперь может Сафар? Хотя бы добиться прощения этой вот женщины... Он ее обижал, был несправедлив к ней, а все равно она поймет его лучше всех. Надо объясниться. Пора, нельзя больше тянуть. Наибхан одолевает болезнь, да и он может умереть. Многих их ровесников уже нет в живых. Время делает свое...

Сафар огляделся. И в ауле мало что напоминает прошлый его облик. Все в нем обновилось: дома, улицы, заборы, люди. Вот место, где стоял дом Шарау. Ето как не бывало. Стоит там теперь белое двухэтажное здание школы. Но дети Шарау не выбегают оттуда... Если бы Сафар видел, как со школьного двора выходят сыновья Шарау, ему было бы легче... Виноват, виноват он перед Шарау...

— Да, Наибхан, не очень-то удачно сложилась наша жизнь, — прервал наконец молчание Сафар. — Топор построил дом, а сам на улице остался, — так и мы с тобой. — Шапка Сафара снова задвигалась вверх-вниз замерла.

— Отчего же, я на свою жизнь не обижаюсь. Жила, как все, — возразила Наибхан.

— Эх, не надо обманывать себя. Говори кому другому, не мне. Веретено без головки не вертится — женщина без мужа не веселится... Несладко тебе жилось.

— Да, демного мне пришлось пожить с отцом моих детей. Но ведь война была... Да и в том ли только счастье — прожить до конца дней с мужем? Я с людьми жила, честно жила...

— Но ведь и я никого не убивал, не грабил, — прервал ее Сафар. — Отчего же никто из односельчан не переступает моего порога? Большой лежу — никто не проведает. А ведь в те дни, когда закладывался фундамент новой жизни, я не был в стороне... — Сафар говорил глухим голосом, глядя себе под ноги. — Знаю, немало было допущено ошибок, — он заговорил еще тише. — Но кто не спотыкается? И я спотыкался. Но ведь не одни же ошибки у меня были. Уж если помнить зло, не надо забывать и добро. А вы вспоминаете только плохое, совершенное по ошибке... Наибхан, мы ведь работали вместе, ты знаешь: время было трудное, и плоды его оказывались порою

горькими... Да на моем месте каждый бы поступал так же!..

— Товба, Сафар, ситу кажется, что ведро тоже дырявое. Плохо ты думал о людях и сейчас думаешь не лучше. Будь так, как ты говоришь,— жили бы все, как кошки с собаками. Ты прав в одном: споткнуться может каждый. Но если человек не хочет подняться только потому, что это ему выгодно... Прости меня, в грязи удобно лежать только свинье!

Сафар дернулся, будто его облили кипятком, хотел что-то сказать, но промолчал. Умолкла и Наибхан.

— Эх, сестра,— заговорил наконец Сафар,— жизнь моя прожита, одной ногой я уже там... Да это меня не пугает. Боюсь, помру непросщенным...— Старик незаметно смахнул слезу.— Жизнь меня уже наказала, живу один, все отвернулись... Хватит, не точите. Был несправедлив к тебе — прости. Прости и за Шарау... Не надо больше напоминать о прошлом. Я и так лежу, а лежачего не бьют. Пробил себе голову, не умея метать камни... Хотел пользу принести... Но ты зря на меня набрасываешься, когда говорю о времени. Да, время было такое. Ты забываешь, к нам в колхоз приезжали люди с большей властью, чем у меня... Камиль, и то ошибался...

— Нечего кивать на других!— встала Наибхан. Сафар опять помолчал, подумал, опустив голову.

— Да я не оправдываюсь, сестра. Знай, что причиню тебе боль,— соломинку в твоём дворе не переломил бы. Лучше бы мне тогда вырыли могилу, чем испытать то, что испытываю сейчас...— говорил старик дрожащим голосом.

Шапка его сдвинулась на затылок, обнажив прилипшие к покрытому испариной лбу жиденькие и короткие, как у новорожденного, волосенки. Он не замечал, как потекает ему под ноги талая вода из-под забора.

— Сафар, отодвинься, ноги промокнул,— показала ему Наибхан.

— Ничего, пусть у меня не будет большого огорчения,— сказал Сафар, но перебрался все-таки на сухое место, подойдя к Наибхан еще ближе.— Эх, сестра,— вздохнул он,— легко сидеть в тени и рассуждать, кто как работает. Много найдется охотников пить воду из готового арыка. Но вырыть арык труднее, чем напиться из него. Кто больше тянет, тому больше и достается. Такова

и моя участь. Сейчас некоторые этого не понимают... Что ж, не стану доказывать.

— Сафар, опять ты за свое! Ты думаешь, люди забыли, как ты «тянул»? Ошибаешься! Тебя назначили главой колхоза не для того, чтобы ты поширал справедливость...— Наибхан остановила себя.— Ну, давай оставим это, хватит, в самом деле, ворошить прошлое...

Старики посмотрели друг на друга. Все, кажется, было сказано, и они молчали. Наибхан вдруг стало жаль Сафара. «Бедняга,— подумала она,— тоже был когда-то силен и молод, и судьба к тебе благоволила. А теперь вон как согнуло, стал для всех лишним грузом. Ты-то многое позабыл, но люди — не забыли».

На следующее утро Наибхан стало совсем плохо. Снова появился Азамат, суетились, плакали дочери, входили и выходили соседи, односельчане, пришедшие то ли справиться о здоровье, то ли проститься, — Наибхан была уже далека от всего этого.

Ее кровать стояла прямо под низким окошком, и Наибхан смотрела туда. Вон березы, которые она сама сажала, лелеяла... Стоят тихо, не шелохнутся, роняя на землю золотые слезы-листья. Плачут, думая, что и к ним подкрадывается смерть. Не дано им знать, что весной зазеленеют снова... А листья не спешат падать на землю, кружатся медленно и плавно, как будто прощаясь с теми, что еще остались на деревьях...

А там, далеко,— горы. Горы, где сейчас весна, лето, осень и зима — все вместе. Горы, подножья которых зелены, склоны желты, а вершины белоснежны,— не зеленеть, не белеть вам больше для Наибхан...

Ей вспомнились склоны, где копчила с подружками душистое сено, поляны, на которых они давили землянику, любовались гроздьями рябин,— она прощалась с ними... Прощай и родник, к которому принадлежала Наибхан тугой грудью, чтобы утолить жажду, и речка, чье ледяное серебро рассыпалось в горсти Наибхан, и крутые узкие тропы. И вы...

Наибхан перевела взгляд на тех, кто сидел и стоял вокруг нее. Как много их! Услышав, что ей плохо, каждый житель аула спешил отдать ей последний долг... Наибхан узнавала всех. Вон и Шаха пришла. Совсем

усохла от старости, согнулась, стала не больше столбика-наблонки, на котором горянки выделывают шайки. Лицо сморщилось, с кулачок... А воп многодетный Таукес, вот Аубекир, Курмап. Все они старики, давно на пенсии, но еще крешки. Но не все, с кем росла, делила Наибхан хлеб-соль, смогли прийти сюда. Многие умерли, погибли на войне...

Наибхан не могла увидеть всех — не было сил приподнять, повернуть голову. Неспроста их так много: она умирает. Да, умирает — Наибхан понимала это. Но ее не пугала смерть. Горько было, что умрет — и не увидит больше родной аул, и эти деревья, и недокопанный огород... Умрет — и никогда не вернется к мыслям о Шарау... Не узнает, как сложилась судьба детишек, которые растут в соседнем дворе и так часто забегают к ней...

Старая снова взглянула в окошко. Видно, налетел ветерок: березы, словно горянки на берегу реки, расплетали и зашлетали свои косы...

Наибхан в последний раз ласкала взглядом все, что окружало ее. Она ничем не хотела выдать своего страдания, чтобы не омрачать собравшихся. Старалась улыбаться. Но боль порой брала верх над ее желанием... «Не горюйте, не печальтесь так», — силилась сказать она, но голоса не было, только шевелились губы. А хотелось сказать им многое. Вот перед нею люди, которые жемились, выходили замуж в те дни, когда Наибхан была еще в пеленках, люди, на глазах которых она росла. А теперь они пришли сюда, чтобы принять ее последний вздох... Что ж, пусть продлится ваша жизнь еще на век! И твоя, Шаха, и ваша, Аубекир с Сафаром, ... твоя, Азамат, сын Шарау. Будьте счастливы все, пусть не убывает хлеб, который суждено вам вкусить на этой земле, не иссякнет вода, которую предназначено вам испить...

И вдруг все начало заволакивать дымкой, все поплыло, стало исчезать... Наибхан больше не видела, не слышала ничего. Нет ни людей, ни окошка, нет ни двора, ни деревьев, нет ни зеленых, ни белых гор. Нет ничего. Только мрак, один мрак...

Погас свет жизни. Погас... И слова вспомнились ей, замелькали широкие долины, желтые склоны, теплые скалы, золотое поле...

...И она понеслась, полетела по полю, взявшись за руку с мальчиком Шарау. Стала рвать цветы — белые,

желтые, красные, синие... синие цветы. Пошла с коромыслом к реке. Встретилась с Шару, погладила шею его коня... Потом они вместе с Шару сели на лошадь, на белую-белую лошадь и понеслись, полетели к белым облакам, повисли над золотым полем. А на поле было много-много жниц и косарей, — все они пели песню «Эрирей», и лучше всех пели ее дочери, Жаннет и Фаризат.

Шару и Наибхан, прислушиваясь к прекрасной мелодии, нарили, кружили под белыми облаками над золотым полем — а потом, словно лебеди с надломленными крыльями, и белая лошадь, и она, и Шару полетели вниз и рухнули средь поля...

Провожали ее всем аулом. Мужчины сменялись быстро: каждый старался хоть ненадолго подпереть плечом носилки, на которых лежала усопшая, хоть на мгновение принять на себя тяжесть ее тела.

И только Сафару не разрешили сделать этого — отстранили. Он отошел, еле удерживая рыдания. Умерла, умерла Наибхан... Что бы ни было между ними — умерла с нею и частица его самого...

Хорошего человека лишился мир — пусть же он обретет точно такого. Пусть вновь пройдет по улицам аула такая же чистая сердцем, беспокойная женщина, и пребудет в ауле одно только счастье!..

...Хорошими Наибхан, а Сафар сидел поодаль на камне, выпавшем из кладбищенской ограды. Сидел и плакал украдкой. Наибхан ли он оплакивал, свое ли одиночество — кто знает.

Содержание

5 Алые травы

101 Эрирей

Толгуров Зейтун Хамитович

Алые травы

Повести

Редактор
М. Тучина

Художник
М. Ромадин

Художественный редактор
Б. Попов

Технический редактор
Н. Децко

Корректоры
Н. Пехтерева,
Т. Храпонова

Сдано в набор 10/VII-1975 г. Прин-
сано к печати 12/XI-1975 г. А12478.
Формат изд. 84×108¹/₂. Бумага тип.
№ 1. Печ. л. 8,5. Усл. печ. л. 14,28.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 5145.
Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государ-
ственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Рязанская областная типография
350012, г. Рязань, ул. Новая, 69